



*С.И. Сычугов*



С.И. Сычугов

# **Записки Бурсака**

*Редакция, предисловие и примечания С.Л. Штрайха*

“ACADEMIA”

1933

# РУССКИЕ МЕМУАРЫ

ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА  
И МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ И БЫТА

*Под общей редакцией В. И. Невзорова*

«А С А Д Е М И А»

Москва—Ленинград

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Автобиографические очерки доктора С. И. Сычугова представляют большой общественно-исторический интерес. Наиболее полно и обстоятельно изображена в них духовная школа эпохи самой мрачной русской правительственной реакции - последних лет царствования Николая I.

В обширной литературе о русской духовной школе: среди рассказов о подмосковной бурсе 30—40-х годов Н. П. Гилярова - Платонова и провинциальной бурсе той же поры Д. И. Ростиславова, рассказов приглашенных и благонамеренных, как их чиновные авторы; очерков бурсы 50-х годов Н. Г. Помяловского, описавшего воспитание духовенства в Петербурге, где семинарская дикость смягчалась столичной обстановкой; воспоминаний о провинциальной бурсе 60—70-х годов И. Н. Потапенко, писавшего под влиянием своего прославленного предшественника и стремившегося переиграть его внешней эффектностью изложения; вплоть до художественного и не менее эффектного описания столичной семинарской жизни 900-х гг. Л. М. Добронравова, - очерки С. И. Сычугова выделяются своеобразием и яркостью изображения вятской бурсы, от которой, по выражению автора, было «до бога высоко, до царя далеко».

Всю жизнь избегавший внешних эффектов, игнорировавший «литературную обработку настоящего бумагомарания», хотя и у него встречаются художественные описания природы и переживаний юного бурсака, Сычугов дал безыскусственный, глубоко захватывающий рассказ о быте и нравах захолустья, где рядовое духовенство «во всю русскую ширь разнудало свои зверские инстинкты и свирепствовало сколько душенька хотела», где Салтыков-Щедрин нашел материал для «Губернских очерков». Наблюдения Сычугова, среда, его вскормившая, исторические; достаточно отметить, что

один из самых видных героев «Губернских очерков», Порфирий Петрович - ближайший родственник нашего автора.

Сычугов достаточно выразительно характеризует свои очерки в письмах к другу, существенные извлечения из которых сгруппированы во вступительной главе настоящего издания. Здесь подчеркну, что воспоминания писались Сычуговым по дневнику, и достоверность их несомненна, несмотря на многие оговорки его.

«Грязное и вонючее болото», в котором крепостническое государство выращивало для себя будущих чиновников церковного и полицейского ведомств, давало, однако, по закону противоположности и совершенно неожиданные для его организаторов плоды. Через бурсу прошли и Чернышевский, и Добролюбов, и десятки других деятелей революционного движения. Приобретает поэтому особый интерес и тот отдел записок Сычугова, где он описывает процесс зарождения в «бурсаке» критической мысли, пробуждения в нем общественного протеста, превращения его в разночинца-радикала, будущего участника студенческих волнений и революционных кружков.

Это был характерный для 60—70-х годов процесс: его пережили многие представители разночинной интеллигенции.

Сычугов проделал этот путь под непосредственным руководством двух друзей: Добролюбова—М. И. Шемановского и А. А. Красовского, но не проделал его до конца. Из него не выработался революционер. Его критическая мысль оказалась недостаточно решительной, а протест недостаточно глубок.

Отпрыск поповской семьи, Сычугов оказался неспособным до конца порвать ни со своей кастой, ни с ее идеологией. Отдав дань увлечению Белинским и Герценом, Фейербахом и Бюхнером, он остановился и застрял на умереннейшем либерализме и культурничестве. Резкий обличитель пороков духовенства, он остался человеком религиозным; бессребреник и аскет по образу жизни, демократ

по своим симпатиям к крестьянским трудящимся массам, он политически не пошел дальше программы «Русских ведомостей». Но его культурничество, лишенное сколько-нибудь серьезного общественного значения, было продиктовано искренним стремлением послужить трудящимся массам крестьянства, сопровождалось - не на словах, а на деле - готовностью пожертвовать ради этого своими личными жизненными удобствами и потому было лишено того отвратительного лицемерия, которое характеризует культурничество либеральных земцев и «поумневших» радикалов 80—90-х годов.

Этот оттенок культурничества Сычугова придает особый интерес и последним годам жизни автора «Записок», его деятельности в качестве «вольного крестьянского врача». Это было своеобразное явление в 90-х годах, и было бы жаль, если бы письма Сычугова этого периода - со всей своей политической наивностью, недодуманностью и умственной путаницей - бесследно пропали для историка прореволюционной России.

Вступив после бursы в Московский университет, Сычугов вынужден был уйти из него в связи со студенческими волнениями 1861 года, пробыл несколько лет в артели волжских грузчиков, вернулся в университет и окончил его в 1868 г. Прослужив два-три года по военно-врачебному ведомству, он перешел на работу сначала в Вятское, затем во Владимирское земство. Здесь развил энергичную общественную деятельность, участвовал в разных врачебных съездах, выступал с докладами об организации медицинской помощи в деревне, печатал статьи по этим вопросам в специальных изданиях, избирался в почетные мировые судьи, был на виду тогдашней общественности. «Многое я у него перечитал, а главное многое воспринял из практически идейной жизни и служения родине, - рассказывает один священник- народник, - народ его любил, уважал и слушал».

Земская деятельность не удовлетворяла Сычугова. Он хотел непосредственно служить крестьянской массе и в 1889 году переехал в родную деревню, где занялся вольной врачебной практикой. За год до того умерла жена Сычугова, их дети погибли от эпидемии значительно раньше. Поселившись в деревне, Сычугов ограничил личные потребности самым необходимым в материальном отношении (есть мало и просто он приучился еще со времени бурсы), свой домашний обиход уравнивал с обстановкой средней крестьянской семьи. Только тщательно подобранная научная библиотека да книги для чтения на европейских языках, которых Сычугов знал несколько, свидетельствовали, что в селе Верховино, в далекой вятской глуши, живет человек, не только получивший формальное высшее образование, но обладавший высокими умственными запросами. Племянник Сычугова сообщал после его смерти, что в бумагах С. И. он нашел записки и собственные заметки дяди из разных областей знания: по истории, философии, религиозным вопросам, литературе, психологии, естествоведению, статистике и политике.

Материальные лишения молодых лет, тяжелая работа грузчиком, самоотверженная работа в деревне и чрезмерный аскетизм подорвали физические силы С. И. Сычугова. Обладавший от природы атлетическим здоровьем, он в результате перенесенных невзгод оказался к пятидесяти годам совершенно инвалидом.

Но и тогда Сычугов не захотел бросить работу среди крестьян; долго, вопреки настояниям друзей, отказывался он от пенсии из вспомогательной медицинской кассы, куда сделал крупный вклад перед удалением в деревню. «Спасибо за совет не утомляться, - писал С. И. своему университетскому товарищу, - этот совет дышит дружеским участием и искренним желанием мне добра. Да исполнить - то этот совет я не могу. Ну, как отказать больному, прибывшему издалека и иногда еще на наемной кляче. А, ведь, ко мне почти ежедневно являются



больные за 40, 50, 80 и более верст. Всякая усталость пройдет, когда только посмотришь на лицо страдальца да послушаешь его рассказы о нужде. Будь что будет; буду работать, пока есть силы». «Ну зачем я стану жить, - пишет он в другой раз, - если прекращу или ограничу свою, смею думать, бесплодную деятельность; ведь, в ней одной заключается смысл, цель и радость моей жизни».

«Близко знавшие Сычугова, - говорит его биограф Ф. Ф. Нелидов, - удивлялись его никогда не упадавшей энергии. Достаточно было видеть только раз этого человека небольшого роста, с типичным русским лицом, с чрезвычайно простым, но умным и добрым выражением, одетого всегда в русскую поддевку, - человека уже пожилого, с надорванными болезнью и работой силами, но живого, энергичного, чтобы почувствовать к нему тотчас глубокую симпатию». Другой биограф, д-р Н. А. Каргополов, пишет о «необыкновенной обаятельности» Сычугова и безграничной его доброте.

Воспоминания С. И. Сычугова печатаются здесь полностью, с подлинной рукописи. Все сокращения цензурного свойства, сделанные редакцией «Голоса минувшего», где они впервые опубликованы (1916, №№ 1, 2, 3, 5 - 6, 7 - 8), восстановлены.

Крупные вставки приводятся в тексте между звездочками, отдельные фразы и слова не отмечаются. Впервые появляются в печати автобиографические письма Сычугова (главы вводная и четвертая); публикуются они в извлечениях, представляющих общественно-историческую и бытовую ценность. Сохранена орфография автора: стычки, листочки, и т. п.; даты, где их нет в подлинниках, восстановлены по содержанию.

Все редакторские пояснения, по возможности краткие, вынесены под текст, некоторые вставлены в текст - в прямых скобках; в таких же скобках - слова и фразы, заменяющие некоторые неудобные для печати выражения Сычугова.

Портрет С. И. Сычугова воспроизведен с фотографии, любезно присланной А. С. Богдановым из Владимира.

С.Штрайх.

## ВВОДНАЯ ГЛАВА

### ПО ПОВОДУ АВТОБИОГРАФИИ

30 декабря [1895]

Что это, милый друг, у тебя за фантазия явилась получить от меня автобиографию? Ты меня посмешил порядочно своим требованием. Первою мыслью моею было то, что сведения о моей жизни ты хочешь получить для моего некролога. Мысль, конечно, блажная, над которой я порядочно посмеялся. Но шутки в сторону. Раз ты желаешь иметь мою автобиографию, желание твое будет исполнено, хотя и не очень скоро. Я еще очень слаб. Раза четыре во время писания этого письма я ложился на койку. В следующем письме напиши мне, для чего тебе понадобилась моя биография.

Считаю нужным предупредить, что жизнь моя не особенно богата внешними фактами и не может с этой стороны представить интереса. Излагать обстоятельно историю развития моего мирозерцания не могу, потому что многое забылось. К сожалению, я никогда не вел дневника. Моя будущая автобиография будет скорее *curriculum vitae* [краткое жизнеописание] с присоединением, быть может, некоторых фактов, обусловивших теперешний строй моих убеждений. О литературной обработке, конечно, не будет и речи. Сделаю, что смогу и сумею.

При каждом письме буду присылать тебе листок моей автобиографии.

14 декабря 1899 г.

Пора, однако, исполнить мне свое обещание насчет дневника. Тяжеленько не только говорить, но и вспоминать даже о нем, но обещанная скотина - не животина. Итак, читай мою скорбную повесть, а потом обругай меня на все корки.

Дневника собственно я никогда не вел, но еще в последние годы студенчества - по какому побуждению - уже не помню - я стал заносить в особую тетрадь наиболее интересовавшие меня факты. Эти последние были крайне разнообразны: они касались разных проявлений нашей общественной жизни, записывались также явления политики русской и изредка иностранной, но несравненно больше я касался событий собственной жизни с разными их перипетиями. Все почти факты освещались моими размышлениями, объяснениями и пр. Прочитывались эти тетради спустя много лет, много я находил в них наивного и даже абсурдного, но зато в них искренности вдоволь.

Ведь это беседа с самим собой, значит о лукавстве с тою или другою целью и речи быть не могло. Тут я, по выражению Салтыкова, «пущал промеж себя революцию». Во время моей жизни во Владимире я заказал две изящные папки, из которых в одну поместил купленные мною сочинения Л. Н. Толстого - не печатанные по-русски, а равно кое-что из Герцена и даже писанное мною письмо Белинского Гоголю. В другую же папку вложил тетради

своего quasi-дневника. Они были довольно увесисты, так как каждая заключала в себе около 60 листов. А если принять в соображение мой убористый почерк, то выйдет, что за 30 с лишком лет я написал листов 100 обыкновенного письма. Как-то в июле было мне уж очень плохо; мысли о смерти в эти тяжелые дни, омрачаемые еще холодною, отвратительною погодою, почти не покидали меня. В это-то время я и вспомнил о своих папках. Оставить непечатные сочинения, особенно Толстого, в наследство своим племянникам - молодым попам было не только страшно, но и преступно. Это было бы покушением на их

веру, стремлением поколебать их мирозерцание, не дав взамен его ничего, кроме разочарования. Вообще поп без веры - это какой-то нравственный урод.

Много у меня есть добрых знакомых из светского общества, но из них я не решился никому передать папку и не решился опять-таки потому, что боялся принести своим подарком вред. Пусть религиозные верования с точки зрения точных наук несостоятельны, пусть они будут не более как иллюзии, но ведь без иллюзий не обходятся и высоко образованные люди. Вера же, даже вся пронизанная суевериями, в горе составляет много утешений, взамен которых я опять-таки ничего не могу дать. Знаешь ли, что и дорого бы дал, если б мог быть таким верующим, каким был до университета. Чистая, искренняя вера много бы облегчила мою теперешнюю горькую жизнь.

Думал я и о тебе, но папка эта была бы для тебя совсем ненужным балластом, заключенные в ней писания тебе давно известны, и если б нужно было снова проштудировать их, то в Москве ты легко нашел бы нужное. Итак, эту папку, чтобы не сделать кому-либо зла, я решил уничтожить.

Теперь о второй папке. Был у меня прекрасный друг, который с сыном-студентом навестил меня, кажется в 87 г. во Владимире. Не помню уж по какому случаю, только мне пришлось заглянуть в дневник. Друг заинтересовался им, читал чуть не целую ночь, а на прощанье взял с меня слово, чтоб дневник после моей смерти, если он переживет меня, перешел к нему. Если же я проживу долее, то получаю коллекцию очень интересных рукописей. В мае этого года сын друга известил меня о смерти отца и просил, чтоб я же выслал дневник, о котором, дескать, папа много говорил, а о рукописи ни слова.

Тогда-то и пришла мне мысль сделать сюрприз другому, не менее любимому другу. Едва не неделю я штудировал свое произведение, пережил в воспоминаниях длинную полосу своей не совсем обычной жизни, многому снова порадовался, не мало

погоревал и наконец решил сделать в дневнике еще приписку и нечто вроде посвящения новому его владельцу. Позаботился я и о надежной его доставке по твоему адресу. У нас есть земская маслодельня; заведующий ею финляндец должен был быть в Питере на каком-то молочном съезде в начале сентября. Сей-то муж пообещал, проезжая через Москву, доставить тебе мое мارانье. Как я жалею теперь, что тотчас же не передал ему дневник! Но тогда было еще рано; до поездки оставалось маслоделу почти 2 месяца.

В один из холодных нынешнего лета дней у меня затопили печь. Пока она растоплялась, я еще просматривал (не помню - который уже раз) бумаги и письма, назначенные к уничтожению. С жалостью поглядел я на папку с творениями Толстого. Да и как не пожалеть? Одна переписка их стоила мне рублей 20, а толстовская-то логика! Но решение мое было непоколебимо. Полетела папка в печь, а вслед за нею и пачки писем. Когда я подошел к столу за новым материалом для всеожжения, у меня закружилась голова, меня качнуло, и я, ухватившись за стол, уронил другую папку, которая во время падения раскрылась. Я взглянул и одурел! Творения Толстого оказались лежащими на полу в целости, а от дневника остался один пепел.

Не понимаю, да и никогда не пойму, как одна папка сгорела вместо другой. Вероятно сходство их сыграло со мною такую злую штуку. Тут уж я осатанел и озверел; и явилась потребность все уничтожить. Полетела папка с Толстым, за нею груды разобранных ранее писем - той же участи подвергся целый ворох небольших тетрадок с разными заметками из практики и вообще о медицине. К счастью, припадок остервенения скоро прошел, а то бы много еще пищи я дал бы огню.

Были, напр., письма, которыми я очень дорожил, и часть их сгорела. Между прочим сгорели письма моей жены, когда она была еще моею невестою. Часть твоих писем из отдела

интересных уцелела; уцелели письма отца и еще нескольких дорогих для меня и уже не существующих лиц. Вот тебе и дневник; писать его снова, хотя и коротко, не могу; и силы слабы и память стала очень изменять. Надо полагать, что при моей сильной худобе поисхудали порядочно и мои мозги. По крайней мере, память моя сильно подгуляла.

Да и на что тебе моя автобиография? Она, правда, довольно богата некоторыми необычайными эпизодами, разными событиями, в которых мне приходилось играть ту или другую роль, но в общем в сущности, так сказать, она вовсе не замечательна ничем [см. стр. 282]...

28-31/ I 1900

Опять посылаю тебе 2 №№ воспоминаний; опять в них много лирических отступлений, но не суди меня за это. Во время писания я переживаю свои молодые годы и, отдаваясь этому переживанию, поневоле увлекаюсь. От нечего делать я с каким-то остервенением копаюсь в разных закоулках своей души, желая отыскать и объяснить причинную связь разных фазисов моего мировоззрения, проследить обстоятельно, как оно формировалось, словом доискаться, почему из меня вышел не нормальный человек, как его понимает большинство, а урод, над основными идеями и взглядами которого это же большинство подсмеивается. Внешние события моей уродливой жизни для меня не очень интересны и составляют только канву для психологического анализа. Тебя же они только и могут интересовать несколько, ибо они для тебя terra incognita [неведомая страна], копать же в нутре даже закадычного друга и трудно и не особенно интересно.

В последнее время я немного поумнел, стал прочитывать написанное и даже исправлять описки. Чтоб тебя избавить от чтения неинтересной ерунды, я решил при прочтении зачеркивать цветным карандашом те места дневника, где я роюсь в своем нутре. Теперь ты не будешь тратить времени зря на совсем незанимательное чтение.

Сейчас мне пришла забавная мысль, что мои воспоминания, быть может, можно напечатать, конечно, за деньги и издать их под кричащим названием вроде, напр., «Необыкновенные приключения бурсака 40—50-х годов» или «Психический мир бурсака». Смейся вдоволь над моею фантазией, а все-таки не жги дневник. Тебе, ведь, он по прочтении совсем не нужен будет, а мне, быть может, и пригодится. Быть может, я проживу и долго, да могу ослабеть настолько, что придется нанять прислугу. Теперь скопляются от пенсии остатки, которыми я могу удовлетворять привычные альтруистические прихоти, а когда их не будет, ведь тогда придется краснеть от стыда, в виду какого-нибудь общественного бедствия.

7 февраля [1900 г.]

Посылаю опять два листка, №№ 17 и 18. Когда вышлю продолжение, - и сам не знаю. Все-таки при малейшей возможности буду строчить. Теперь, пока, ты видишь, в какую типу я погрузился, как низко я пал нравственно. Хотелось бы мне добраться до своего воскресенья, когда я наконец выкарабкаюсь с страшными усилиями из грязи. Но мое воскресение произошло в семинарии на 17-м году. До него, значит, далеко еще. А хотелось бы хоть до него добраться: ты бы тогда увидел, что я был порядочным человеком, с которым тебе не стыдно быть в дружбе. В училище же и первых классах семинарии, как видишь из дневника, я был ужаснейшей гадиной, для которой не было ничего святого. Вероятно, ты, читая о моей жизни в училище, с отвращением относишься к моему тогдашнему я. Да я и сам не иначе, как с омерзением, смотрю на свою тогдашнюю персону. Но правда прежде всего. Подмалевывать себя я не желаю и не могу. Полюби меня черненьким, а беленьким-то всякий полюбит.

19-21 февраля [1900 г.]

Посылаю тебе еще №№ 19 и 20. Пожалуйста, пиши, какие номера ты получаешь. У меня готов уже и 21 №, и как

только настрочу еще №, так вместе с письмом и двину их к тебе. По одному же № посылать не буду, чтоб не платить лишнего за пересылку. Как я стал аккуратен и экономен!

Скажи-ка ты такую правду, не надоел ли тебе мой дневник. Я верую, что ты любишь меня, но ведь никакая любовь не может скучное сделать интересным. Я побаиваюсь, что экскурсии в мою психику, интересные для меня, могут быть совсем неинтересны для тебя. Но ограничиться одними внешними событиями, как я писал тебе, я при данных условиях не могу, ибо невольно увлекаюсь.

Для курьеза посылаю тебе сохранившийся каким-то чудом в моей памяти апостол. Уже во времена студенчества я своим неистовым басом на кутежах потешал товарищей. Если ты не слыхал его, то при чтении, авось, хоть слегка улыбнешься. Я бы и не послал тебе эту ерунду, если бы случайная просьба по побудила меня написать ее<sup>1</sup>.

28-29 февраля [1900г.]

Апостол и тропарь, как их называли в училище, я написал для одного знакомого. Но он более полгода не навестил меня, хотя и знал, что мне бывало за это время очень худо. Этим он снял с меня мое обещание. С удовольствием посылаю этот клочек тебе; он отчасти характеризует училище, где я впервые изучил эти пародии. Впрочем, апостола, как оказалось, знали некоторые студенты и не вятичи. Я на студенческих кутежках нередко провозглашал его своим могучим, хотя и диким, похожим на звук иерихонской трубы, басыщем.

«Ныне превознеслася еси сивуха, преславная горелка, прошла еси сквозь огонь и воду и медные трубы, покрылася еси пенкою, яко бисером. Возведи душу мою во кабак и даруй кошельку моему очищению».

10-12/VI [1900 г.]

---

<sup>1</sup> Приложен сочиненный бурсаками «апостол» об искушении св. Макария, совершенно неудобный для печати.



Знаешь ли, что я уже страницу измарал продолжением своих воспоминаний, которые следует правильнее назвать бессвязными отрывками из воспоминаний, О своем пребывании в бурлацко – плотницко - прикащическом университете я буду говорить только кое-что. Говорить подробно не могу, ибо тогда по необходимости привелось бы коснуться некрасивой деятельности лиц, еще живущих, кажется раскаявшихся и занимающих такие высокие ранги, которые сделают их известными лицам, следящим за внутренней политикой. Некоторым, кроме того, я дал слово молчать. Без упоминания имен, без выяснения связей между действующими лицами мои воспоминания будут похожи на сказку.

Затем об университетской жизни говорить не стоит: она протекла на твоих глазах. О своей службе в войсках и в земстве я расскажу, пожалуй, поподробнее, рискуя повторять то, что тебе известно, и таким образом воспоминания кончу 89-м годом, когда я основался в Верховине. Об этих 11 годах говорить нечего; ты из писем знаешь о житье моем. А теперь ставлю вопрос, на который ожидаю скорого и откровенного ответа: нужны ли такие бессвязные воспоминания, имеющие к тому же только личный характер? Отвечай скорее, да кстати ответь и на прежде поставленные тебе вопросы<sup>2</sup>...

---

<sup>2</sup> Владимир Филиппович Томас, которому адресованы напечатанные в этой и в главе четвертой письма, - товарищ Сычугова по университету; род. 1843 г., ум. 1902 г.; был практикующим врачом в Москве, славился бескорыстием и преданностью общественным интересам; побудил Сычугова писать автобиографию, которую сохранил вместе с большинством частных писем последнего.

# ГЛАВА ПЕРВАЯ

## В ДОРЕФОРМЕННОЙ БУРСЕ

\* Аще что погрешено будет, бога ради исправляйте, а не кляните, понеже писала рука бренна.

К этим словам летописца, - какого, не помню, - я в интересах истины должен добавить, что и память моя, особенно после второго Кондрашки [удар], стала также брэнною. Поэтому не взыщи, друже мой, если я что-нибудь перепутаю, если пропущу важные факты, а вместо их помещу незначительные эпизоды. Повторяю еще раз, что не только буду игнорировать литературную обработку настоящего бумагомарания, но и обойдусь без всяких черновиков. При таких условиях, понятно, о последовательности и систематичности моего рассказа не может быть и речи. Я не привык заниматься своей особой, а заботиться об украшении ее - дело для меня совсем непривычное. За одно только могу поручиться, что я буду правдив, хотя, быть может, выйду и не совсем бел. Полюби меня черненьким, или, точнее сказать, пестреньким, а беленьким-то меня всякий полюбит.

Однако пора и к делу \*. Родился я в 1841 году, 27 сентября, в Орловском уезде [Вятской губ.], в селе Подрелье, и был первенцем. (\* Это писано уже в марте, после 2-мес.перерыва\*.) Зачатие моей особы совершилось тогда, когда моим родителям по было еще и 40 лет - отцу шел 21-и год, а матери не стукнуло еще и 17 лет. Оба они были телосложения замечательно крепкого; \* до свадьбы своей о [брачной жизни] мать и понятия не имела, а отец знал о ней кое-что из грязных анекдотов, циркулирующих в бурсе; значит, оба они\* нисколько не износились и были, как говорится, в полном соку. \* Останавливаюсь я на этом с тою целью, чтоб сказать, что материал, положенный для моего физического формирования,

был безупречно хорош. И действительно, теперь еще заметно, что я сделан, так сказать, из цельного крепкого дерева, хотя при обделке не употреблялось тонких и деликатных инструментов, а все дело обошлось лишь при помощи топора да долота.

Ведь если б от природы не было дано мне такого громадного запаса сил, разве возможно было бы перенести так легко и такую уйму болезней, какая выпала на мою долю; а с меня все как с гуся вода\*. В конце первого года я перенес необыкновенно сильную оспу. Мать рассказывала, что вся поверхность моего тела, не исключая и головы, была покрыта сплошным, черным и вонючим струпом и что она вместе со своими родителями, а равно и мой отец со слезами молили бога, чтобы он прибрал меня в свои селения, так как на семейном совете было уже окончательно решено, что первенец их должен быть слепым, глухим и безобразным уродом. Мать не раз говаривала, что она на своем веку много видела оспенных больных, но такой страшной, сливной оспы, как у меня, не видывала. \* Если б мать моя не была идеально-правдивой женщиной, я усумнился бы в ее рассказе. И в самом деле \*, не странно ли, что на всем моем большом теле не осталось от оспы ни одного рубчика.

\*И этому, по рассказам, не мало тогда дивились. Смешать оспу с какой-либо другою острою сыпью мои родные вряд ли могли, так как в то время Дженнер не пользовался еще авторитетом и во время эпидемии оспенных больных можно было найти в каждом доме. Нужно тебе сказать, что, бывши уже врачом, я интересовался своею первою болезнью и допрашивал мать очень основательно.

Прежде чем покончить рассказ о своей физической организации, не мешает упомянуть, что закон атавизма всецело применим ко мне. Я нисколько, ни лицом, ни складом не был похож на своих родителей. Достаточно тебе сказать, что они были брюнеты. Пожалуй, еще физическая сила у меня была отцовская, а равно и рост, - но и только. Зато я очень уж был

похож на деда с материнской стороны. Когда мне было лет 8, бабушка часто говорила: вылитый ты о. Савватий (так она звала своего мужа); если б можно было сделать так, чтоб вам обоим было по 18 лет (дед в 18 лет был уже женат), да поставить вас рядом, так я, пожалуй, и не разобрала бы, который из вас мой муж. Дед в это время оглушительно хохотал и приговаривал: а у меня есть примета надежная.- Однако пора слова два сказать о нравственной физиономии моих родителей, а кстати и деда\*.

Отец рос сиротой, был, значит, казенным бурсаком и, как таковой, не имел ни малейшего понятия о том, что творилось вне стен бурсы. Это, конечно, наложило на него известный, не особенно ценимый в обществе, колорит. Он не умел держать, когда нужно, язык за зубами; часто приводилось ему высказывать лицам, стоящим в иерархии даже выше его, по совсем-то приятные истины, и только лишь благодаря добродушному юмору, с которым это делалось, многое прощалось ему. Пастырем он был вполне добрым; крестьяне чуть не боготворили его как за его беседы при всяком удобном случае, так и за его бескорыстие.

Выйдя из семинарии, он скоро убедился, что знания его очень скудны, хотя и не скуднее, чем у других священников. Вследствие этого он со страстью принялся за чтение, конечно, духовных книг, так как других тогда и не было. Обладая недюжинными способностями и замечательным трудолюбием, он лет через 10 сделался видным богословом; в разговорах с ним с удовольствием проводили время магистры богословия. Под старость моего отца начал одолевать скептицизм. Тяжело было смотреть, как колебались его заветные верования. Мне и теперь смешно становится, когда я припоминаю, как я, бывший тогда полным атеистом, утверждал отца в православии. Не раз бывало, что старик оставлял сомнения свои в каком-нибудь церковном догмате, но надолго ли - мне неизвестно. В высоте и чистоте учения Христа он, как и я, не сомневался. Предметами для сомнения служили исключительно постановления церкви. Умер

папа, впрочем, верующим рационалистом (\* здесь не место доказывать, что противоречия в последних словах нет \*) около 70 лет от роду. Имущества после него осталось менее, чем на 10 рублей.

Мать моя была женщина без образования; она могла лишь читать и писать. Писала она хотя безграмотно, но чрезвычайно умно и логично. Читала же почти исключительно Четьи - Минеи, которые мне уже к 6 - 7 годам надоели хуже горькой редьки, так как чтением этих легенд большею частью был я. Значит, судя по характеру читаемых мамашею книг, уже видно, что она верила без рассуждений. Она обладала сильным практическим умом, несклонным к идеализации, и железною волею. В противоположность отцу, который не задумывался бы нуждающемуся отдать последнюю рубашку, мать была скорее скопидомка. И только благодаря ее уменью удалось хорошо пристроить моих четырех сестер и избежать нищеты, которая неизбежно постигла бы нашу семью, если бы отец не передал ведение хозяйства матери.

Несмотря на противоположности характеров и некоторых взглядов, жили они замечательно дружно; я не видал не только ссор, но даже и легоньких размолвок. Пример их несомненно влиял на меня благотворно, \* и влияние это продолжается и по настоящую пору. Если не изменяет мне память, то, кажется, я во всю свою жизнь, за исключением лишь времени пребывания в бурсе, ни с кем

не ссорился. Не мало горя и обид пришлось мне на своем веку вынести, но все-таки ссор со своими лиходеями я не затевал, памятуя, что они приносят тогда еще больше горя. Помимо примера родительского в этом отношении, вероятно, влияла на меня и нагорная проповедь Христа, которую я восторгался и которую знал наизусть, когда мне было лет 6, хотя, думаю теперь, что половину ее я не понимал \*.

Отца я любил и уважал, мать же только любил и в то же время очень боялся, так как она была чересчур строга и

требовательна. Строгость ее, впрочем, больше отзывалась на сестрах, они, бедные, положительно изнурялись работою. Уже в возрасте 6 - 7 лет они работали, кажется, не менее часов 12 в сутки, сидя за вышиваньями, вязаньями и прочею меледою<sup>3</sup>. Когда я стал учиться в училище, тогда строгость мамы парализовалась тем соображением, что я в некотором роде был дома гостем; до поступления же в школу у меня был надежный заступник - приснопамятный дедушка отец Савватий, личность для своего времени замечательная и пользовавшаяся громкою и доброю репутациею почти во всей губернии.

Детство свое до 8 лет (с трех) я находился на попечении и воспитании главным образом деда. С 3 до 5 лет я у родителей бывал лишь редким гостем. После же, когда мне пошел шестой год и когда дед уступил свое место отцу, я большую часть своего времени проводил у первого. Он имел два дома, из которых один отдал отцу моему, а другой - большой двухэтажный, прекрасно отделанный - занял сам вместе с бабушкой и со мной.

\* Я не без цели упоминаю об этой мелочи \*. Дед сделал это, как я после узнал, ради меня, чтобы я без стеснений и неудобств мог в ненастную погоду резвиться в громадных зале и гостиной и чтобы веселый вид комнат производил на меня и впечатления веселые. Для своего времени дед был очень образованный, с богатою богословскою эрудициею человек; он читал и светские книги, если случалось их достать, а подобных случаев, благодаря его широкому знакомству с вятскою чиновною аристократиею, было не мало. (\*Во время ярмарки в нашем Великорецком селе ежегодно бельэтаж занимал губернатор или вицегубернатор\*.) Вероятно, это знакомство хотя немного придавало деду храбрости в его частых стычках с духовным начальством. Отличительными и резко выдающимися чертами его характера были: непреклонная, вполне железная

---

<sup>3</sup>Мелёда – мешкотная работа, работа без конца (словарь Даля).

воля, стойкость в убеждениях, гордость в отношениях к начальству и мягкое, задушевное отношение к меньшим братьям, которым он много помогал, \* хотя и не так размашисто, как мой отец \*.

Деда можно было сломить, но не согнуть. К более заметным недостаткам его можно причислить любовь к рюмочке (но не до безобразия) и страшную вспыльчивость. Впрочем, надо полагать, что она никогда не доходила до самозабвения; в противном случае духовное начальство не упустило бы случая унять деда. Стычек у него с начальством было не мало, но самую крупную была ссора с архиереем, который во время проезда царя через Орлов запретил сельским попам являться на это время в город. Дед разорвал предписание, приехал во - время к приему в Орлов, ворвался, вопреки распоряжению протопопа, в царскую квартиру на прием духовенства, занял третье место сверху, благословил царя и чисто по-сельски дал ему поцеловать свою большую лапу, за что получил от государя похвалу, тогда как стоявшие выше его протопопы, отдернувшие свои руки, удостоились царского выговора.

Вскоре деда вызвали в Вятку к архиерею, в доме которого, при нескольких свидетелях, и произошла знаменитая свалка, о которой долго говорила вся губерния и о подробностях которой я еще и пятидесятих годах слышал от старых священников. Началось дело легкой бранью с той и другой стороны, далее дошло дело до «мошенника и сукина сына», и наконец, когда архиерей хотел поучить деда жезлом, то последний, ничтоже сумняся, при помощи стула обратил владыку в постыдное бегство. И так как со стороны деда в этом деле не оказалось вины, за которую можно было бы его унять, то дело и заглохло<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> В письме к своему другу – доктору В. Ф. Томасу – от 12 января 1896 г. автор излагает этот эпизод более ярко и красочно. «Припомнился

Впрочем, начальство не упускало случая показать свою безапелляционную власть и карало деда административным порядком. Как-то нужно было назначить благочинного. Обойти деда, как старшего по образованию и по заслугам и кроме того дружного с светскою аристократиею, было неудобно, и архиерей, скрепя сердце, назначил его на эту почетную должность. Но не прошло и месяца, как дед на какую-то глупую консисторскую бумагу дал резкий ответ, и его без суда и следствия бесцеремонно уволили от должности.

40 лет дед поповствовал, и за все это время не получил ни одной награды, и этим он, видимо, гордился. Накануне или в день своей смерти (меня во время его болезни, как любимца, взяли из училища) он слабым голосом еще говорил мне: «40 лет я служил и никакою наградою не заклеил себя, потому - не

---

покойный дед о. Савватий, - пишет С. И. Сычугов. – Он был довольно замечательный человек по уму, характеру и одному, пожалуй, героическому поступку. В 1824-м году Александр I ночевал в Орлове. Архиерей разослал предписание, чтоб сельские попы не смели являться на приемы государя в городах. Дед разорвал приказание и отправился в Орлов. В назначенное для приема время он, несмотря на увещевания протопопов, вместе с ними явился в квартиру царя и занял в ряду духовенства 3-е место. Царь сначала подошел под благословение архимандрита, а потом протопопа; дед же по-сельски благословил царя и свою лапу (а оная у него была поувесистой моей) положил на сложенные руки царя, который и поцеловал лапу храброго отца Савватия. Мало этого: он еще заметил архимандриту и протопопу, что они не понимают значения благословения, а деда при всех похвалил. Узнал скоро об этом архиерей и вызвал деда в Вятку. Пользуясь своею деспотическою властью, он пустил в ход двухэтажную брань, а дед ответил ему трехэтажною. После горячей перебранки архиерей хотел было побить деда посохом, но дед схватил стул, - и драка не состоялась. Я буквально запомнил слова деда при выходе от архиерея: «Если только ты, елейный блудодей (подразумевается рукоблудие с елеем из лампадки), тронешь меня, то знай, что я дойду до царя», - и деда начальство не трогало. Только не дало ему ни одной награды, тогда как товарищи его были протопопами и с орденами и крестами.



ползал перед начальством и, в случае своей правоты, никогда не уступал ему». Вообще отличительной чертой его характера были: независимость, самостоятельность и правдивость.

В религиозных взглядах дед был, кажется, немного рационалист, но рационалист крайне осторожный, по крайней мере при разговорах со мной - мальчиком. Помню, что он один раз проговорился при мне, что чертей выдумали, чтобы пугать глупых людей, но тотчас же спохватился, обратив эти слова в шутку, и долго убеждал меня, что в существовании чертей сомневаться нельзя. С бабушкой дед обращался с трогательной нежностью, а она в свою очередь благоговела перед ним.

Меня же как эта бабушка, так и другая, а равно и старушка няня любили до безумия и чуть-чуть не боготворили. Сверстников-мальчиков из духовенства у меня не было: были семинаристы, но гораздо старше меня. Между тем дед находил, что я не должен постоянно вращаться в обществе взрослых и что для моих игр и забав нужны товарищи. И с какою трогательною заботливостью, как я узнал после, сделан был им для меня выбор сверстников.

Оказалось, что он много толковал с родителями мальчуганов, а последних часто угощал разными сладостями, читал нам всем книжки и все это делал с тою целью, чтобы предохранить меня от возможного дурного влияния. Заботы ли деда, или то обстоятельство, что мальчики сами по себе были хороши, я у них не научился ничему дурному. Из трех один умер, а остальные двое и теперь еще мои хорошие приятели и прекрасные крестьяне. Мне часто приходит на мысль, что эта дружба, начавшаяся на четвертом году моей жизни, с первых проблесков сознания поселила во мне любовь к крестьянам вообще, а к «униженным и оскорбленным» в особенности.

По мере моего развития мои взгляды становились все демократичнее, и в юности я уже сделался убежденным демократом. В нашей компании я и по происхождению, и по материальному довольству, и по умственным и физическим

силам должен бы, кажется, главенствовать, но мудрая предусмотрительность деда ловко устранила это безобразие: до самого поступления в училище я оставался совершенно равным моим товарищам детства.

\*Не без цели я много говорил о моих дорогих родных, горячая и разумная любовь которых витала над моим детством. Своими чистыми, любящими руками они посеяли в моей душе семена доброй нравственности, которые под теплыми, животворными лучами любви и начали было хорошо прорастать и укореняться. И если б почва, на которой начали всходить эти семена, волею судеб не очутилась в полосе вечных льдов проклятой бурсы, из меня вышло бы нечто более путное, чем теперь\*.

Но и посейчас, частенько вспоминая свое милое, святое детство, я все отчетливее и отчетливее сознаю, что, только благодаря разумному его переживанию, бурса, хотя и сильно и надолго искалечила меня, но, по крайней мере совсем-то не загубила, как это случилось со многими бурсаками, выдающимися из общего уровня. Она подавляла всякую самостоятельность в ребенке и, если не могла согнуть его на свой лад, то бесцеремонно ломала. \*Но об ней речь впереди.

За все доучилищное время я помню только два эпизода, которые порядочно помрачили ясность моей детской души и внесли какую - то нескладицу в мое мирозерцание. Няня, безумно любившая меня, постом принесла густых сливок и стала уговаривать поесть, но только потихоньку. Я, конечно, поел, но слово «потихоньку» гвоздем засело в мою голову. Не мало по поводу его возникало у меня вопросов, которые я, несмотря на свои ребячьи усилия, так и не мог решить. Меня стало мучить сознание, что я поступил нехорошо, так как ел потихоньку, так сказать, воровским манером. Помню, что через несколько дней я за разъяснениями обратился к деду, а он после совещания с отцом велел кормить меня сливками открыто. Мама

уступила их требованию; няня получила легкий выговор, и этим инцидент закончился.

Другой эпизод оставил в моей детской душе более резкие и тяжелые следы. Раз, играя после обеда в отведенных мне больших комнатах, я услышал в спальне деда какой-то стук. Зная, что старики всегда отдыхали после обеда, я на цыпочках подошел к спальней, отворил осторожно дверь и увидел сцену, которая глубоко поразила меня—пятилетнего мальчугана<sup>5</sup>. Стремглав лечу я в дом своих родителей и, задыхаясь, сообщаю, что дедушка душил бабушку; бегите скорее к нам в дом (т. е. в дом, где я жил со стариками). Отец и бывшие тогда гости громко расхохотались, мама же взглянула на дело иначе: она увела меня и кухню, скинула мои штанишки и немного разрисовала мою марфутку.

Это хотя физически и легкое наказание возмутило меня до глубины души. Ясное и жизнерадостное мое настроение моментально оставило меня и оставило надолго. Я бросил товарищей, игры и убежал на сеновал. После, долгих поисков уже поздно вечером предстал я пред очи моих дорогих родных в горячих слезах. Едва я начинал отвечать на настойчивые вопросы о причине моего горя, как новый поток слез задерживал мою речь. Дед, удалив моих родных, уложил меня в постель и ласкал меня до той поры, пока я не уснул. Проснувшись на другое утро, я вижу у своей постели сидящего и крепко задумавшегося деда. Первый его вопрос, был: что случилось с тобою вчера? Мой ответ: «значит правда не нужна» смутил старика и прекратил его дальнейшие вопросы. Дед немедленно ушел к отцу и матери, долго о чем-то беседовал с ними и возвратился в крайне расстроенном виде. А пока его не было, мой умишко надрывался над решением дилеммы: нужно ли быть правдивым или лучше быть лгуном.

---

<sup>5</sup>Опущена фраза, неудобная для печати.

Вопрос, конечно, остался нерешенным, несмотря на все мои потуги.

Дед и мои родители с этого дня стали со мною еще ласковее, часто при мне заводили разговоры о правде абсолютной, о невозможности, при настоящих условиях общежития, всегда проводить ее в жизнь, о печальной необходимости компромиссов и пр. и пр. Кроме того дед и наедине со мною нередко говорил, что можно быть правдивым и не болтать обо всем, о чем узнаешь, что уклончивый ответ или молчание не есть еще измена правде. Чрез несколько времени я относительно успокоился, а все-таки где-то глубоко, на самом, так сказать, доньшке души остался какой-то неприятный осадок. В первый раз тогда, - а мне едва ли минуло еще 6 лет, - пришлось почувствовать разлад между словом и делом. И сильно же было впечатление, если спустя 50 с лишком лет этот инцидент представился теперь как будто происходившим только вчера!

Довольно о воспитании; нужно сказать несколько слов и об моем учении \*.

Когда я выучился читать - решительно не помню; знаю только хорошо, что на шестом году я начал уже читать в церкви недлинные очень молитвы и псалмы. Учился я чтению и письму, по рассказам отца, играючи. Смутно припоминаю, что на дверях и шкапах были наклеены крупные печатные буквы. Говорили, что я выучился необыкновенно быстро, хотя в то время звуковой способ и не был известен. Страстишка к чтению пробудилась очень рано; читать, впрочем, приводилось большею частью книги духовные. Слышал я от отца, что я недурно понимал серьезное чтение в раннем еще детстве. И сам я помню, что еще до поступления в училище я осилил

пятитомное мистическое сочинение г-жи Гюйон и цитатами из нее изумлял посторонних и умилял сердца своих родных<sup>6</sup>.

До 7 лет не было предпринято систематическое обучение меня. Оно ограничивалось лишь чтением, рассказами отца, а главным образом деда, и играми на чистом воздухе, которым я мог отдаваться без всякого стеснения. Лишь в ненастные и холодные дни я усаживался за прописи, из которых резко запечатлелись в памяти три: 1) хотя корень учения горек, но плоды его сладки; 2) говори всегда правду и никогда не лги и 3) как дверь обращается на пяте, так ленивый на ложе своем. Да других, кажется, я и не писал.

Очень поучительны для меня были предпри- нимавшиеся всегда совместно с дедом экскурсии и леса и на луга отчасти с образовательными, а частью с практическими целями (сбор трав, ягод и грибов). Дед был хороший практик-педагог: он мастерски умел и сообщать знания, и уничтожать разные суеверия.

Влияние няни не могло, конечно, не сказаться на мне: прекрасно рассказывая сказки, она между разными суевериями поселила во мне безотчетный какой-то страх к темноте и особенно к мертвецам. Я верил, напр., что души праведников из могил выпускают огоньки, грешные же покойники по ночам бегают за живыми людьми и пр. Деду это не понравилось (хотя

---

<sup>6</sup> Жанна-Мария Гюйон (1648-1717) – основательница квиэтизма во Франции, религиозного учения, требующего отречения от жизни, погружения в созерцание бога, пассивного отношения к добру и злу; комиссия католических богословов объявила это учение еретическим, и г-жа Гюйон была в 1695 г. заключена в Бастилию, откуда выпущена в 1702 г. Сочинения Гюйон были почти все изданы на русском языке и в царствование Александра I, в эпоху господства мистицизма в русской церкви, рассылались по церквам и монастырям для обязательной покупки; при Николае I, в 40-х годах, книги Гюйон отбирались у владельцев их полицейскими мерами, но, как видно из рассказа Сычугова, сберегались и даже давались для чтения восьмилетним детям.

он сам приказывал рассказывать мне сказки и былины), и он решил изгнать из меня этот страх.

Часто очень мы ходили за грибами на кладбище, на котором была выстроена церковь, а кругом нее находились хорошо известные мне могилы. Наш дом стоял от кладбища саженьях в 80. Раз в августе, когда ночи бывают у нас очень темны, дед незаметно для меня положил свой грибной нож на известную мне и ближе других расположенную к нашему дому могилу. После ужина, когда уже было совсем темно, дед по обыкновению приносит разных лакомств, но на этот раз очень много, и говорит мне: «Друг мой Савушка, я на такой-то могиле забыл свой любимый нож; ты бы очень порадовал меня, если б сейчас сходил за ним. А за эту услугу получай сразу эти лакомства, которых в другое время тебе хватило бы дней на 5; завтра опять получишь свою долю». У меня и душа в пятки ушла; я обещаю не спать всю ночь и завтра на заре сходить за ножом, ссылаюсь на темноту, на возможность упасть, увидеть покойника.

Над последними словами дед расхохотался и начал щекотать мое самолюбие. «Я думал, что ты мужчина,— заговорил он,— что в тебе есть мужество и храбрость» и т. д. в этом роде. Победил он меня. Перекрестившись много раз и читая молитвы, отправился я на кладбище, шел до него не быстро, но когда схватил нож, то бежал назад на всех парах. Дней пять дед проделывал этот эксперимент и добился того, что я, уже без всяких его предложений, сам находил большое удовольствие гулять в темные вечера по кладбищу.

Много раз в моей жизни приводилось испытывать такие ощущения, от которых у большинства людей стали бы дыбом волосы, но к которым я относился совершенно индифферентно. Страх навсегда изгнан из моей души. И теперь еще многие удивляются, как я не боюсь один жить в доме, стоящем к тому же за селом. Средство, употребленное дедом, героическое, но зато им приняты были и меры, чтоб предотвратить могущие

быть дурные последствия. На половине пути между кладбищем и домом стоял овин и за его углом, как после я узнал, дед или сам наблюдал за мною, или посылал работника.

Большинство детей духовенства 7 лет уже поступали в духовное училище и пребывали в нем вместе с семинарией не менее 12 лет. Меня не решались отдать так рано в бурсу, а в домашнем совете положили продержать дома еще 2 года и отдать уже во 2-й класс, или грамма-тику, тем более, что, за исключением языков, я прекрасно был подготовлен. Чуяло, вероятно, сердце моих милых, незабвенных родных, что меня, семилетнего мальчика, бурса погубила бы окончательно и что в два года, проведенные в атмосфере их любви, я много окрепну и сделаюсь способнее переносить ужасные мытарства бурсацкой жизни.

После принятия такого решения нужно было подумать о систематическом, классном обучении меня, - и за это нелегкое дело взялся дед. (Он давно уже передал свое место моему отцу и жил на покое.) Был приглашен один семинарист, который подробно написал, чему в каком классе учат и по каким учебникам. Все нужное было приобретено. Дед каждодневно удалялся в свой кабинет часа на три-четыре и там, как после оказалось, штудировал учебники. Наконец 27 сентября (день моих рождения и именин) принесли мы из церкви иконы, дед с 3-мя священниками отслужил торжественно какой-то длинный молебен; все присутствующие молились, а мать и бабушка даже со слезами.

За обедом дед, видимо взволнованный, ласково сказал мне: «ну, внучонок, не осрами мои седые волосы». Потом, обращаясь к присутствующим, продолжал: «страшную обузу взял я на себя - приготовить во 2-й класс вот этого шалуна; мне ведь под 70 лет, а я каждый день, как школьник, учу латинские и греческие грамматики». Я знал, что дед горячо меня любил, но только в этот раз я понял всю глубину самоотверженной любви и громко прокричал: «не осрамлю, дедушка!» Сцена эта почему-

то так врезалась в мою память, что мне кажется, как будто она происходила вчера.

На другой день началось якобы систематическое учение мое. Занятия с дедом продолжались часа 3, да час или 1 1/2 назначалось на приготовление уроков. Учение давалось мне необыкновенно легко. Память у меня \* до кондрашек \* была очень хорошая; в детстве же и в молодых годах она была просто феноменальна. Мои товарищи по первым курсам университета поражались моим удачным экзаменам. Когда товарищи изнывали над лекциями, я обретался, ради снискания куска хлеба, где-либо вдали от Москвы и приезжал в нее дней за 5 до начала экзаменов. Здесь я пристраивался к какому-либо кружку студентов, слушал чтение ими лекций и выдерживал не хуже их экзамены, хотя в течение учебного года и в университет не заглядывал.

Мудрено ли, что при такой \*собачьей\* памяти дед был в восторге от моих успехов. Он все нужные для экзамена учебники разбил на отдельные уроки, которые с первых же дней наших занятий показались мне чересчур миниатюрными: скоро вместо одного я стал готовить по 5 - 6 уроков каждодневно. Курс, рассчитанный почти на 2 года, пройден был без малого в 3 месяца.

Тут подоспели рождественские каникулы; приехал и семинарист, сообщивший деду программу, или, вернее, учебники, по которым я должен был готовиться во 2-й класс, - и мне устроили экзамен с подобающею помпой. Поставили стол, на котором разложены были все учебники в должной симметрии; на стене повешена была какая-то допотопная карта, изображающая земные полушария, вокруг стола уселись все мои родные; председательское место дедом скромно было предоставлено семинаристу, а пред столом стоял я, как будто подсудимый. Семинарист-богослов, как изучивший разные хрии, троны и фигуры и познакомившийся слегка с философией но выпискам из Аристотеля, начал самым высокопарным слогом



предлагать мне вопросы, да еще отвлеченные, что меня сначала поставило в тупик. Но дед попросил экзаменатора говорить не семинарским, а обыкновенным человеческим языком, - и дело пошло прекрасно. Пробовал было еще экзаменатор требовать от меня, чтобы я отвечал из слова в слово не из одного катехизиса, а из всех учебников, так как они-де составлены людьми умными, но и тут встретил отпор. После этих замечаний, которые, вероятно, и сделаны-то были, чтобы выставить напоказ свою ученость и чтоб показать, что данные ему 2 пятиалтынных, помнится, взяты не даром, экзамен прошел блистательно.

Дед и отец сияли, мать и бабушка плакали от умиления, маленькая сестренка заснула, а сам председатель от восхищения поминутно вскакивал со стула, так что дед спросил даже его, но попала ли как-нибудь в задний проход щепотка перцу или табаку. В конце концов экзаменатор сказал нечто вроде похвального слова высоким, конечно, слогом всем присутствующим, даже и спавшей сестренке, но особую честь воздал он деду и мне. Тогда же и решено было, что я с своими познаниями, если еще позанимаюсь с месяц, могу быть принят не только во 2 – й, но даже и в 3 – й класс. \*Какое, кстати сказать, громадное значение имеет для нас счастливое время жизни! 50 лет прошло со времени этого экзамена, а в воспоминании моем воскресают все мельчайшие об нем подробности\*.

Ученье мое с этого времени стало продолжаться опять, так сказать, играючи. Деда сопровождал я всюду, а он был большой мастер говорить и, что для меня было особенно важно, в своих рассказах умел приравливать к уровню развития своих слушателей. Он любил природу и кое-что понимал в естественных науках; поэтому его рассказы во время наших летних и осенних экскурсий по полям и лесам были для меня очаровательны. Бегал я по полям и один, и с своими приятелями, приглядывался к крестьянским работам, а посильные и сам, с грехом пополам, исполнял. Каждую службу

ходил я в церковь, пел и читал по-дьячковски, что я начал, впрочем, делать еще шести лет. С этой– то поры я и нажил привычку вставать в 4 – 5 часов, так как утренняя начиналась в это время. С увлечением отдавался я борьбе и особенно играм на вольном воздухе; в играх, впрочем, я не позволял себе озорства.\* От него, быть может, удерживал один очень памятный случай.

Раз зимою, когда мне было 5 – 6 лет, я играл на улице с дочерью дьячка, которая была старше меня года на три. В селе есть довольно крутая гора, с которой мы катались на салазках. Когда уже надоело это обычное катанье, я предложил своей товарке катанье необычное: я предложил ей прокатиться в плетне. Так называется плетеный из прутьев цилиндр с дном четвертей 5-ти в диаметре. Уселась моя Ириша в плетень, я толкнул его, и он очень быстро покатился под гору, от быстроты движения перескочил бугор из снега и с крутого берега полетел в речку, где вместе с Иришей и зарылся в глубокий снег. Когда еще моя товарка катилась и ее ножки только мелькали, мне становилось жутко; я инстинктивно почувствовал, что устроил плохое катанье. Закричал я тогда благим матом и сам стремглав полетел к Ирише. Сбежался народ, вытащили ее из-под снегу и в бесчувственном состоянии унесли домой. Я получил от мамы порку, против которой ни отец, ни дед не протестовали, и я сам считал ее вполне заслуженной. В сумерки мы с дедом пошли навестить Иришу; она все еще лежала в беспомощности. Я уселся около нее, менял какие-то примочки на голове, тихонько называл по имени, а ответа все не было. Положение мое было поистине невыносимое! Как ни мал я еще был, а все-таки понимал, быть может, впрочем, с чужих слов, что если Ириша умрет, то убийца ее я, хотя о самой смерти, вероятно, имел смутное понятие. Дед торопит меня спать, а я умоляю его еще подождать, и наконец мы дождались: Ириша очнулась и тотчас обняла меня.

Конечно, я и после этого казуса не перестал играть, но у меня явилось нечто вроде рассудительности, потребности взвешивать всякое задуманное мною предприятие. Обстоятельство это имело, очевидно, хорошие стороны, но оно же подействовало на мой характер и дурно. Эту последнюю сторону я вижу в том, что я на всю жизнь остался не склонным к риску и вообще осторожным, быть может, более, чем следовало бы, человеком.

Приблизительно за год до поездки в училище мне пришлось быть свидетелем сцены, которая потрясла меня до глубины души. Стряпка нашла в кадке крысу с целым выводком крысят; облила эту семью, вероятно скипидаром, который и зажгла. Ужасный визг, писк, безумные скачки и пр. этих несчастных животных возбудили во мне такой сильный ужас, смешанный с жалостью, что я, не помня себя, погрузил руку в пылавшую кадку с тем, чтоб вытащить хоть одного крысенка. Я и вытащил его, но уже поздно; сам поплатился порядочным ожогом. И это-то обстоятельство стало причиной того, что я во всю свою жизнь не мог сделаться ни охотником, ни рыболовом, хотя в юности, по настоянию приятелей, и покушался испробовать якобы прелести этого спорта. Знаешь ли, что я без какого-то тяжелого ощущения не мог насадить на удочку живого червяка. И теперь, если я случайно увижу, как резали курицу, то ни ее, ни даже бульона, приготовленного из нее, есть не могу. Глупо, да пересилить свою натуру не хотел, хотя, быть может, и сумел бы. Долго я остановился на своем детстве, но сделал это не без цели. Впечатления детства и кое-какие немудрые идеи и чувства, внушенные мне, крепко засели в меня и не дали совсем мне упасть в тяжелые годы моей отроческой жизни. Да и детство мое было так счастливо, что и теперь невольно вспоминается оно \*.

Что же представлял я собою перед поступлением в бурсу, когда мне было почти 9 лет? Физически я был замечательно крепок, ловок, мастер бороться. Духовными дарами природа

наделила меня также не скупой; а редкостное, хотя и своеобразное для того времени, воспитание значительно развило их. Я был правдив, великодушен, проникнут насквозь любовью к людям, жалостлив, осторожен в своих поступках и умственно развит не по летам. С таким-то багажом 1 сентября 1850 года я поступил в бурсу. Но еще накануне, да и утром этого дня я, после блестяще сданного экзамена, ходил с отцом к смотрителю и одному учителю, а зачем - не знаю. Помню только, что тому и другому отец дал по кредитке и просил их обратить на меня внимание. Кажется, неизмеримо лучше бы было для меня, если б дорогой папа предоставил меня на произвол судьбы.

В сумерки 1-го сентября отец и мать привезли меня в бурсу вместе с кое-каким скарбом: войлоком, подушкой, одеялом, двумя халатами и прочим незатейливым туалетом, так как я был сын священника и должен был постель, одежду и книги иметь свои. Кроме того за содержание и ученье отец внес еще 27 рублей в год (кстати упомяну, что дьякон вносил за сына только 18 рублей, а дьячок всего 9 рублей в год). После обильных слез, поцелуев и объятий я распростился и как-то сразу почувствовал, пока еще инстинктивно, что все хорошее, светлое, доброе осталось там - на Великой-реке, а меня ждет одно горе.

Предчувствие мое сбылось в тот же вечер. Не прошло и часу со времени расставанья моего с родителями, как я, в качестве новичка, по требованиям бурсацкого кодекса, должен был испытать так называемую вселенскую смазь. Несколько великовозрастных бурсаков накинули на меня какую-то грязную хламиду, и пошла работа и ладонями, и кулаками. Не подготовившись к нападению и не имея понятия о грубых бурсацких порядках, я был пойман врасплох и порядочно поколочен уже, пока, наконец, и сам пустил в ход свою ловкость и силу. И как только я одного верзилу - парня лет 16—17 удачно сбил с ног, смазь прекратилась, и я сразу же завоевал уважение товарищей. Оказалось, что полетевший от моего кулака

великовозрастный парнюга считался в классе первым силачом. В тот же еще вечер он предложил мне дружить с ним, но, по обычной своей нерешительности, предложения я не принял, хотя и не отказал ему совсем.

Однако описывать все детали бурсацкой моей жизни я не буду: \*я не обладаю даром выразиться лаконично, не умею в нескольких ярких словах нарисовать рельефно какую-либо картину. Описывать же так, как я привык, - это значит, что я должен исписать целые стопы бумаги. А потому я дам тебе практичный совет, если только ты серьезно интересуешься бурсою 40-х и 50-х годов. Ты, вероятно, во время студенчества \* читал «Очерки бурсы», соч. Помяловского, и, конечно, все перезабыл. Прочти эту книгу, еще раз скажешь мне: «спасибо»; книга сама по себе крайне поучительна.

Только во время чтения не забывай, что Помяловский описывает петербургскую бурсу, я же жил в бурсе вятской, от которой до бога высоко, а до царя далеко. Начальники и учителя питерской бурсы имели основание побаиваться нечаянного приезда какой-либо высокопоставленной особы и потому немного хотя сдерживались, да и учителя там, несомненно, были подельнее. У нас же они совсем, во всю русскую ширь, разнудали свои зверские инстинкты и свирепствовали, сколько их душенька хотела. Значит, если ты пожелаешь составить понятие, какие мытарства я вынес, то безобразия, изображенные Помяловским, возвысь в квадрат, - и картина выйдет верная. В качественном же отношении бурсы разных губерний мало отличались друг от друга. Здесь я скажу лишь о тех сторонах нашей жизни, которые не затронуты Помяловским.

Семинария и духовное училище составляли два особые учебные заведения, имели особые управления и особый учительский персонал. В семинарии преподаватели были из

академиков<sup>7</sup>, а в училище - из кончивших семинарию; поэтому, вероятно, в первое обращение с учениками было далеко мягче. Да и самые порядки в этих заведениях были неодинаковы. В училище утренний класс продолжался с 8 ч. до 12, а послеобеденный с часу до 3—4. Утром без перерыва 4 часа сидел один учитель; он иногда дремал в классе, особенно после обеда.

Зимой учение начиналось и кончалось впотьмах. В семинарии же класс не продолжался более 2 ч., да и учителя менялись чрез 1—2 часа. Продолжительность всего учебного курса равнялась 12 годам (6 в училище и столько же в семинарии). В каждом классе нужно было сидеть 2 года. Первый класс называли инфима; 2-й - грамматика; 3-й - синтаксис; в семинарии же 1-й класс назывался реторикою; 2-й - философией и 3-й, последний - богословием. После этих общих замечаний перехожу к рассказу о своей училищной жизни, или, точнее, тех ее моментах, которые оставили в моей душе глубокие следы, отчасти заглушив, отчасти же вырвав с корнем те добрые ростки, которые были выхолены домашним воспитанием.

На другой день по поступлении в училище явился учительский персонал и на скорую руку произвел опять нечто вроде экзамена для того, вероятно, чтобы определить, какое место мы, новички (нас поступивших прямо во 2-й класс было только двое), должны занимать в классе. Места у нас занимали по успехам, а эти последние определялись чорт знает как. Я получил второе место, первое же не мог занять ни под каким видом, ибо оно с первого еще класса отдано было сыну смотрителя. По уходе ареопага учитель назначил меня

---

<sup>7</sup> Семинария — средняя школа для духовенства, академия (духовная)— высшая школа, готовившая профессоров и высших руководителей церкви при царизме

авдитором. Обязанность этого чина состояла в том, чтоб он каждое утро прослушивал уроки пяти своих товарищей и выставлял им отметки в нотате, которою называлась тетрадь, заготовленная на целый месяц, испещренная клетками для отметок и вмещающая в себе список всех учеников. Отметки были таковы: sc - т. е. sciens; er - errans; nt - non totum и ns—nesciens<sup>8</sup>.

Нотата хранилась у первого ученика, называвшегося цензором, в нее до 8 ч. обязательно все авдиторы должны были внести отметки. В 8 ч. являлся учитель; ему цензор подавал нотату, и все, получившие nt и ns, отправлялись к порогу, где их с особым удовольствием ожидали палачи - тоже товарищи, но только сидевшие в камчатке и решившие не заглядывать ни в какой учебник. Были, впрочем, любители посечь товарищей и из хороших учеников. Такие уж жестокие тогда были нравы!

Розги или лозы заготавливались патентованными палачами в училищном саду из березовых прутьев, и кроме того еще каждую осень, в виду большого на них расхода, покупалось их несколько возов. Лозы представляли из себя пучки связанных прутьев, пальца в 2 - 3 толщины и 4 - 5 четв. длины. Их палачи-артисты перед классом смачивали водою и распаривали в печках, чтобы сечение было чувствительнее. Опытные палачи, если особенно приводилось им сечь врагов или просто нелюбимых товарищей, с 1—2-х ударов доставали кровь.

Сечение производилось или одним или двумя палачами; в самом процессе еще участвовали так называемые держатели рук, ног, головы. Когда, по соображениям начальства, нужно было сечь до полусмерти, тогда призывались 2 служителя - мужики с тяжелыми, обыкновенно, руками; но это было уже не

---

<sup>8</sup>В переводе с латинского: знающий, заблуждающийся, не вполне, незнающий.

сечение, а истязание в высшей степени. И вот на 3-й день моей бурсацкой жизни мне пришлось видеть с ужасом и каким-то оцепенением, как по приказу учителя человек 15—20 были высечены большею частью до крови, иные из них получили не менее 40 лоз. В классе стоял какой-то адский гомон: один стонет, другой всхлипывает, третий кричит благим матом; четвертый пронзительно визжит; к этим тяжелым звукам присоединяется еще свист лоз. И вся эта вакханалия продолжается 1  $\frac{1}{2}$  - 2 часа.

Но на этом для меня пытка не кончилась. Объяснения уроков нашими учителями не практиковались. 4 часа, назначенные для класса, распределялись так: 1 - 2 часа уделялись на порку, согласно отметкам нотаты; вторая половина посвящалась спрашиванию тех, у кого стояли: sc и eg, и только минут за 5 до 12 час. учитель в учебнике ногтем проводил две черты, приговаривая: „от сих и до сих". Когда кончилась порка, учитель вызвал на середину класса меня и спросил урок, который я ответил безошибочно, - из слова в слово, как у нас выражались. Я получил похвалу и начал понемногу приходить в нормальное состояние после того потрясения, которое произвела на меня порка товарищей. Но на беду мою вскоре был вызван один из моих подъявдиторных, которому я поставил в нотате sc. Правда, он ошибался в уроке, но уж чуть не со слезами упрашивал меня поставить ему sc, обещая подзубрить его. Я умилосердился и поверил обещанию. Вызванный ученик начал пугаться, а когда учитель закричал на него и стал изливать целый поток бранных слов, он и совсем опешил.

Сделаю здесь маленькое отступление. 99% учили уроки, не понимая их смысла. Возьму для примера фразу: един бог во святой троице. Зубрение происходит так: заткнув пальцами уши, ученик начинает вслух бормотать: един, един, един, бог, бог, бог, бог, един бог, един бог и так далее до нескольких десятков раз. Зубрение это главным образом происходило во время мест.



Так называлось время от 5 до 8 ч. вечера, назначенное для приготовления уроков к следующему дню.

Малоспособные вставали еще нарочно рано утром и продолжали бессмысленное зубрение до самого отчета в уроке аудитору. При такой системе сплошь и рядом случалось, что ученик ответит аудитору прекрасно, а пред учителем, если последний особенно грозно посмотрит или крикнет на него, стоит столб столбом. Причину этого учитель не будет, конечно, искать в своей бестолковости и вообще в отсутствии даже и следов разумности в системе преподавания; он накидывается с кулаками на аудитора, - и благо еще последнему, если дело для него кончится 2 - 3-мя затрещинами. Несравненно чаще аудитору приходится расплачиваться подороже. Так на этот раз было и со мною.

Учитель с пеною у рта накинулся на меня, осыпал бранью и, схватив за волосы, потащил к порогу, где производилась экзекуция (кстати скажу: к этому учителю отец не водил меня и, значит, кредитки ему не всучил). „Ну те - ка, поучите, вы, держатели, новичка, как надо раз-деваться". Быстро стащили с меня брюки, положили их под голову и крепко притиснули меня к полу. Должность палача возложена была на этот раз на ученика, из-за которого я должен был страдать. Он был не новичок и, вероятно, практиковался уже в порке товарищей. По крайней мере, первый удар розгою вызвал такую (вероятно, с непривычки) жестокую боль, что я вскочил на ноги, как ужаленный. Число держателей увеличили и началась средней силы порка (дали мне не более 30 розог).

По окончании порки я получаю приказ разрисовать марфутку у моего палача. Этот бесподобный в своем роде обычай взаимной порки едва ли существовал где-либо, кроме вятской бурсы. У нас были два учителя, которые во время этого взаимного обучения требовали еще, чтоб палач преподавал наказуемому правила педагогической морали. Так палач - аудитор при каждом ударе должен был говорить: учись

хорошенько и меня под розги не подводи; когда же роли менялись и на полу лежал аудитор, то его палач покрикивал: не фальши! Не правда ли, разумная педагогика!

Роль истязуемого, благодаря грубому насилию, я поневоле выполнил, но когда выпала на мою долю почетная профессия палача, я не выдержал, со мною случился обморок. Товарищи говорили после, что перед падением на пол я каким-то ужасно диким голосом прохрипел: убить меня вы можете, но я бить никого не буду. Должно быть этот казус на этого учителя, а через него и на других наших педагогов произвел впечатление: меня мои подъавдиторные много раз драли, но я никогда не получал приказа быть заплечных дел мастером.

Итак, 3-го сентября 1850, г. совершилось кровавое бурсацкое крещение! Памятно же это число было для меня! Кажется, на другой же день или через день я получил порку от другого учителя и опять по такому же поводу. Только эта порка была потяжелее, так как мой подъавдиторный палач был из великовозрастных верзил, да и учитель, который ее назначил, желал, вероятно, поскорее и порадикальнее расплатиться с отцом за полученную кредитку.

Затем порки стали повторяться чуть не ежедневно. Не легки были физические страдания, но они были для меня просто пустячками сравнительно с моими нравственными страданиями. Иногда я целые ночи проводил в слезах. Учителей, самое училище, да и большинство товарищей я возненавидел от всей души. Учителя это, вероятно, заметили и стали драть меня напропалую, так что струпья на ягодицах составляли обыденное явление. Более всего меня возмущало то, что я никак своим детским умишком не мог постичь, за что меня безжалостно бранят, бьют и секут.

Учиться я продолжал пока еще хорошо; в шалостях, по крайней мере крупных, участия не принимал. Повидимому, вся вина моя заключалась в том, что я дома был хорошо подготовлен и, отвечая урок, вставлял в него кое-что слышанное

от деда и чего в учебнике не было и потом еще я отвечал не из слова в слово. Обыкновенно тотчас после ответа учитель зарычит: а, ты опять умничать, даст затрещину и пошлет к порогу. Много томился и страдал я еще от безделья.

Кроме учебников, которые в духовных заведениях были из рук вон плохи, никаких книг для чтения не полагалось. Как я сказал, 3 часа вечером назначались на приготовление уроков, которые я, при счастливой памяти и при нажитом дома умении готовить их без зубрежки, а с толком, прекрасно выучивал в  $1/2$  часа. Что же было делать остальные  $2\ 1/2$  часа? И я давал волю своему воображению, которое, не сдерживаясь рассудком, питало во всевозможных сферах. Работал кое-как и мой маленький умишко, который все чаще и чаще стал останавливаться на мысли, что учиться, по крайней мере в бурсе, не стоит, что будь хотя семи пядей во лбу, а учитель все-таки высечет, если только захочет.

К моему великому горю, никто из моих товарищей не возбуждал моей симпатии. Все они, за исключением лишь одного вместе со мною поступившего прямо во 2-й класс мальчика, тупого и вялого, пробыли в бурсе уже два года и успели вдоволь проникнуться всеми ее мерзо-пакостями. Более же всего отталкивал меня от них безобразнейший цинизм: я не мог без отвращения слышать постоянную, служившую как бы украшением их речи, матерщину; чуть не ежедневно слышал, как один мальчик уговаривал другого смазливенького за кусок булки удовлетворить противоестественную его похоть мужеложства; нередко этот ужасающий порок видал я и на деле, во время часто проводимых мною в мечтаниях бессонных ночей. Едва не половина учеников занималась педерастией даже во время классов. Мало этого.

Рассказывали, и кажется не без основания, что в мое время были два учителя, которые красивых учеников приглашали к себе для мужеложства. Мое целомудренное чувство отказывалось верить этому невероятному слуху. Но

были факты, которые и невероятное делали почти верным. Например, один учитель, когда нужно бывало посечь его любимца, сам брал из рук палача лозу и ею только слегка поглаживал его марфутку, плотоядно взглядывая на нее, и приговаривал: для нежного мальчика и этого довольно. Вот для окаянного, т. е. меня, и двух лоз мало.

Кстати скажу здесь о прозвищах, которые были даны мне. Товарищи называли меня башкой за блестящие ответы на поверочном приемном экзамене.

Как я в начале своей бурсацкой жизни не долюбливал товарищей и сторонился от них, так и они платили мне тою же монетою, хотя наружно и относились ко мне, как к недурно развитому физически и нравственно, с некоторым уважением. А один случай заставил их и полюбить меня искренно, по крайней мере большинство их.

Прошло, сколько помню, уже около двух месяцев моей бурсацкой каторги. Несмотря на антипатию к ученью, учителям и разным нелепым порядкам, несмотря на зародившуюся мысль, что учиться не стоит, я все-таки еще оставался нравственным мальчиком и хорошим учеником. К этому более всего обязывало меня письмо деда, в котором он просил меня не переставать доставлять ему удовольствие, тем более, что смерть его близка, что у него началась водянка. Я не мог не исполнить желания деда.

Раз учитель-поп, по случаю обедни, запоздал в класс часа на два. От безделья у нас началось чистое столпотворение вавилонское: едва не каждый дурил, сообразно своим наклонностям и уменью. Невообразимый шум нашего класса заставил одновременно прекратить на время уроки одного учителя и инспектора, жестокого человека, которые оба и явились в наш класс с пеною у рта и крикнули: розог! Взбесил их не столько шум, сколько крупная брань по адресу инспектора, которую он, вероятно, слышал.

Первого ученика не было в классе, и цензорские обязанности лежали на мне. Поэтому на меня, главным образом, и обрушился гнев начальства. На обыкновенный в таких случаях вопрос: кто шумел и кричал, - я дал обычный ответ: все. Вслед за сим благословляющая именем бога мира и любви рука о. инспектора вцепилась в мое ухо и безжалостно потащила на бурсацкое лобное место. Дали мне розог 15 - 20, и я вынес их, не издав ни единого звука и гордо сознавая, что я страдаю за „всех“.

Но оказалось, что это были еще только листочки, ягодки же предстояли впереди. Едва я добрался до своего цензорского места, как рассвирепевший инспектор предлагает новый вопрос: а кто перед самым моим приходом ругался по - матерно. Сказать: все или не знаю - я не мог, потому что любовь к правде не успели еще выбить из меня. Я и ответил: мои тятенька и дедушка говорили, что быть фискалом и доносчиком на товарищей нехорошо и гнусно; я не скажу, кто ругался.

- Так ты не скажешь?! - прорычал озверевший батька.

- Не скажу.

- Посмотрим! Двух служителей! - прошипел он, и его рука начала снова разгуливать по моей голове и спине до той поры, пока я не дошел до места порки. Явились служители, и началось настоящее истязание. Озверел должно быть и я, так как, несмотря на жестокую боль, я выдержал пытку молча, хотя под конец ее и находился в полусознательном состоянии.

После порки я уже не в состоянии был сделать своего туалета, который тогда был очень незамысловат. Я забыл сказать, что когда меня стали часто очень сечь, я подобно большинству бурсаков стал ходить в классы в синем пестрядинном халате, сюртук же надевал только по праздникам. Туалет мой состоял, значит, лишь в том, чтобы развязать или завязать гашник у портков, а остальное было делом держателей: одни поднимали халат на голову, другие тащили портки вниз. Ну, конечно, увели меня в больницу, в которой я очнулся уже в

сумерки, окруженный толпою товарищей. Начальство не запрещало им навещать меня в течение всего вечера, вероятно, вспомнив, как после такой же жестокой порки лет 10 назад один ученик повесился в больничном нужнике.

И как приятно провел я в больнице этот вечно памятный вечер! Сколько искреннего участия, сколько сердечной доброты проявили ко мне заскорузлые, повидимому, очерствелые циники-бурсаки. Добрая их половина приходила ко мне в больницу с словами ободрения и утешения, а иные и с кусочком булки. Было у меня тогда даже несколько учеников старших классов. Я стал героем дня, вырос в глазах товарищей и стал авторитетным лицом. Дня через 4 - 5 фельдшер выписал меня из больницы, хотя струпья долго еще не заживали. В классе, по распоряжению инспектора и учителя, я занял последнее место и таким образом был причислен к гражданам камчатки. За что же такая вопиющая несправедливость?

\* А черт знает за что \*. Вероятно, начальство нашло, что поведение мое очень дурно, хотя право же ничего дурного я не сделал.

Как-то вскоре после этого бывший сосед мой, первый ученик и сын смотрителя, ласково заводит со мною речь о том, чтоб я попросил прощения у инспектора и выдал бы товарищей, ругавших его. Сообщил он также, что его папенька (он как горожанин не называл уже отца тятенькой) скоро приедет в наш класс и накажет меня легохонько. Парламентера этого я уже чисто по - бурсацки послал ко всем чертям, да еще не одного, а вместе с отцом. Коля - так звали смотрительского сына - просто опешил от подобного приема и только спросил: да что с тобой сделалось?

- Уйди, Коля, — сказал я, - я зол на весь мир; я теперь уже не тот, каким был прежде.

Не обошелся бы я с ним так грубо, если б он не был сын начальства, тем более, что он любил меня и напрашивался на мою дружбу. Впрочем, скоро недоразумения между нами

исчезли. И, действительно, слова, сказанные Коле, не были пустой фразой, - со мною произошел резкий, крутой перелом: товарищи стали для меня в тысячу раз дороже, зато к начальству я стал относиться не только с ненавистью, но и с какой-то гадливостью. Сделать ему какую-либо пакость было для меня величайшим наслаждением, и я не скупился на изобретение этих пакостей, которые к тому же приводилось большею частью устраивать так ловко, что выходил сухим из воды.

Приблизительно дней через 10 - 12 явился и смотритель с инспекторами и учителями. Начались опять допросы: кто ругал о. инспектора? Допросы, сопровождаемые то обещанием полного прощения, то угрозами жестокой порки и исключения из училища. Я храбро выдержал свой характер, не выдав никого из товарищей, молча выдержал порку, остался в камчатке и всеми силами своего сердца возненавидел начальство, насколько, конечно, позволяли это мой ребячий возраст и моя мягкая, добрая натура. Тяжко же, вероятно, мне было, если моя злоба против начальства, поддерживаемая, впрочем, его жестокостями и несправедливостями, за все время моей училищной жизни кипела, так сказать, ключом.

Хотя и стыдно, но надо признаться, что я целые дни иногда занимался придумыванием какой-либо пакости тому или другому из наших начальников-тиранов. И пакости выходили нередко грандиозные и замечательные еще в том отношении, что я большею частью выходил сухим из воды. Поищут бывало виновника пакости, да и отступятся. Я находился почти постоянно в сильном подозрении, но бурса, а более всего вопиющие несправедливости начальства так вышколили меня, что я на допросах был всегда невинным агнцем. А допросы бывали и с пристрастием, но чаще они характеризовались иезуитскими приемами. Некоторые пакости, впрочем, случайно и открывались, но об этом после поговорю.

Чтоб не забыть, теперь же добавлю, что по переходе в семинарию все зло, причиненное мне училищным начальством,

я искренно простил после того, как узнал от отца, что во время его учения жилось еще гораздо хуже, начальство было тогда еще свирепее. Умишко мой, привыкший к усиленной работе, несмотря на мои 12 - 13 лет, скоро сообразил, что начальники портили нас так же, как в свое время и их портили, и что они, извращая нашу природу, не ведали, что творили.

Сколько помнится, вскоре после описанной порки меня увезли домой; об отпуске мой незабвенный дед просил самого архиерея, с которым жил тогда в ладах. А просьбу свою он мотивировал приближением скорой смерти. Приехал я домой дня за четыре до смерти деда, который бесконечно обрадовался мне и, несмотря на свои ужасные страдания, при мне постоянно бодрился и был даже весел. Незадолго же до наступления агонии незабвенный мой дед, сильно задыхаясь, долго наставлял меня на путь истинный, кротко выслушал мои жалобы на бурсацкие порядки и бестолковое учение, утешал меня необходимостью запастись долготерпением и наконец уже угасавшим голосом сказал: бери с меня пример; я 40 лет был попом и не заклеил свою грудь никакою наградой начальства, потому что не гнул перед ним шеи; не будь же гибок и ты. Ручаюсь, что верно я передал суть последнего наставления деда, хотя, быть может, и не в тех точно выражениях.

Смерть деда была для меня страшным ударом, на меня нашел какой-то столбняк. С момента смерти деда и до опускания его в могилу, т. е. в течение трех суток, я как будто не жил, или, точнее говоря, был каким-то автоматом. Я, кажется, не сознавал, что делалось в этот период времени; память мою отшибло до такой степени, что ничего не помнил из того, что происходило в эти три дня.

После похорон деда я несколько недель болел, но чем - не знаю. Вероятно, было какое - либо нервное страдание, так как мою болезнь окрестили лунатизмом. Когда я уж стал поправляться, мама рассказывала, что после смерти деда я перестал есть и спать, ничего не говорил, да вряд ли и понимал



что-либо. Несколько раз по ночам я соскакивал с постели и выбегал из дому, а раз или два - не помню уже - меня нашли около могилы деда. До самой же могилы я добраться не мог, ибо она находилась под церковью. Как только я не замерз - один Аллах ведает: ведь дело было в марте.

Какой-то инстинкт побуждал меня перед отправкою в ночные похождения одеваться, а не бегать в одном ночном белье. Впрочем, и одеяние - то мое было очень неважное: халат, валенки да отцовская шапка, так как моя шапчонка, а равно и шубенка были спрятаны. Был устроен даже и караул, но, надо полагать, не особенно бдительный, так как и при нем я иногда побегивал. Но он полезен для меня был в том отношении, что кто-либо из караульчиков, очнувшись, тотчас же ловил меня или на дороге к кладбищу ( $1/2$  версты от дома), или еще на дворе.

По поводу моей необычайной болезни был созван далее какой - то совет, на котором один родственник - иерей, не стыдясь, обвинял меня в притворстве, основываясь на том, что я бегал не в одной рубашке, а одевался, и, как радикальное средство, предложил спустить с меня три шкуры. Но мои родители такое свирепое лечение признали слишком уж радикальным и при моей слабости и сильной худобе даже опасным. Кто-то из членов совета предложил каждодневно парить, а потом голову обкладывать льдом, руководясь, вероятно, обычаем семинаристов после паренья веником кататься на снегу. Отец мой отверг паренье, как испробованное уже безрезультатно средство, и согласился лишь вместо обкладывания льдом на холодные примочки. Одна попадья привезла с собою скуфейку с мощей Митрофания и советовала надеть ее мне на голову. Мама моя ухватилась за это спасительное средство, как утопающий за соломинку. Но отец - всегда немного скептик - решил употреблять попеременно скуфейку и холодные примочки.

Через несколько дней началось мое выздоровление. Первым моим воспоминанием, удержавшимся в памяти, был спор между родителями о моем кормлении. Отец настаивал на молоке; мать же противилась этому как потому, что наступила страстная неделя, так еще более потому, что я носил скуфейку. Мнение отца, подкрепленное убедительными, хотя и очень либеральными для его сана доводами и потому оставившее прочный след в моей памяти, взяло наконец верх. Исцеление мое было приписано, конечно, чудотворной скуфейке, и об нем долго тараторила стоустая молва. Памятно мне также, что если рассказ о чуде происходил при отце, то он всегда как-то особенно улыбался.

Выздоровление мое пошло очень быстро, так что тотчас после пасхи решено было меня отправить в ненавистную бурсу. Ласковые, чисто дружеские увещания родителей, их даже слезы и просьбы, хотя в память деда, не огорчать их моим якобы дурным поведением и плохим учением задели меня, как говорится, за живое. Я помирился с необходимостью снова поступить в бурсацкую кабалу и даже обещал, хотя и не категорически, приложить, насколько сил хватит, все свое старанье и уменье, чтоб сделаться прилежным и благонравным бурсаком. Безусловно обещать я не мог, вероятно, потому, что любовь к правде не была еще из меня выбита, а не исполнить обещания мой ребячий умишко уже тогда считал обманом. Понимал, надо полагать, я и слабость своих сил в предстоящей борьбе с искушениями, а сил действительно требовалось много, чтоб стать благонравным мальчиком в глазах наших педагогов тогдашнего времени. Отец - я помню это хорошо - удовлетворился моим условным обещанием и крепко расцеловал меня. Но мама не удовольствовалась им: она не раз требовала, чтоб я пред иконой поклялся исправиться без всяких „если“, так что она даже вывела из терпения отца, который вынужден был на нее прикрикнуть.

Всю дорогу, а она по случаю распутицы тянулась не менее двух дней, - я обдумывал предстоящую мне жизнь, суть которой должна состоять в исправлении чего - то мало для меня понятного. С какими горячими слезами, с какой детской искренностью я молил бога о помощи! Мой, непривыкший еще к анализу, маленький умишко работал изо всех сил, а толку выходило мало. Я понимал только, что для успокоения дорогих моих родителей, ради священной для меня памяти деда я должен исправиться. Я не очень доверял угрозам мамы, что в случае исключения меня из училища дом родительский будет для меня закрыт, ибо был уверен в ее и отцовской любви ко мне.

Более пугала меня нарисованная отцом картина. В случае исключения, говорил он, мне предстоит две перспективы, крайне мрачные: или быть звонарем и только при особом счастье дьячком, или угодить под красную шапку. От этой последней перспективы, при одном только представлении о ней, мороз подирал кожу. Еще в раннем детстве мне пришлось наслушаться ужасающих рассказов о солдатской жизни для лиц из духовного звания.

В начале, кажется, сороковых годов забирали в солдаты всех исключенных из училищ и семинарий и достигших известного возраста: тогда-то стоял на Вятской земле и в градах, и в весях стон и вой. Архиерей пощады не давал даже женатым и семейным, чтоб обилием рекрут угодить начальству.

Все это вместе взятое привело меня к решению: во что бы то ни стало исправиться. Но как!? Вот вопрос, который я не мог тогда решить, так как при решении его в моем слабом уме возникало много противоречий и неясностей. Педагоги того времени (да, пожалуй, некоторые из нынешних) называли бы меня дураком, не понимающим самых простых вещей; они сказали бы: учись прилежно да веди себя благонравно - вот и все нужное для исправления. Эх, господа педагоги! Я знал эту прописную мораль, да дело мне представлялось тогда далеко не таким простым и легким, как казалось педагогам.

У меня, с раннего детства была сильная склонность к учению, благодаря толковым и приуроченным к детскому пониманию рассказам и объяснениям деда и частью отца, а скоро появилась и любознательность. Должно полагать, что я порядочно надоедал вопросам, часто неуместными, своим дорогим воспитателям, которые терпеливо и толково удовлетворяли мою любознательность. Дома и ученье мое, т. е. приготовление уроков из разных предметов, шло хорошо, ибо требовалась не зубрилка бестолковая, а отчетливое понимание и запоминание урока. В училище же преподавание велось на особый лад, или, точнее говоря, у нас не было никакого преподавания. Нам только задавали уроки от сих и до сих и требовали, чтоб при ответе урока мы не дерзали не только одно слово заменить другим, хотя бы и более удачным, но даже переставить соседние слова без всякого искажения смысла. За две - три самые невинные ошибки назначалась более или менее жестокая порка, если же учитель не был еще раздражен, то мы отделялись стоянием на коленях или земными поклонами. Объяснений задаваемых уроков, конечно, не полагалось.

Вся преподавательская деятельность всех без исключения учителей наших ограничивалась слушанием уроков, при чем за буквальную правильностью их они, т. е. учителя, следили, по книге. Затем рассматривалась пресловутая нотата и, наконец, следовала более или менее жестокая порка, которой каждодневно подвергалось не менее пяти, а иногда и более 20 учеников в одном только классе.

Система эта, впрочем, разнообразилась, так как у нас было несколько учителей. Один из них строго держался описанного только что порядка, другой начинал класс просматриванием нотаты, за которым следовали слушание уроков и, наконец, порка; был и такой педагог, который порку производил в течение класса 2 и даже изредка 3 раза. Просмотрит он нотату и всех учеников, у которых стоит в ней ns и nt, перепорет. Затем начнет спрашивать урок у тех, против

которых в нотате поставлено ег или sc, и, если найдет, что отметки эти выставлены, по его мнению, более снисходительно, чем следует, то назначается порка сциенсам и еррантам.

Наконец снимают штанишки и те авдиторы, которые по доброте или за взятку поставили в нотате высшие, чем должно, баллы.

Нужно добавить, что утренний класс продолжался ровно четыре часа - с 8 до 12; перемен никаких не полагалось. Уже по этому можно судить о премудрых педагогических порядках сороковых годов. Мне часто приходило на мысль, что не для собственного ли развлечения учителя так часто и так несправедливо драли нас? Ведь не легко четыре часа просидеть за скучнейшим делом. Я недоумевал, да и теперь остаюсь в недоумении, для чего от наших учителей требовалось окончание курса в семинарии; их легко и удобно мог заменить каждый грамотный крестьянин.

Мудрено ли, что при таких учителях и таких порядках училищная наука или, говоря точнее, безобразное преподавание ее постепенно становилось для меня отвратительнее и омерзительнее. Приняться за зубрение урока было для меня самым тяжелым подвигом; на учебники и смотреть было тошно, а между тем те же книги дома доставляли мне наслаждение. Поэтому во время спрашивания уроков и я, бывший правдивый мальчик, подобно некоторым товарищам, стал прибегать к разным хитростям и обманам, лишь бы только не зубрить уроков. Чем чаще удавались обманы, тем чаще я прибегал к ним. Я даже изобрел несколько новых способов обманывать учителей.

Мои домашние взгляды на правдивость, на честность пошли прахом. Мало этого. Какой - либо хитроумный и одурачивающий начальство обман доставлял мне высокое наслаждение. Падение моих нравственных начал особенно шибко пошло со времени описанной выше порки. Возвращаясь в училище и задумываясь над вопросом, как я должен исполнить

обещание прилежно учиться и благонаравно вести себя, мне - тогда десятилетнему ребенку - стало ясно, что благонаравие на взгляд начальства состоит в злонравии. Значит, чем больше я буду лгать, на все лады выставляя себя напоказ и с выгодной стороны начальству, низкопоклонничать при случае, всегда лицемерить, тем я заслужу большее благоволение своего начальства.

Конечно, не сознание, а только инстинкт подсказывал, что все это гадко, пошло, но тем не менее необходимо. Итак для того, чтобы считаться в глазах начальства хорошим учеником, я должен был предать себя бессмысленной, отупляющей долбне, с одной стороны, а с другой - похерить все хорошие нравственные задатки, полученные мною дома.

Теперь я – старик - с ужасом вспоминаю это время моего нравственного и умственного падения. Какие боги помогли мне хоть немного уцелеть от этого подлого, развращающего, но считавшегося благонаравным режима, я и теперь отчетливо не сознаю. Ведь легко только сказать, что я почти 7 лет был благонаравным отроком и юношей, что в переводе благонаравия на простой человеческий язык означает, что я сделался отчаянным фарисеем и лицемером, потерявшим всякое понятие о честном и святом для порядочного человека и напрягавшим все силы своего умишка для того, чтоб свое благонаравие представить в самом выгодном свете начальству и чтоб из-за угла пакостить ему, насколько только силы позволяли. И я, действительно, пакостил ему в грандиозных размерах и только изредка попадался впросак, а большею частию выходил сухим из воды.

\* Однако я уклонился в сторону. При всем желании быть кратким, я не в силах обойтись без психологического анализа этого вечно памятного для меня времени моего падения. Щадя твое терпение, я не сказал и сотой доли того, что я чувствовал и теперь еще чувствую относительно происшедшего со мною крутого перелома \*.

Конечно, перелом этот совершился не сразу, не во время только моего путешествия в Вятку. Но я отлично помню, что в эти два дня я решил окончательно, что я должен быть прилежным учеником, т. е. бессмысленным зубрилою и благонравным, т. е. злонравным мальчиком. Перспектива красной шапки и звонарства, в связи с просьбами дорогих родных, сделали, значит, свое дело.

Скоро товарищи по училищу за мое благонравие наградили меня кличками: сатаны и ipse [сам], что на училищном жаргоне значило еще нечто худшее, чем дьявол. И эти клички даны мне товарищами любя, и ими я даже гордился. Хорош же я, вероятно, был тогда, если заслужил подобные титулы!

Была у меня еще и третья кличка: „о, окаянный“, но она заслужена мною не по праву, а случайно. Произошло это так: в послеобеденные классы мы занимались церковным пением. Как-то пели ирмосы, в одном из которых есть слова: „о, окаянный, вопияше аз“, которые обыкновенно произносились громко - fortissimo и на высоких нотах. Сидя в камчатке, т. е. на задней парте и вдали от учителя, я часто в классе пения отдавал себя во власть Морфея. Но зная, что в этот класс надо гаркнуть во всю глотку,— а она у меня была всегда громогласная, хотя и несуразная, - я просил соседа разбудить меня, когда придет время гаркнуть. Но насмешник сосед разбудил меня раньше, чем следовало, - и я спросонья, не прислушавшись к пению, гаркнул во всю свою широкую глотку: „о, окаянный“ и т. д.

Эффект вышел необычайный; последовал гомерический хохот всего класса во главе даже с учителем. Последний с веселым смехом выпалил остроту, пришедшуюся по вкусу всем товарищам: „будь же ты отныне окаянный“. Последовал новый взрыв хохота, чем и кончилось все дело. Мне сверх моего ожидания не было даже порки. Учитель пения о забавном инциденте сообщил другим учителям, и я надолго потерял свою настоящую фамилию, которую наши милые педагоги заменили

словом: „о, окаянный". Эти три клички я получил в разное время моей училищной жизни, но когда и в каком порядке - теперь не помню.

Однако я опять порвал нить рассказа и уклонился в сторону.

Пока я болел да проводил пасхальные каникулы в родном гнездышке, надо мной собралась жестокая гроза. Не помню уже, один ли инспектор или вкупе с учителями и смотрителем подготовили для меня ужасную пакость, которая лишь благодаря счастливому случаю миновала меня. Когда, по возвращении из дома, я явился к инспектору, он с ехидной улыбкой сказал мне: завтра в 8 ч. оденься получше да приходи ко мне за пакетом; с тобой желает познакомиться архиерей. Конечно, не мало задумался я над этими словами, но не струсил, так как архиереем тогда был благодушный старец Неофит, у которого я сиживал на коленях, когда, еще до отдачи меня в бурсацкую каторгу, он бывал в гостях у деда.

Отправляюсь я к архиерею, отвечаю ему, по обычаю, земной поклон, принимая благословение, и передаю запечатанный пакет. „Так это ты бунтовщик - то! Вот я тебя проучу", говорит архиерей, а сам ласково улыбается. Вероятно, его поразили мой чрезвычайно тогда малый рост и добродушное, совершенно ребячье лицо, которые давали повод многим считать меня 5—6-летним ребенком. Затем он берет меня за руку и со словами: „ну - ка пойдем, бунтовщик" ведет в кабинет. После долгого упорства с моей стороны он усаживает меня и начинает расспрашивать о деле моем, а потом о деде и его смерти. Воспоминание о нем и ласковое участие архиерея довели меня до слез, да и у него самого глаза стали влажны.

- Я любил крепко о. Савватия; очень уж он был умен, добр и правдив, - говорил мне архиерей; - язык только у него был острее бритвы, да не умел он молчать при нужде. Будь же и ты в деда, только не будь резок на словах, пока учишься, да больше имей терпения, помни, что корень учения горек и что



сам премудрый Сирах при учении велит почаще прибегать к жезлу. Ох, уже эти учителя! Хотят ребенка выгнать из училища! - как бы про себя проговорил добряк, поцеловал меня и на прощанье целые пригоршни дал разных сластей.

- Ну, прощай, да не бунтуй больше,— улыбаясь, промолвил он.

Можешь себе представить, с какою радостью и какими веселыми нотами я бежал в училище. На вопрос инспектора о предмете разговора с владыкою я отделался уклончивыми фразами, не задевая, впрочем, амбицию моего прямого начальства. Вышло как-то так, что и волки были сыты и овцы целы. Даже инспектор сам немного смягчился: он драл меня уже не так жестоко, а главное не придирался ко мне зря.

После я узнал, какая горькая доля готовилась мне. Начальство сделало архиерею представление обо мне, как об опасном для спокойствия училища бунтовщике, и просило разрешения у архиерея исключить меня, чтоб оградить от моей, так сказать, заразы других благонравных учеников. К моему счастью, во - первых, представление это поступило к добрейшему архиерею, а во - вторых, оно поступило вскоре после получения им извещения о смерти моего деда. Случилось так, что кляуза училищного начальства попала в руки архиерея в присутствии одного попа, жившего недалеко от нашего села. Конечно, в кляузе, быть может, и не однажды было упомянуто мое имя. Архиерей спрашивает бывшего тут священника:

- Ты говорил мне, что был на похоронах у отца Савватия; нет ли у него внука, соименного ему Савватия Сычугова?

Выслушав объяснение моего родства с дедом, архиерей сказал:

- Да, теперь припоминаю, что, бывши у покойного, я держал еще у себя на коленях маленького, беленького мальчика.

А священник добавил, что этот мальчик наверно я, что дед во мне души не чаял, что взял меня к себе на житье от родителей и сам даже приготовил меня для поступления в

училище. Этот - то случай, главным образом, и спас меня от беды, а не одно только добродушие архиерея, так как и при нем исключалось не мало учеников за пустячные проступки. Но я и теперь еще с признательностью все-таки вспоминаю об нем. При другом архиерее никакой случай не выручил бы меня. И пришлось бы мне тогда или тянуть солдатскую лямку, или доить колокола.

\* И тебе тогда не удалось бы, конечно, узнать сердечно любящего тебя Савватия.

Для характеристики деда и его смелости, а пожалуй и дерзости, передам еще рассказ моего отца\*. В с. Великорецком, где дед и отец священствовали вместе (друг за другом) 70 лет и где я также свирепствовал в качестве земского врача 10 лет, бывает в мае, по случаю принесения иконы из Вятки, громадное стечение народа. Знатоки на глазомер определяли число его в 80 - 100 тысяч. На этот праздник встарину ежегодно приезжали не только архиерей, но даже губернатор и прочие высокие власти. Для архиерея выстроен даже особый каменный дом, который и посейчас называется архиерейским. Для всей этой знати дед давал шикарный обед, за который садилось 40 - 50 титулованных лиц. Перед обедом гости выпивали, конечно, и закусывали. В числе их был один архимандрит, который, налив себе рюмку, обхватил ее всей ладонью, вероятно, для того, чтобы другие не видели, сколько в нее налито вина. Но дед, увидев это, сказал громко: „ты что же это делаешь, о. архимандрит? Видно ты привык – по - монашенски \* в кулак?“ Взрыв хохота всех гостей был ответом на эту двусмысленность\*. Не обиделся на нее и сам архимандрит. Только архиерей, когда уже умолк хохот, дружески заметил деду:

- Тебе бы, о. Савватий, надо быть митрополитом по твоим достоинствам, да язык у тебя только бедовый; никому ты не даешь спуска. И они расстались все-таки друзьями; архиерей попрежнему во время праздника навещал деда.

В бытность мою уже врачом много о деде передавал мне подобных рассказов отец. Не забудь, что все это было в те блаженные времена, когда не только попы, но и протопопы падали ниц перед архиереем и раболепствовали на разные лады.

\* Прости ты меня, что я так много болтаю о деде, личности нисколько не интересной для тебя. Очень уж я его любил и люблю за все то доброе, что он сделал для меня\*. Его влиянию я обязан между прочим тем, что не только хладнокровно, но даже с иронией всегда относился к разным внешним отличиям, вроде чинов, орденов, славы и пр., и во всю жизнь сохранил независимость своего характера. До какой степени въелось в меня равнодушие к этой внешности, ты можешь судить по тому, что я тотчас по поступлении в земство отказался от чинов и пр., чем произвел на властей дурное впечатление. Если у меня и есть чиновная кличка, то я получил ее неожиданно за службу военную и посейчас решительно не могу сказать, в каком я ранге состою.

\* Сильное ослабление памяти и прорухи, которые случались со мною в последнее время в письмах к тебе, побуждают меня прочитывать написанное, чего я прежде, по глупости своей, не делал \*. Теперь в одном из листков своих воспоминаний я встретил несколько слов о нотате.

Такого позорного, развращающего нравственно детей, способа оценки знаний в гимназиях, кажется, не существовало, и я хочу коротенько поговорить об этом подлом курьезе. Нотата - это тетрадь, разлинованная на квадратики, которых против каждой фамилий ученика в горизонтальном направлении полагалось столько, сколько было в предстоящем месяце дней. Из учеников, считавшихся лучшими, назначались аудиторы, из которых каждому подчинены были 5 товарищей, обязанных отдать отчет в знании урока корчащему из себя начальство аудитору.

Такое слушание уроков производилось каждодневно до начала класса, для чего ученикам приходилось собираться часов

в 7 утра, так как классы начинались в 8 час. Это было особенно тяжело ученикам, жившим не в самой бурсе, а на квартире; они – бедняги - помимо того, что часто страдали от путешествия по ужасным вятским грязям или снежным сугробам, помимо дождя, мятелей и тьмы крошечной испытывали нередко остроту собачьих зубов. За один год моей жизни на квартире меня и мою жалкую одежду псы грызли не менее пяти раз.

Попечительному начальству и в голову не приходила нелепость требования являться в классы, особенно зимою, задолго до света. К счастью, во время моего учения не было случаев укушения бешеными собаками. Возвращаюсь к пресловутой нотате и аудиторам. Отметки ставились в квадратах следующие: sc—sciens, lit- non totum, er - errans и ns - ncsciens. Чтоб получить которую-либо из этих отметок, пятеро выслушиваемых почтительно становятся полукругом перед аудитором, который сидит на скамейке и с важностью китайского мандарина корчит серьезную рожицу, а во время ответов не спускает с книги глаз, боясь, чтоб ученик не заменил одно слово другим. Едва кончится слушание уроков, как начинается вымогательство аудитором от подчиненных ему товарищей дани, которая некоторыми и вручается ему совершенно открыто в виде кусков черного, редко белого хлеба, иногда кусочка ржаного пирога и вообще чего - либо съедобного.

Живущие в бурсе сами обыкновенно почти всегда бывают голодны, а потому данниками являются квартирные ученики. Бурсаки же платили взятки гусиным пером, клочком бумаги; но были дани, о которых без омерзения и вспомнить не могу и о которых, если не забуду, скажу в другом месте, когда дойдет речь до ученических пороков. Понятно, что дань вносилась не из любви к аудитору, а за снисхождение в нотатной отметке, и чем больше была дань, тем выставялась лучшая отметка и тем большему риску подвергался и аудитор. В случае обнаружения неправильности учителем обязательно

следовала взаимная порка - нечто вроде применения ланкастерской системы взаимного обучения. Сначала снисходительного аудитора выпорот воспользовавшийся его снисхождением ученик и тотчас же, передав лозу аудитору, ложится сам под нее. А учитель во время этого взаимного сечения изрыгает какие-либо нравственные сентенции.

\* Ну скажи, разве не остроумна эта выдумка! И разве не герои в своем роде голодные бурсаки - аудиторы! За кусок хлеба получить 20 - 25 розог, - это, конечно, геройство, хотя и безобразное \*. Вот, друже, как с раннего детства уродовали нашу природу во имя благонравия. Кажется, но наверное сказать не могу, был и я тоже аудитором, но только очень недолго; помнится, хотя и смутно, что за аудиторство и секли меня, но, вероятно, не за взятки. Я еще дома привык есть очень мало и плохим едоком остался на всю жизнь; порцию бурсацкого хлеба я никогда не съедал, значит, не было у меня причин брать взятки. \* Смутно припоминаю, что я был жестоко высечен за отказ высечь товарища; роль палача, даже во времена ужасного моего нравственного падения, никогда не казалась мне симпатичною. И так как сечением у нас занимались ученики-любители, то, надо полагать, что я получил порку за отказ высечь подчиненного мне, как аудитору, товарища.

Наконец-то, уже без всяких скачков в сторону, буду рассказывать, как я сделался прилежным и благонравным бурсаком. А ведь еще приходится прыгнуть в сторону, иначе тебе будет кое-что непонятно \*.

Природа наделила меня очень богатою, но своеобразною, пожалуй, даже уродливою памятью. Чтобы крепко запомнить мне какой -нибудь хотя исторический рассказ и передать его своими словами, мне нужно было прочесть его внимательно 2—3 раза и более, смотря по длине его. Но самый бессмысленный набор слов я мог повторить безошибочно после прочтения его не более 2 раз. Иногда целую страницу глупых слов я, на потеху товарищей, прочитав один раз, повторял слово в слово, но зато

такое приобретение держалось в моей несуразной памяти лишь несколько часов. Поэтому из прекрасно, повидимому, выученного урока вечером на другое утро не оставалось в памяти ни шиша.

Еще особенность моей памяти. Стоит меня во время моего вызубренного ответа остановить на минуту - все тогда пропало; далее уж я не могу продолжать. Часто во время отвечания урока находил на меня тупик вследствие какого-нибудь постороннего обстоятельства, например, неожиданного стука, шума и пр. Так было лет до 14 - 15; затем, конечно, от упражнения память первого рода, так сказать, сознательная, - память мыслей, постепенно усилилась, а память слов почти совсем улетучилась. Отсюда ясно, что моя память слов была и хороша, и дурна. Хороша она была, если учитель спросит урок вскоре после прочтения его мною; дурна же она была, если отвечать приходилось в конце класса, или если ответ мой прерывался чем-нибудь. И выходила неровность моих ответов: в один день я прекрасно отвечаю, а в другой - стою и молчу, а это непостоянство страшно возмущало против меня учителей.

Многие уроки я про себя знал и мог бы рассказать их, хотя не очень складно, своими словами, но горьким опытом я познал, что это опаснее, чем полное незнание. За последнее выпорют, - и только; за умалчиванье же, т. е. за рассказ своими словами, кроме порки приводилось выносить щелчки, зуботычины, оплеухи и - что для меня было невыносимо - выслушивать глупейшие сентенции: „Ты, сукин сын, умничать вздумал, хочешь быть умнее книги" и т. д., вразумляет бывало учитель, а вразумляемый думает, лучше бы ты дважды выпорол меня, чем пороть дичь и выматывать мою душу. На меня, да и на многих товарищей увещания и проповеди производили скверное влияние, особенно, если они были длинны или состояли из прописной морали.

\* Однако я, как видно, неисправим; опять бросился в сторону. Пожалуй, ты подумаешь, что лучше бы Савватий выпорол меня, чем преподносил вместо дневника ерунду \*.

Вооружившись возможною для тогдашнего моего возраста решимостию зубрить во что бы то ни стало, я хорошо готовил уроки, в нотате без всякого подкупа стояло у меня sc; учителя почти каждый день спрашивали урок и были довольны моими ответами; умничать перед ними я также перестал. Отвращение к зубристике, кажется, усилилось, но я мужественно боролся с ним и преодолевал пока его.

Но недолго продолжалось мое ровное и хорошее учение. По возвращении из дома едва ли прошло более 2 недель, как у меня появились головные боли, повидимому, перемежного характера. Они мучили меня, сколько помнится, через день и по утрам, т. е. тогда, когда я готовил уроки. Учителя почти каждый день спрашивали у меня уроки и потому тотчас же обнаружили мое незнание, да при спросе я и сам заявлял о нем, ссылаясь на головную боль. Ссылка принята была за лень и притворство, - и я еще с продолжающеюся головною болью был высечен. Учитель - палач не сдержал себя еще от подленькой насмешки: „лоза, - сказал он с улыбкой, - отлично оттягивает боль от головы к [сидению]". Ученики загоготали, а я, с болью и с злобой, еле добрался до места.

На другое утро голова была свежа; я прекрасно приготовил и ответил урок, - и все-таки был высечен. За что же? А за то, как вещал премудрый педагог, что одного, дескать, приема лекарства мало, что моя болезнь может повториться и что у меня хороши способности, да лени много.\* Это значит: недовернешься - бьют, и перевернешься - опять бьют \*. На следующий день новый приступ боли, опять незнание урока и порка, - и такие истязания повторялись каждодневно; сколько времени они продолжались - не помню, но не менее, кажется, 2 недель.

Я перестал почти есть, исхудал, побледнел и ослабел до того, что уже сам учитель послал меня в больницу. Врач, обыкновенно редко бывавший в ней, на мое счастье случился тут; посмотрел у меня язык, пульс, ткнул зачем-то пальцем в брюхо, так что я вскрикнул от боли, и сказал фельдшеру: „три кружки“, вот и все. Это значило, что я должен выпить три большие кружки теплой воды, чтоб очистить мой почти пустой желудок. Врач этот едва ли не все болезни лечил рвотным, что нравилось, конечно, начальству, клавшему деньги на лекарства себе в карман. Меня отхлестало до обморока, порядочно напугавшего врача.

Но когда я очнулся, то он не оставил меня в больнице, а послал, в сопровождении фельдшера впрочем, все-таки в училище. Хорош, надо полагать, я имел тогда вид, если сам палач-учитель пожалел меня; он приказал раздвинуться ученикам, чтоб я мог до обеда полежать на лавке. И жалость его была своевременная, так как мне сидеть было не только вследствие слабости трудно, но и больно. Вся педагогическая часть тела была покрыта струпиями, а кальсоны от гноя и крови так заскорузли, что были точно кожаные.

Более всех за это время жалел меня наш служитель— простой крестьянин, даже неграмотный. Он первый еще в начале болезни заметил, что мне скучно и нездоровится, сам напросился мыть хотя через день мои заскорузлые штанишки и даже на свой счет купил мне булку, которою я и питался, должно быть с неделю, до бурсацкой же пищи я почти не дотрагивался.

О чем только я не передумал во время этой болезни и каждодневных порок! Не физическая боль и не болезнь так терзали и угнетали меня тогда, а что-то более серьезное и, так сказать, духовное. Уж не начало ли просыпаться во мне сознание, хотя пока более похожее на инстинкт, своего маленького человеческого достоинства, постоянно и несправедливо оскорбляемого? Не знаю. Помню только, что



духовно я страдал ужасно; помню также и помню отчетливо, что именно в это время не однажды являлось у меня желание покончить с собою - утопиться.

Почему уж мне хотелось умереть в воде - не помню. Быть может, на выбор этого рода самоубийства влияло то, что училище наше стояло на самом берегу реки Вятки. Но мысль о смерти тотчас же заставляла всплывать со дна души все мои злые инстинкты. Мне хотелось перед смертью устроить начальству какую-нибудь грандиозную пакость. Не помню, что уже спасло меня от величайшей глупости: мое ли бессилие на пакость или трогательное участие ко мне доброго служителя \* при общем безучастии окружающих меня товарищей. Нет, я резко и несправедливо выразился \*.

Товарищи участливо относились ко мне, но они не понимали моих страданий так, как их понимал служитель, а я не умел выяснить им свое горе. С детской наивностью они полагали, что каждодневные порки составляют суть моих страданий, а потому и от сочувствия их я не получал облегчения. Один товарищ, напр., говорил: „есть о чем горевать; ведь на ж... не горох молотить“; другой утешал поговоркой: „до свадьбы далеко, ж... заживет“ и т. д. И никому из них не приходило в голову, что нравственные страдания бывают иногда мучительнее самой жестокой порки.

Не виноваты, конечно, были товарищи, что не понимали моего отчаяния: наверно никто из них не пользовался высоко - нравственными уроками такого гуманного и разумного педагога, каким был мой дед. Не будь его, тогда, вероятно, и я, подобно товарищам, страдал бы не от нравственных, а от одних только физических болей. Едва ли я в это время вспоминал, по крайней мере часто, о домашнем уютном гнездышке. Ведь такие воспоминания должны были только усиливать мои страдания.

\* Между тогдашнею моею жизнью и жизнью дома существовал самый резкий контраст. Даже в благополучное относительно время бурсацкого житья в воображении моем

домашний очаг рисовался в виде прекрасного майского утра; бурса же мне казалась ненастной, непроглядною сентябрьскою ночью \*.

В течение моей богатой горем жизни случай много раз выручал меня из неминуемой беды. Выручил он меня и тогда. В послеобеденный класс мне, как ослабевшему, позволено было остаться в спальне. Когда я, лежа на койке, разговаривал о чем-то с добрым служителем, неожиданно является в спальню отец мой. Свидание наше и первые разговоры были так сердечны и трогательны, что не только у нас, но у служителя брызнули из глаз слезы. Свидание это так крепко запечатлелось в моей памяти, что как будто оно только вчера происходило.

По просьбе отца меня уволили на ночь к нему на квартиру. По пути он завозил меня к доктору, который только морщился, слушая мой рассказ о лечении в больнице. Куплены были, конечно, и назначенные им лекарства. Далеко за полночь затянулась наша беседа. И что особенно и приятно меня поразило, так это то, что отец разговаривал со мной, как с равным, чего прежде не бывало. Разговор наш часто прерывался то слезами, то поцелуями и другими ласками серьезного и даже часто сурового на вид отца. Результатом нашей беседы было еще большее укрепление ко мне решимости, при всем моем отвращении к бурсе с ее учебниками и порядками, быть прилежным и благонравным мальчиком. Да другого выхода мы тогда и не видели: отцу не пришло на мысль перевести меня в гимназию, что, вероятно, тогдашнее духовенство сочло бы за ересь, а я тогда о гимназии и понятия не имел. Начинившись воловьєю добродетелью - терпением, я в довольно уже бодром виде утром явился в училище и успел еще до класса вызубрить урок. По обычаю я был спрошен и ответил бойко; по обычаю я уже ожидал привычного возгласа: „к лозе" и тошнотворного разглагольствования учителя о моих способностях и лени, но, к удивлению, услышал ласковые слова „хорошо, садись на место". Едва ли отец, проводивши меня в училище, не повидался с

учителем и не вручил ему некую мзду. А быть может, вчерашний изможденный мой вид заставил заговорить в нем совесть? Впрочем, это одни предположения.

С терпением, достойный лучшей участи, принялся я за отупляющую зубрежку, перестав почти принимать участие в играх товарищей, сделался кротким и смиренным, - словом, благонравным учеником. Как теперь, так и в следующие годы училищной и отчасти семинарской жизни, учился я, так сказать, оригинально - нелепо: по утрам пускал в ход память слов, значит бессмысленно зубрил уроки; по вечерам же с некоторым толком усвоял кое-что из учебников, которые еще не опротивели. Вызубренное через несколько же часов забывалось без остатка, а от учебников, из которых я хотел действительно почерпнуть кое-какие знания, пользы было мало: они тогда были очень плохи; многое в них я не мог понять, а объяснений у нас не полагалось.

\* Ненависть моя к бурсе и ее порядкам не только не ослабела, а много даже усилилась, но я уже настолько изолгался и вообще испортился нравственно, что этой ненависти никто не подозревал. Двуличность заменила мою прежнюю правдивость\*; я сделался в глазах, по крайней мере, начальства прилежным и благонравным учеником. До половины июля, т. е. до летних каникул, меня ни разу не высекли. Экзамен я сдал так хорошо, что сам жестокий инспектор похвалил меня и сказал, что за этот экзамен стоило бы перевести меня первым, если б в первые две трети я учился и вел себя так же хорошо, как в последнюю. Итак я перешел в так называвшуюся тогда грамматику, или третий класс, не только не в числе первых, но кажется, не в первом даже десятке.

Товарищи возмущались этой несправедливостью, ибо не видели в моем поведении никакого позорного поступка, но я был совершенно равнодушен. Кстати скажу, что у нас год делился не на полугодия, а на трети, и в конце каждой из них, т. е. пред святками, пасхою и летними каникулами, происходили

экзамены. И каникулы у нас начинались только 15 июля (а не июня, как везде) и оканчивались 1-го сентября. \* И эти особенности, подобно многому другому, также дурно рекомендовали порядки духовных училищ, в том числе семинарий и академий \*.

Конечно с радостью я ехал домой, но радость эта была уже далеко не такая сильная и живая, как при прежних моих поездках в родное гнездышко. Отец и мать заметили во мне перемену; отец знал ее причину, но молчал и вздыхал, Мать же, найдя меня очень бледным и похудевшим, объясняла перемену моего настроения бывшею весною болезнью и с первого же дня стала откармливать, как на убой. Я, действительно, скоро зарумянился и потолстел, но душа моя продолжала болеть. Боль ее была не жгучая, как бывало иногда в училище, а какая-то тупая: точно душа моя ныла.

Развлечений, свойственных моему возрасту, не было почти никаких. Были, правда, в селе 2 - 3 бурсака, но у меня не было к ним симпатии, да и в бурсе их не очень-то любили и товарищи. Крестьянские мальчишки, с которыми прежде я делил свои радости и вообще чувства, подросли настолько, что вместе с взрослыми работали в полях. Только по воскресеньям я мог наслаждаться их обществом.

Читать было нечего. Книг хотя от деда и много осталось, не мало их было и у отца, но таких книг, которые были бы свойственны моему детскому пониманию, у нас в доме не было. Да и вообще тогда детской литературы на русском, по крайней мере, языке почти не существовало. Пробовал было я просить у отца книг из дедовской библиотеки, но услышал то же, что слышал прежде от деда: еще рано. Мама предлагала не раз почитать житие святых вслух, но я исполнил ее волю 2 - 3 раза за все лето, а потом совсем уклонился от чтения. Вероятно, материнское сердце подсказывало ей, что мне не до житий святых.

В виду всего этого я вполне окунулся в созерцательную жизнь. Любимым моим препровождением времени было просиживать по несколько часов чуть не ежедневно на кладбище вблизи могилы деда и в окошечко посматривать на нее (он погребен был под кладбищенскою церковью, - в  $1/2$  вер. от села). О чем я думал, да и думал ли о чем, - не помню. Помню только, что в эти каникулы какая-то тоска давила меня, что ко всему окружающему я относился безучастно, апатично. Все, что прежде радовало, восхищало меня, теперь потеряло в глазах моих всякую прелесть.

Стыдно даже и теперь еще, а ради правды должен сказать, что еще задолго до конца каникул у меня явилось желание поскорее как-нибудь убраться из теплого уютного родного гнездышка в проклятую бурсу. Желание непонятное, противоестественное даже, каким я и посейчас его считаю, сильно одолевало меня, - и я с нетерпением, которое, впрочем, умел скрыть от родных, ждал окончания каникул. В дороге по пути в Вятку я ощущал только какую-то неловкость, недовольство собой и только. Сожалений о разлуке, воспоминаний о любящей и любимой мною родной семье (это было несомненно, по почему-то не ясно), как это бывало прежде по выезде из дома, тогда не было и в помине.

\* И теперь я не постигаю тогдашнего, какого-то безобразного настроения моей детской души, да вероятно и никогда не постигну. Вот и разбирай тут ребячью логику, нутро, так сказать, детской души!

Будь я в Москве, быть может, за разрешением этого вопроса из моего далекого детства я не стеснялся бы потолковать с некоторыми психо-физиолого-философами, и они, если бы не разрешили моего недоумения, то, быть может, указали бы способы для его вероятного разрешения. Я не стеснялся бы потолковать об этом и теперь мучающем меня вопросе с самим Л. Н. Толстым. Это было бы с моей стороны дерзостью, но дерзостью искреннею, а эта искренность, так

любимая им, побудила бы его и самого искренно высказаться и помочь мне в разрешении вопроса, не дающего мне покоя\*.

К счастью, такое подлое состояние продолжалось недолго, - вряд ли дольше 2-х месяцев. Родители и сестры опять стали часто рисоваться в моем воображении в самом привлекательном виде; я опять стал их любить попрежнему. Да, впрочем, едва ли я и переставал их любить, - не было для охлаждения любви с их стороны ни малейшего повода; \* только любовь моя, вероятно, на время затушевалась \*.

В грамматике, т. е. в 3-м классе, я учился и вел себя безукоризненно; не мешала этому и ненависть моя к учению и порядкам бурсы. Времени у меня с излишком хватало на двойное ученье: утром для учителей зубрил бессмысленно, а вечером, по мере сил, более или менее сознательно усвоил кое-что из учебников. С особым рвением я отдался изучению древних языков, и к концу года сделал порядочные успехи. Это было тем легче для меня, что еще дома дед своим разумным обучением и выяснением благих результатов, сопряженных с хорошим знанием древних языков, поселил во мне если не любовь к ним, то любопытство.

За весь учебный год выпороли меня только однажды, но зато так жестоко, что порка и мотив к ней и посейчас отчетливо помнятся. Как и в других заведениях, в училище было несколько шпионов, частью добровольцев, частью по приказанию начальства. Давно наш класс знал, что в нем есть шпион (на нашем жаргоне он назывался Иуда или наушник), но кто он - мы узнать не могли до поры до времени. На мое горе, случай помог мне открыть в нашем нечистоплотном стаде паршивую овцу.

Как-то вечером, в сумерки, отправляясь в сортир, я услышал какое-то шушуканье. С ловкостью кошки я осторожно сделал несколько шагов и занял очень удобный наблюдательный пункт, с которого отлично можно было разбирать шушуканье. Уже выслушал я несколько докладов о товарищах и с

нетерпением ждал аттестации о своей особе, но кашель мой все дело испортил. Учитель (мой ярый недруг), исправлявший должность помощника инспектора, быстро шмыгнул по лестнице вниз к выходу; наушник же побежал по коридору, стараясь, очевидно, удрать от меня, чтобы не быть узнанным. Но я успел ухватить его за шиворот и втащить в класс, где ученики зажгли уже сальные свечи и уселись на места. (Местами называлось у нас время с 5 до 8 ч., в течение которого готовились уроки к следующему дню; За порядком наблюдал цензор из одноклассников.) Здесь я громко крикнул: „я нашел Иуду" и слегка толкнул вперед упирившегося наушника.

Я драться и обижать товарищей терпеть не мог, но, к несчастью, мой легкий толчок свалил Иуду, - и он с окровавленным носом быстро соскочил и побежал с жалобой к инспектору. Товарищи окружили меня и утешали, по своему разумению; каждый из них, кажется, чувствовал, что мне придется шибко пострадать за общее дело. Даже не особенно чувствительные товарищи - палачи, истые артисты своего дела, утешали меня обещаниями не пролить ни капли моей крови, хотя бы приказано было дать мне 100 розог. И это было не хвастовство: они могли просечь кожу 2—3 ударами, но могли также сделать порку едва чувствительною.

Я несколько поуспокоился, но иллюзиям предаваться не мог, зная, что инспектора провести гораздо труднее, чем учителей, которым палачи ловко иногда вставляли очки. Затем началось совещание по поводу способа наказания Иуды. Я, как не любитель кулака, предлагал то, что ныне в палатах называется обструкцией, и что изредка иногда применялось и в бурсе, но мой голос был гласом вопиющего в пустыне. Почти все высказались за основательную лупцовку, носившую название: кто есть ударей ты?

Иуда, чувствуя, вероятно, беду, не возвращался на место и только на другое утро перед самым уроком появился в классе. Едва ученики в несколько десятков глоток гаркнули: „Иуда", как

явился инспектор. Свирепый вид его и рычащий крик не предвещали ничего доброго. Когда же он прорычал: „пару служителей“, и спросил артистов, сколько у них лоз, екнуло мое сердце, да и у товарищей лица вытянулись. Все знали, что пощады мне не будет. (Добрый служитель, о котором я говорил, еще при найме выговорил себе право не быть никогда палачом.) Приглашение двух служителей означало, что на моей марфутке не останется ни одного живого, не окровавленного места.

Явились, наконец, и служители и даже с своими распаренными в горячей воде лозами, что требовалось однажды навсегда начальством. Злоба должно быть сжала глотку инспектора, и он молча схватил меня за волосы, поднял и швырнул через парту. Я с трудом поднялся с полу и, яко овча, ведомое на заклание, быстро, чтобы еще не получить тумака, направился на место расправы. Держатели, т. е. помощники палачей-учеников, мгновенно оголили мою марфутку, уселись на голову и ноги, и лозы засвистели. С мужеством, достойным лучшей участи, я упорно молчал и только грыз - и изгрыз до крови свое предплечье, что у нас считалось отвлекающим и будто бы наркотизирующим средством.

Но, наконец, терпение мое на 60 котором-то ударе, как говорили после товарищи, лопнуло, и я заорал благим матом. После 100 с чем-то ударов кончилось, наконец, истязание, - и я, пошатываясь, добрался до своего места, но сесть от боли не мог. Пришлось еще выслушать от инспектора нотацию, смысл которой примерно был таков: нельзя надеяться на твое исправление; я тебя исключу, но до этого времени за малейшую провинность буду спускать с тебя по три шкуры.

Под вечер этого же дня начались приготовления для генеральной лупцовки Иуды; уже приготовлен был халат, которым обвязывалась голова истязуемого, но произошло нечто, сильно тронувшее сердца бурсаков... и генеральная лупцовка не состоялась. Когда меня секли, Иуда все время горько плакал, что некоторых учеников уже расположило в его пользу, но когда



хотели совсем набросить халат на голову Иуды, он точно преобразился. Любо было тогда глядеть на его горящие глаза и на какое-то вдохновенное выражение всего лица, но еще милее показались почти всем его сердечные слова: „Бейте меня в открытую, но не сильно; пожалейте мою мать, я у нее единственная надежда. Я стою битья, но вместе со мною надо побить и учителя NN, соблазнившего меня". (Фамилию этого развратителя я забыл.)

Потом рассказал он, какими подлыми приемами пользовался NN, тот самый, который шушукался с Иудой. Несколько отчаянных драчунов хотели уже пустить в ход кулаки, но тотчас же были остановлены. Наконец, Иуда поклонился в ноги мне, а потом и всему классу и торжественно поклялся, что он никогда в сделки с начальством входить не будет. Мне он очень понравился, но сблизиться с ним у меня не было времени. Он остался в 3-м классе, а я вскоре перешел в 4-й. Спустя лет 15 - 20 я слышал, что из Иуды вышел прекрасный семьянин и выдающийся пастырь.

На меня порка произвела почти то же влияние, как и прежде описанная. Озлобление мое усилилось, но я ничем не выказывал его. Правда, лезла мне в голову мысль, конечно, глупая, что нужно бросить все и убежать, куда глаза глядят; о самоубийстве же я и не помышлял тогда. Но и мой маленький умишко скоро увидел всю несостоятельность этой мысли. С одной стороны, красная шапка и звонарство в перспективе, с другой - желание сделать удовольствие родным заставили замолкнуть протест и помириться с необходимостью подчиниться режиму бursы.

А тут еще приезжавший в Вятку отец подзадорил меня. Ему один из учителей, менее других не благоволивший ко мне, хотя, при случае, и не дававший мне пощадy, наговорил что-то уж очень хорошее о моих способностях. Он же, кажется, сказал отцу, что если я буду ровно и хорошо учиться и вести себя, то озлобление против меня пройдет, быть может, и у остального

начальства, и тогда я могу в 3-м классе пробить не 3, а только один год и перейти в синтаксис. У нас в 3-м классе через каждый год повторялось непонятное и посейчас для меня явление: сиди в классе или 1, или 3 года. В 4-м же классе нужно было пробить 2 или 4 года. Нормальный срок ученья в училище полагался в 6 лет (на 1 и 2-й классы по 1 году, а на 3 и 4-й по 2 года).

Я, благодаря хорошей подготовке, поступил прямо во 2-й класс, да, вероятно, не в четный год. Верна ли эта догадка, - не знаю, но я знал только, что прежде из пробывших в 3-м классе 1 год переходило в 4-й не более 2-х учеников. Шансов на переход для меня было немного, но я решил поналечь на себя. Вероятно, заговорило и мое ребячье самолюбие. Я принялся за ученье крепко: уроки готовил прекрасно, вел себя смирнехонько; словом, сделался пай-мальчиком. И учителя стали со мной поласковее; только инспектор относился сурово. Даже учитель, переговаривавшийся с Иудой, не придирался ко мне во время уроков, но ему верить было опасно; недаром ему дана кличка: оборотень.

Более всего я ожидал помехи своему переводу от инспектора, а потому я на время забыл правила деда об отношении к начальству и нравственно пал и исподличался до такой степени, что унизился до низкопоклонства и заискивания пред человеком, которого в душе ненавидел. Мало этого. Я начал сожалеть даже о своем поступке, которым сначала гордился и за который во мнении товарищей я сделался маленьким героем. Я говорю о случайном открытии шпиона. Надеялся я, впрочем, исправить свою репутацию в глазах злопамятного инспектора, так как времени до переводного экзамена оставалось еще довольно, но надежда, как показал этот самый экзамен, обманула меня.

Недели за 2 - 3 до экзамена по училищу пронеслась весть, что приедет ревизор. Как бывает в таких случаях, между учениками пошли разные толки, предположения, ожидания

каких-то перемен. Я же все продолжал усиленное и усиленное готовиться к экзамену, но более налегал на сознательное усвоение, чем на зубрежку. Точно чуяло мое сердце, что только такое усвоение знаний может меня выручить. При общем господстве зубристики, конечно, и я плыл по течению и, если не ограничивался одной зубрежкой, то поступал так скорее инстинктивно, чем сознательно.

Начальство боялось ревизора больше, чем ученики. Началась генеральная чистка: полы, невымытые, быть может, несколько лет, были не только вымыты, но и выскоблены ножами; громадные кружева из паутины куда-то вдруг исчезли, даже потолки и стены обметены от пыли и приняли вместо обычного серо-грязного веселенький беловатый цвет; в сортире можно стало ходить без обязательности запачкаться в экскрементах и пр.

Но что особенно радовало бурсаков - это замена протухлых и прогорклых съестных припасов хотя и не первосортными, но все-таки свежими. Происходили тогда удивительные метаморфозы: выходя, напр., утром из грязной до невозможности спальни, вечером мы входили в довольно уже чистую комнату, мало даже похожую на нашу спальню. Многое в нашем быту было улучшено до неузнаваемости\*, но говорить об этом не стоит. Ты, хотя не видал нашей бурсы, похожей скорей на Авгиевы конюшни, чем на человеческое жилье, но, вероятно, знаешь, как даже в благоустроенных заведениях готовятся к приему ревизора, а потому можешь вообразить себе, как ошалело тогда наше начальство\*.

Мы были, конечно, рады улучшению наших жизненных условий, а все-таки и нас не миновал какой-то безотчетный страх. Одни только великовозрастные, приготовившиеся уже к исключению граждане камчатки; вполне наслаждались в ожидании ревизора и утешали нас, говоря, что самый свирепый ревизор будет гораздо лучше нашего, считающегося сравнительно добрым, учителя. Говорить так камчатские

граждане имели основание; некоторые из них пребывали в училище по 10 - 12 лет и за это время видели не одного ревизора. Я даже не трусил; думалось мне, что если и оставят меня еще на 2 года, то в этом срама для меня не будет, ибо это почти общая участь всех пробывших в 3-м классе 1 год; исключения же не обязательны.

Наконец, явился в наш класс и ревизор в образе молодого еще и благообразного монаха с очень добрым лицом и ласковыми смеющимися глазами. Наши ребячьи сердца почували, что от такого человека худого нам ждать нечего; начальство же, видимо, чувствовало себя не совсем хорошо. В этот же вечер мы узнали от четвероклассников, что ревизор хотя и мягко, однако не очень одобрительно отозвался о преподавании. Экзамен у нас в 3-м классе начался с двухгодовалых и шел быстро и милостиво, так что у меня стала крепнуть надежда на переход. На другое утро ответы двухгодовалых были уж совсем плохи, но забраковано было не более 2 - 3 учеников. Камчатка, готовая к исключению, вовсе не экзаменовалась; она ждала только получения своих бумаг.

Когда начальство представило к экзамену из годовиков только 2-х, ревизор, заметив, что один из кандидатов сын смотрителя, поморщился и сказал: „что так мало?“ Тяжко стало мне узнать, что я не представлен к экзамену; ведь сознание, хотя и смутное, подсказывало мне, слушая ответы товарищей, что я знаю не меньше их. После сдачи экзаменов 2-мя счастливыми ревизор спросил одноклассников: не желает ли кто из вас попытать счастья? Наступило молчание, но я скоро прервал его. Услышав о моем желании, он ласково сказал мне: иди, иди, карапузик. (Я был тогда очень мал и толст.)

Злоба в инспекторе закипела, и он не постыдился сказать, что я худо веду себя. В этот момент у меня брызнули слезы, а из камчатки раздался басистый голос: „неправда; ничего худого он не делал, а инспектору не понравился Сычугов за то, что наушника накрыл“. Вообразите последовавшую немую сцену,

которую ловко прервал ревизор шутливыми словами: „ну, берегись, карапузик; я тебя проберу" и начал, действительно, экзаменовать строже, чем других.

К счастью, вопросы предлагались такие, на которые я мог отлично отвечать, и не было предложено ни одного, который бы поставил меня в тупик, а таких вопросов было не мало, ибо в учебниках я многое не понимал. Словом, назло мне. Ревизору особенно нравилось, что я отвечал, как умел, своими словами. Наконец, дошла очередь до латинского языка (учителем его и катехизиса был сам инспектор). За год в классе была переведена из Корнелия Непота только глава о Мильтиаде; все, на что указывал в этой главе ревизор, я переводил без запинки. Он местах в

3 - 4 заставил меня переводить то, что проходят в 4-м классе, и тут я, к удивлению и учителей и учеников, не ударил лицом в грязь, так что ревизор во всеуслышание промолвил: я едва ли при поступлении в академию знал лучше латинский язык этого карапуза. Впрочем, в семинариях с 30-х годов древние языки в забросе. Затем он привстал и публично поблагодарил инспектора и грека за их якобы прекрасное преподавание, а меня погладил по голове и наговорил не мало хороших слов.

Тут, каюсь, едва не произошел взрыв моей озлобленной натуры; я уже порывался сказать, что в моем знании они не повинны, но вовремя удержался. И вышло, что и овцы целы, и волки сыты. Далее ревизор любезно попросил начальство перейти во 2-й класс, сказал нам трогательную речь, содержание которой я не помню, и, подойдя к камчатке, спросил об авторе возражения в мою пользу. Вышел рослый детина, который снова подтвердил свой протест, с чем согласились окружившие уже ревизора ребята, выкрикивая: „так, так".

Похвалив детину и благословив нас, ревизор удалился, провожаемый добрыми пожеланиями расчувствовавшихся от доброты его ребят. Я хотел было поблагодарить заступившегося за меня детину, но он сказал только: я за правду всегда стоять

буду; мне ведь начальства бояться нечего; я иду по доброй воле в солдаты. На другой день инспектор объявил список переведенных в 4-й класс; в этом списке я был третьим, значит я обогнал чуть не всех двух - годовиков. Самолюбие мое было удовлетворено; в самом счастливом настроении я поехал домой.

Пока доберусь до родного гнездышка, я сделаю гигантский прыжок вперед из боязни забыть после упомянуть об интересном факте.

В 83-м году я был командирован владимирским земством в Одессу на съезд естествоиспытателей и врачей. Меня выбрали председателем секции земской медицины. В одесских газетах каждодневно печатались рефераты наших заседаний, при чем каждый реферат начинался сообщением, что председательствовал такой-то. И вот в один из августовских дней публика с сердечным умилением прочитала, что председательствовал С. И. Сычугов.

На 2 - 3-й день после этого мирового события я после заседания во время чаепития слышу стук в дверь и вопрос: можно войти? Входит ко мне в номер в полном параде полковник, на груди которого красовалось более десяти орденов и медалей и, между прочим, Георгий; спрашивает меня, не из Вятки ли я, и по получении утвердительного ответа называет фамилию свою (я забыл ее) и сообщает, что, узнав из газет обо мне, решил повидаться с старым товарищем. Пошли спросы, вопросы, рассказы, затянувшиеся за полночь. Оказалось, что это тот самый детина, который некогда из камчатки гаркнул в мою защиту: „неправда“.

И без слов понятно, что встречен был я с великою радостью своими родными, когда же они узнали, что я четвероклассник, или синтаксик, да еще третий ученик, то восторгам и сердечным излипаниям не было, кажется, пределов. Мама, как женщина, привыкшая даже в мелочах житейских видеть вмешательство провидения, скорее других очнулась от

восторгов и предложила тотчас же, пока готовится чай, идти в церковь и отслужить молебен.

Не только в день приезда, но и на другой день мне приходилось рассказывать одно и то же по нескольку раз, особенно нравились мои повествования о ловле шпиона с последствиями и о благодушном ревизоре. Многие и из селян приходили нарочно посмотреть синтаксика и послушать его несвязные рассказы. Оханьям и удивлениям, что Саватенька такой еще маленький, а уже в 4-м классе, и счету не было.

Скоро, однако, все это мне надоело, так как я никогда не любил выставлять себя напоказ, а похвалы, искренность которых была сомнительна, были просто противны мне. Поэтому вскоре я стал просить у отца книг для чтения и легко получил дозволение пользоваться дедовой библиотекою, в которой было, помнится, более 100 книг, переплетенных в кожу. Разрешая чтение по моему выбору, отец поступил крайне не педагогично. Впрочем, я не виню его за это: о педагогике он, вероятно, и понятия не имел, да у него и времени не было. Как на выдающегося из общего уровня священника, на него навалили не мало посторонних прямой его обязанности должностей.

А я чем мог руководиться при выборе книг? Приходилось поневоле брать наудачу. А книги большею частью были серьезные, превышающие мое понимание! Дед любил чтение и покупал много книг, особенно в то время, когда был в расцвете сил. Громадное большинство книг принадлежало к изданиям первой четверти этого столетия, но были также книги и конца прошлого века. Из светских книг в это лето мне попались только: „Недоросль" и „Бригадир" да том трагедии Сумаркова.

Большею же частью, по крайней мере, в переднем ряду полки стояли книги мистические: были тут творения

Штиллинга, Эккартсгаузена<sup>9</sup>, все многотомные сочинения г-жи Гюйон и книг около двадцати „Сионского вестника". Сначала, как на зло, случай подсовывал мне под руку немецких мистиков, которых и вполне развитому человеку одолеть нелегко; уже самое содержание мистических бредней превышало понимание 10 - летнего ребенка; да к тому же и изложение было тяжело и туманно. Обыкновенно, взяв книгу, я отправлялся на кладбище к могиле деда и целые часы мучился, чтобы понять читаемое, но едва ли я <sup>1</sup>/<sub>10</sub> долю мог усвоить и переварить. Дело дошло чуть не до слез; какой-то внутренний голос нашептывал мне, что я, значит, очень глуп, если не могу понять книг, напечатанных по-русски.

А не было, к моему горю, близкого человека, который растолковал бы мне, что каждому овощу свое время (отца надолго командировали на следствие в другой уезд). Читывал я в Минее, что некоторые святые молитвой выпрашивали себе разум, и я стал подражать им. Бывало, прочитаешь какое-либо темное место несколько раз и все-таки ничего не поймешь; тогда и начнешь отвешивать тут же на кладбище земные поклоны, но толку было мало. Проще всего и разумнее было бы бросить непонятную книгу, но этому мешало мое маленькое самолюбие и большая настойчивость. Долго ли я мучился так - не помню, но, кажется, не менее недель двух или трех.

---

<sup>9</sup> Иоганн Юнг-Штилинг (1740—1817)—немецкий мистик; сочинения его пользовались в России успехом после наполеоновских войн, особенно роман под назв. „Угроз Световостоков", который, по словам биографа Штиллинга, нравился „различным владетельным особам и знатным лицам, которые желали держать народ в руках посредством мыслей, проповедуемых" в этом сочинении. Карл Эккартсгаузен (1752—1803) - немецкий мистик, почти все сочинения которого переведены при Александре I на русский язык, при чем наибольший успех имели теософско - алхимические книги полушар - латанского содержания. „Сионский вестник" - русский религиозно-нравственный журнал мистического содержания (1806 г. и 1817—1818 гг.).



Случайно, уже в конце каникул, попался под руку Фонвизин, - и я ожил и просто зачитывался им. Потом с некоторым, хотя и небольшим, удовольствием я стал читать „Сионский вестник“, - и это чтение продолжалось после и в зимние каникулы. Некоторые в нем статьи я понимал более, чем наполовину, а было не мало и таких, которые читал с наслаждением и даже с полным пониманием.

Возвратившись с каникул, я попрежнему принялся за учение: по утрам зубрил уроки для учителей, по вечерам старался усваивать учебники, по мере моего понимания. Объяснений и в 4-м классе не существовало; требовались одна только отупляющая долбня и бойкие, хотя и бессмысленные, ответы от учеников. Начальство сначала было благосклонно к нам, но это продолжалось недолго. До нас стали доходить темные слухи, что добрый для учеников ревизор оказался недобрым, а вернее сказать, только беспристрастным для начальников наших. Он донес куда следует, что они набивают свои карманы насчет голодных бурсаков, что последних содержат хуже свиней.

Вскоре после начала нашего учения приезжал будто бы из Питера какой-то чин для проверки доноса. Разных рассказней и курьезов, которых теперь не помню, рассказывали множество. Начальство приуныло, озлобилось и свою бессильную злобу начало срывать на ни в чем неповинных учениках. Одной из первых жертв этой злобы пришлось быть мне. В свои именины, 27 сентября, я был так высечен, так безжалостно и грубо было тогда осмеяно мое маленькое человеческое достоинство, что эту именинную порку я помню посейчас со всеми ее возмутительными подробностями, как будто она происходила только вчера.

Дело было так: выше я, кажется, говорил, что учителя по книгам следили за буквальной точностью наших ответов; в этих же учебных книгах, подаваемых цензорами учителям, последние скобками обозначали те места, которые мы не должны зубрить.

Эти выпущенные места сообщались всему классу цензором. Был из географии урок о вращении земли кругом солнца. В учебнике было напечатано: „По системе Коперника солнце стоит неподвижно“, а далее излагались, правда очень плохо и кратко, доказательства движения земли. Вот эти-то доказательства и были заскоблены.

Быть может, учитель не знал их и не хотел, чтоб ученики знали больше его. Предположение это, повидимому, невероятное, имело основание. Когда я уже готовился в университет, то из разговоров с товарищами мог убедиться, что об основных положениях физической географии они имели самые смутные понятия. А эти товарищи имели право через  $\frac{1}{2}$  - 1 год быть попами или учителями. Впрочем, наш учитель, быть может, даже не верил вращению земли. От отца, почти современника этому педагогу, я слышал, что во время его учения один учитель систему Коперника называл ложью и даже преступною ересью, ибо, дескать, если бы она была верна, то Иисус Навин сказал бы: стой, земля, а не стой, солнце!

Я, проговорившись, что солнце стоит неподвижно, начал, да еще своими словами, излагать доказательства, которые знал отчетливо из бесед деда. Прозевал ли я скобки, или, под влиянием именинного настроения, желал блеснуть пред товарищами своими знаниями, - не помню. Но не успел я привести и половины доказательств, как услышал злобно-ядовитый крик:

-Ты опять задумал умничать! К лозе! На что нам знать, почему вертится земля, а мы лучше посмотрим, как ты начнешь вертеться под лозой.

Взрыв хохота последовал за этой пошлой остротой. Ошеломленный, униженный и находясь к тому же под влиянием предчувствия болей, от которых я немного уже поотдохнул, я с дуру сболтнул, что я сегодня именинник. Подлый педагог точно обрадовался этим словам и только усилил свои издевательства над беззащитным ребенком. -Ну, вот и отлично, -

продолжал он, - мы и поздравим тебя с ангелом: да по русскому обычаю и кашей угостим; только каша-то у нас березовая; не взыщи - другой не приготовили.

Новое гоготанье. На меня нашло какое-то отупение. Уже по окончании класса я от товарищей узнал, что во время порки я не издал ни звука чем, конечно, увеличил число ударов; что после порки я не пошел на свое место, а сел на ближайшую парту и тихо, но очень долго плакал, так что на полу образовалась порядочная лужица из моих горячих слез. Вечером по подштанникам я убедился, что моя марфутка пострадала здорово. Ей пришлось чуть не каждодневно страдать и в следующие дни, ибо мне было тогда не до зубренья.

Во мне со страшною, конечно, для моего возраста силою заговорили зверские инстинкты; я все силы своей душонки употреблял лишь на изобретение и ловкое приведение в исполнение мщения оскорбителю. Даже по ночам я обдумывал планы мести и старался выбрать из них тот, который казался мне позабористее. Постыдно, что я, с раннего детства получивший отвращение к какой бы то ни было ручной расправе, на ней-то именно и остановился.

В план свой я не посвятил никого, хотя желающих принять в нем участие, вероятно, нашлось бы немало, из опасения, чтоб из - за меня не пострадали товарищи. О себе я мало заботился: меня обуяло какое-то равнодушие к своей особе. План был обдуман и исполнен через 5 - 6 дней после порки, хотя и ловко, но варварски жестоко. Ведь мог я убить человека, тогда как у меня было только желание причинить ему небольшую боль, поучить его, так сказать.

Не вдаваясь в подробности, я коротко скажу, что я с лестницы 3-го этажа бросил почтенное полено в учителя в тот момент, когда он поднялся на площадку 2-го этажа. Темнота октябрьского утра (8 час.) и отсутствие из спален, помещавшихся в 3-м этаже, учеников дали мне возможность с быстротою зайца пробежать по коридору 3-го этажа, спуститься

по другой лестнице в 1-й этаж и очутиться перед моим, наказанным из-за угла, врагом. Вероятно, он, ошеломленный неожиданным ударом, долго простоял на площадке и дал мне возможность пробежать относительно громадное пространство и встретиться с ним на нижней лестнице. Он остановил меня и приказал сказать цензору, чтоб он немедленно заявил инспектору, что учитель N (фамилию забыл) внезапно заболел.

Мое извещение было встречено классом радостными кликами, но у меня уж кошки, как говорится, на сердце заскребли. Началась борьба добрых инстинктов с злыми. Не раз порывался я итти к учителю и принести ему покаяние, но частию самолюбие, а частию невысокое мое мнение об обиженном мною учителе удержали меня сделать, быть может, пагубный для меня шаг.

Через день учитель явился уже в класс; об ударе не было ни слова, да, вероятно, он и не причинил учителю большого вреда. Но нам он принес существенную пользу; порки хотя и не прекратились, но они не были так жестоки, как прежде; бессмысленные придирки и тошнотворные назидания и вообще издевательства над нами прекратились. Товарищи удивлялись перемене, происшедшей с учителем; я же благоразумно помалкивал.

Поздравление со днем ангела произвело в моей душе порядочную метаморфозу. Прежде всего оно поколебало мою решимость продолжать с прежним упорством ненавистную зубрежку. Боязнь красной шапки и звонарства также поослабела. Этому много содействовало определение на дьячковское место бывшего моего товарища, великовозрастного гражданина камчатки, исключенного из 3-го класса. Если, думалось мне тогда, такому субъекту дано место, да еще в хорошем селе, то мне, как четырехкласснику, еще легче будет стать дьячком, когда я, конечно, подрасту. Кстати скажу, что в материальном, по крайней мере, отношении карьера дьячка могла показаться заманчивой. Во многих селах, напр., хоть и

Верховине, дьячок получал 500 - 600 р., да еще при казенной квартире - значит, вдвое почти больше, чем теперь получаю я.

Но, кажется, не столько эти соображения охладили мой пыл к зубрению, сколько нелепость преподавания, да еще таких предметов, при зубрении которых требуется не острая, быстро, хотя и не надолго схватывающая память, а упорный, вполне бессмысленный труд. В 4-м классе преподавался пресловутый церковный устав. Каким-то чудом у меня в памяти посейчас сохранился из него отрывок. Полюбуйтесь, какие прелести мы должны были буквально зазубривать. Учителю было, конечно, легко по учебнику следить за уроком и за каждую почти перестановку слов драть учеников, но наверное и сам учитель не скоро бы осилил такой урок.

Внимай же и понимай! „Полунощница по вся дни. Воспрянув без лености и отрезвився, восстав от сна, рцы сие: во имя отца... Посем постой мало молча, дондеже утишатся вся чувства, и тогда сотвори 3 поклоны, глаголя: господи Иисусе... царю небесный, св. боже 3, слава и ныне пресв. троиче; господи помилуй 3; отче, господи помилуй 12; слава и ныне; приидите... и псалмы 50 (и др.). На господи возвах, стихиры, глас 4-й на 6 по триоди и по месячной Минее на 4; слава: дневному святому. И ныне: богородичен. Аше же вторник: крестобогородичен. Подобен аки долбля; седален: глас 6. Светилен: прехвальнии мученицы. Тропарь святому. Зри менею. Кондак общий. Аше же праздник - празднику. Зри цветную триодь. Канон молебный. Творение Иосифа, его же краестрочие по алфавиту. Глас 8-й. Песнь и „ирмос“.

\* Ну, будет! Хорошо ли и все ли ты, друже, понял? \*

Полагаю, что для тебя легче принять сотню труднобольных, чем выучить эту галиматью. А ведь отрывок, приведенный выше, составлял  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{4}$  всего урока. Сколько, значит, труда тратили мы на зубрение массы нелепостей, - и тратили совершенно зря? А ведь многие из нас слышали от отцов, что устав необходим и для попа и для дьячка. Ум за разум заходил, когда мы видели,

что, несмотря на отчаянную зубрежку, мы все-таки устава не знаем и самой простой церковной службы справить не умеем.

А ведь ларчик-то как просто мог открыться! Стоило бы только из церкви принести требники, минеи, триоди и другие богослужебные книги, показать, как, по каким книгам и какую службу отправлять, указать на значение каждой книги, да еще объяснить непонятные термины, вроде: кондак, седален, светилен - и дело было бы в шляпе. Я слышал от попов, что по книгам изучать устав легко, а по учебникам (без книг) невозможно. А наше мудрое начальство до этого не додумалось и одновременно с настойчивостью, достойною лучшей участи, воспитывало в нас ненависть к себе, к методу преподавания, отвращение к уставу, да кстати и другим учебникам. Последние за мое время щеголяли друг перед другом сухим изложением, ужасно тяжелым языком, массой ненужных мелочей, а некоторые еще и схоластикой.

Уже после несправедливой порки мое прилежание поослабело; бестолковые преподаватели и учебники, конечно, не остались без влияния. Я стал учиться неровно: сегодня в нотате красуется *sc*, а завтра *nt* или даже *ns*. Только по древним языкам я постоянно получал хорошие отметки. Такое учение бесило учителей. Началась со мною старая игра: недовернись - бьют и перевернись - бьют. Мой нравственный: разврат дошел до того, что на розги я стал смотреть как на орудие, производящее только физическую боль; более же душевных я, кажется, не ощущал тогда. К рождеству с 3-го места я слетел во 2-й десяток; к пасхе опустился еще ниже, а к лету чуть не попал в камчатку. И драли же меня! За первый год моего пребывания в 4-м классе выпороли меня, наверное, более 100 раз.

Пакости творил я ужасные; но пакостил начальству так, что не попадался почти. Некоторые из них удержались еще в памяти.

1) Был у нас один нелюбимый учитель, который, не желая быть попом, кроме учительства, получал чинушей в

какой-то палате и, значит, получал два жалования. Всегда являлся он надушенным и прилизанным франтом и даже в цветных перчатках, плотно обтягивавших его руки. У этого франта была привычка при входе в класс во время чтения молитвы снимать перчатки при помощи зубов. Меня как-то и осенила мысль воспользоваться его привычкой ради пакости. Прежде чем осуществить свой план, я посвятил в его тайны одного преданного мне бурсачка, ни к чему не брезгливого. По плану мы пред самым приходом франта должны выйти из класса, оставив дверь не совсем притворенною, чтобы можно было отворить ее, но хватаясь за скобку. (Дверь нелегко отворялась.) Бурсачок остался у самой двери, я же был на карауле. Едва вступил франт в коридор, из которого нас было не видно, так как перед нашим классом было устроено нечто вроде нити, - как я дал условный знак. Мгновенно мой коллега скобку смазал калом, хранившимся в бумажке. Быстро мы, не касаясь скобки, вошли в класс и, при помощи внутренней скобки плотно притворив дверь, уселись на места.

Входит франт и, по обыкновению, начинает зубами снимать перчатку, но тут моментально произошло нечто необычайное: он фыркает, пачкает свой нос, морщится, что-то бормочет и, наконец, скорчившись точно от колик, приказывает цензору доложить инспектору о внезапной своей болезни. Еще не прошло изумление учеников, а франт уже улетучился. Ни в этот, ни в следующие дни ни жалоб, ни розысков никаких не было. Мой расчет, что такой прилизанный франтик постарается скрыть эту прискорбную для него историю, оказался вполне верным. Когда всякая опасность миновала, болтливый бурсачок разболтал товарищам о моей выходке, - и я в глазах их вырос на целую голову. И прежде они относились ко мне с уважением, а теперь оно перешло в какое-то поклонение. Начальство о моей проделке, пока, по крайней мере, я был и училище, не знало; франт, конечно, молчал.

2) Этою же зимою я чуть было не разыграл роль Герострата, о котором тогда, конечно, и не слыхивал. К счастью, хорошие инстинкты взяли тогда верх. Как-то в половине утреннего класса я поднял руку, т. е. попросил позволения выйти. Выйдя на крыльцо, я огляделся, как вор, кругом и тайной тропинкой пробежал за поленницу дров на облюбованное ранее место, где уже лежала куча березовой коры. Только что запылала она, как я уже и образумился. Моментально меня озарило сложное чувство: страха, жалости и сознания своей низости, - и я быстро, хотя и осторожно, пробрался в класс и почти крикнул: у нас пожар. Все ученики, во главе с инспектором, бросились на пожарище, где уже ярко пылали каких-нибудь 40 - 50 поленьев, и не только быстро потушили пламя, но вследствие усердия ли, или шалости раскидали целую поленницу. Я получил спасибо от инспектора, что не помешало ему на другой же день выпороть меня за плохое знание урока. Моя уголовная проделка осталась тайною.

3) С давних пор существовал в училище обычай на время убежать из него на волю, когда училищный режим придется неумоготу; беглецов называли у нас скитальцами. Как и жители острогов, ученики отправлялись скитаться раннею весною. Кроме обыкновенных, для скитальцев существовали еще особые, специальные, крайне жестокие наказания, напр, тюлька. Это толстый, круглый обрубок дерева, к середине которого приделывалась цепь с железным, обтянутым куском грубого сукна ошейником. Последний надевался на шею скитальца, Запирался замком и не снимался даже на ночь.

Но и такие суровые меры не прекращали скитания, которые шли точно полосой: то 2 - 3 года их не было, а то в одну весну объявлялось 3 - 5 скитальцев. С веянием весны меня, как птицу на перелет, точно роковая сила потянула из бурсацкой духоты на волю, на простор. С полными сухарей карманами и несколькими копейками я пустился в путь без определенного плана, на авось, с одним старшим меня года на 3 и уже опытным



в скитаниях товарищем. Долго ли мы скитались - хорошо не помню, но, вероятно, не менее недели, так как поймали нас уже верстах в 50 от Вятки. Сначала мы обходили села, ночевали в глухих деревнях, где иногда нас крестьяне из жалости и кормили, но как скоро осторожность была забыта, в первом же селе нас поймали и под конвоем десятского представили в бурсу.

Дело было к вечеру, а потому порка отложена до другого дня, но тотчас же отдано приказание комиссару приготовить к утру тюльки. И на этот раз случай выручил меня. Как после оказалось, почти вслед за нашим уходом от инспектора ему доставлена была бумага, предписывающая немедленно сдать должность одному из учителей, до назначения нового инспектора. На утро все училище ликовало; узнали мы, что, благодаря ревизору, уволены: смотритель, инспектор и эконоом и сделан на них еще начет. В этом переполохе и розги и тюльки были забыты. И наше скитанье, кроме удовольствия пожить на воле, ничего нам не доставило. Точно гений доброго монаха издали покровительствовал мне!

4) В один из майских дней часу в 10-м я поднятием руки отпросился якобы в сортир, но вышел на крыльцо \* и был просто очарован красами природы. И ясный, тихий и теплый день, и чистый прозрачный воздух, и ярко-зеленый травяной ковер, которым был покрыт громадный училищный двор, и красивая река, а за нею дремучий бор, и плывущие по ней барки с железом, - словом все, на чем ни останавливался глаз, радовало: освежало, даже как будто перерождало меня к лучшему. Мрачные классы, мертвящая зубристика, жестокие учителя да и вся бурса с ее прогнившими насквозь порядками стали тогда еще гаже и отвратительнее в этом чудном божьем мире.

„Вот бы теперь поскитаться!“ мелькнуло у меня в голове, но это действительно было мелькание мысли. На смену ему тотчас же явилось представление о новом инспекторе, которого

мы еще не успели разгадать, о новом, по слухам, безжалостном даже к невинным детским шалостям архиерее, - и намерение поскитаться показалось неосуществимым.

Думал было я не возвращаться в класс, и хоть 2 - 3 часа понаслаждаться красотами природы, и хотя знал, что за невозвращение можно на другой день получить мзду, но за такие проступки они были не очень тяжелы, да и относился я тогда к наказаниям по-философски. Препятствия большого к исполнению моего намерения, значит, не было; только вдруг почему-то заговорило во мне великодушие: мне стало стыдно наслаждаться одному в то время, когда сотни товарищей томятся от скуки в классах. Впрочем, не у меня только, а, вероятно, у очень многих людей, под влиянием чар природы сердце умягчается и становится любвеобильнее, испытывают это на себе даже, судя по романам, и черствые эгоисты. Окружающая обстановка помогла моему, изобретательному на глупости, умишку осуществить великодушное намерение \*.

На дворе стояла первобытного устройства колокольня, т. е. вертикальный, врытый в землю столб с поперечными, положенными накрест брусьями, к которым были привязаны 5 - 6 колоколов. В один из них отбивались часы, означающие начало и конец класса. Поблизости от колокольни свободно гуляла по лугу и беззаботно пощипывала травку телка. Под влиянием этой обстановки быстро созрел мой нехитрый план. Как опытный вор, зорко оглядываясь и прислушиваясь и не заметив никого ни у окон, ни на дворе, я подошел к телке, которую и прежде часто гладил, приласкал ее теперь, подвел к колокольне и накинул ей на шею петлю от часового колокола. Рассчитывая, что пока у колокольни есть трава, телка будет спокойно щипать ее, я скорыми шагами направился в класс.

Но едва я уселся на место, как зазвучал часовой колокол, звук которого приводил нас в какой-то экстаз: начинались шарканье, стуканье, шум; урок обрывался почти на полуслове, и даже преждевременно прекращалась порка; все спешили из

ненавистного класса. В коридоре сталкивались ученики всех классов, шедшие по пятам учителей. Кажется, ни у кого из них не было часов, и они выражали свое удивление скорому окончанию классов на разные лады: один говорил, что не успел высечь и половины ребят; другому еще выпить не пришло время и т. д. Пока мы шли по училищу, из-за топота ног звон не был слышен, но едва спустились на двор нам представилась поразительная картина: телка прыгала, как бешеная, колокол звенел, как на пожар; начальство, его чады и домочадцы высыпали на двор, а равно и служители. Но никому сначала и в голову не приходило, что пора освободить беснующуюся телку; все только ахали, да охали.

\* Виновник всей этой кутерьмы вместе с товарищами-бурсаками, когда публика с прекращением набата начала уже расходиться, отправился на берег реки, где вполне отдался созерцанию природы. Такое страстное увлеченно красами ее повторяется изредка даже и теперь - в годы старости и дряхлости. Тогда же, конечно, оно проявлялось интенсивнее; я так увлекся созерцанием, что остался бы без обеда, если б не кликнули меня товарищи \*.

На другой день я с совершенно покойным духом пребывал в классе, вполне уверенный, что о моей проделке, кроме меня, никто не знает, как вдруг является инспектор в сопровождении 2-х никому неизвестных мужиков. Оказалось, что эти мужики пилили дрова и издали видели меня, когда я возвращался в класс. И посейчас не понимаю, как мой зоркий глаз проглядел их. Войдя в класс, инспектор сказал: ну маленькие, толстенькие, беленькие выходите на середину. Екнуло тогда мое сердце; я не успел еще дойти до середины, как пильщики, точно обрадовавшись чему-то, в один голос сказали, указывая на меня: вот он самый и есть.

Запираться было стыдно и даже нахально; я покорно повинулся и пока оставлен был в покое. В тот же день вместо послеобеденного урока, при небывало торжественной

обстановке, произведена надо мною экзекуция новым инспектором, да такая жестокая, что едва ли не превосходила своею свирепостью прежние генеральные порки. Секли меня не в классе, а на лугу около колокольни в присутствии всего училища. Это обстоятельство считалось особенно позорным, но во мне стыда тогда, кажется, не было; я страдал только от физической боли. \* Замечательно, что, как рассказывал мне после отец, инспектор - его друг и товарищ по семинарии, - передавая о моей проделке, будто бы хохотал до слез \*•Товарищи же стали еще внимательнее ко мне.

Хотя я учился в 4-м классе плоховато, а главное - неровно, однако экзамен выдержал очень недурно. Все-таки я поплатился тем, что очутился около камчатки.

\* Во время поездки домой заговорил-таки во мне стыд: и в самом деле позорно было бывшему 3-му ученику сообщить родным о моем провале, о понижении меня слишком на 50 мест. Однако дело дома обошлось лучше, чем можно было ожидать. Год был не переводный; я сослался на успехи свои в 3-м классе и обещал в будущем году исправить все упущения и изъяны и перейти в семинарию в числе первых учеников. Родители поверили искренности моего обещания и были со мною ласковы и внимательны \*.

Лето я почти исключительно занимался чтением на любезном кладбище. В выборе книг моя рука была владыка. К сожалению, отец, человек, вообще, замечательно начитанный и умный для своего времени и своей среды, о педагогике, по крайней мере разумной, не имел, кажется, ни малейшего понятия. \*Было большим риском с его стороны предоставить 11-летнему ребенку свободу в выборе книг, из которых громадное большинство было мистического содержания\*.

Из так называемых светских книг на задних полках я обрел два или три разрозненные тома истории Карамзина да несколько книжек трагедии Сумарокова и Озерова, да, кажется, и только, если не считать Фонвизина. Светские книги не только

увлекали, но просто очаровывали меня, но я более все-таки налегал на книги мистические, хотя они и не нравились мне и были к тому же мало понятны. Да и то, что казалось мне понятным, вероятно, понято мною было вкривь и вкось. Мой ребячий ум почему-то представлял себе книги, трактующие о сверхчувственных, а тем более о божественных предметах, да еще неудобопонятно, воплощенную мудростию. Вместо того, чтобы вследствие малопонятности бросить их или хоть отложить на время чтение, я напрягал до-нельзя свою голову, мучился бесплодно и почти доходил до сознания, что я очень глуп, если не могу читать русские книги.

При отъезде в училище я набрал с собою почтенную кипу книг, но только мистических. Светское чтение строго преследовалось, и потому отец хотя и не возражал против светских книг, но взять с собою их не позволил. Скоро оказалось, что начальство косо смотрело даже на чтение божественных книг, считая его помехою для зубрения уроков и полагая, что в учебниках достаточно для нас премудрости. Поэтому привезенные книги я читал урывками и тайно.

Я стал не только прилежным, но образцовым учеником и в первую же треть занял случайно 3 - е место даже до экзамена. Новое начальство ввело забытый на время порядок пересаживания с места на место. Суть его следующая: часто у нас писались в классе сочинения латинские и греческие, - так называемые оккупации. Ученик, сидящий, положим, на 40-м месте, может сесть хоть на первое, если в конце оккупации напишет, что он желает занять первое место. Если, действительно, он напишет лучше, то и меняется местом с первым учеником; за неудачу же за каждую ошибку получает по нескольку розог и остается на старом месте. Знал я древние языки положительно лучше всех товарищей, но первые два ученика были мои приятели; третьему же я почему-то не симпатизировал. Ему-то, бедняге, и пришлось поменяться со мною местом.

Год этот памятен мне только тем, что к массе пороков, толстым слоем придавивших на время мои добрые инстинкты, я присоединил самый отвратительный - воровство. В Вятке жила дружная с моими родителями добрейшая семья архитектора, в которой я раз или два в месяц по воскресеньям приятно проводил время. Мое внимание привлек небольшой финифтяной образок с миниатюрой Христа. Он был такой чудной, божественной красоты, что глаз оторвать от него не хотелось. Я как-то улучил удобную минуту и спрятал образок в карман, рассчитывая, вероятно, что в массе подобных образков, занимавших громадный киот, пропажа может быть не замечена. Но я рассчитал без хозяина, а хозяином-то оказался я сам.

По возвращении в училище, едва я надел на шею образок, как начались такие страшные угрызения совести, каких я, кажется, не испытывал во всю жизнь. Да и немудрено. Ни до, ни после я никогда и ничего не воровал, поэтому самая новость преступления мучительно должна отзываться на мне. Как видно из предыдущего, много у меня было пороков, но они были присущи почти всем товарищам; воров же мы все презирали. Мучения совести стали для меня просто невыносимы. На другой день, придумав какой-то предлог, я отпросился после класса на три часа в город и полетел к архитектору. Всю эту семью я застал за обедом, вынул образок, сказал: возьмите, но простите, и в обмороке грохнулся на пол.

Очнулся я на кровати, с мокрой головой, в кругу всей милейшей семьи, которая отнеслась ко мне, как к блудному, но раскаявшемуся сыну. Сам старик утешал меня, говорил, что все останется в тайне, и в заключение, ласково поцеловав меня, надел так полюбившийся мне образок на шею. Месяца через два семья уехала куда-то на юг, но до самого отъезда ее, по просьбе архитектора, инспектор каждое воскресенье отпускал меня в это уютное гнездышко. Страшно тяжело было провожать ее в дальний путь; отъезд, этих добрых людей оставил в сердце какую-то пустоту.

\* Мне и теперь думается, что, если б они пожили подольше в Вятке, я воскрес много бы раньше. Образок (и, конечно, воспоминание о дорогой семье) я хранил как зеницу ока; даже во времена жгучего голода, когда по суткам и более я не едал, я ни разу не решился заложить его, - и все-таки теперь его у меня нет. Во Владимире в бане мою драгоценность украли\*.

Год, за исключением рассказанного эпизода, прошел благополучно. Кажется, не более 1 - 2 раз меня выпороли и то за неважные шалости. Как будто даже и самая ненависть к бурсе поослабела; борьба внутренних добрых начал, заложенных дома, с злыми бурсацкими также поутихла. Впрочем, это было неполное примирение со злом и лишь временное равнодушие к нему. Экзамен сдал я хорошо и в числе первых учеников удостоен перевода в семинарию. Приехал я на каникулы с гордым сознанием, что я семинарист и человек уже большой, у которого розги не будут более разрисовывать узоры на марфутке, хотя этому большому человеку было только 12 лет.

О радости родных, их ласках говорить излишне. Отдохнув несколько дней, я попрежнему принялся за книги, да и делать больше было нечего; товарищей из духовенства не было; друзья же моего детства с утра до ночи работали в поле. В несколько дней я проглотил уже читанные мною светские книги и поневоле опять принялся за мистику, благо ее было изобилие. Кажется, она на этот раз была для меня более понятною; так, по крайней мере, мне казалось. Многое, если я и понимал, то понимал превратно.

Крепко помню, что в это лето я стал предаваться размышлениям, которые мало походили на прежние детские мечтания. Бывало сидишь около дедовой могилы в тени кладбищенской церкви и целые часы отдаешься размышлениям о предметах отвлеченных и, главным образом, религиозных, вызываемых все теми же мистическими книгами. Обрядово-церковное воспитание, своеобразная духовная атмосфера, в

которой я жил, мистические бредни, которыми я насыщался и которые перемешивались с здоровыми некоторыми масонскими идеями, и, наконец, значительная доза воспринятого мною в бурсе кощунства, - все это произвело в моей голове невообразимый сумбур.

Мои размышления о предметах, превышавших не только мое, но и вообще человеческое понимание, только усилили царивший во мне хаос. Религиозного, здорового чувства, которое помогло бы разобраться в нем, у меня не было; место его заступила набожность, близкая к ханжеству. Смутно я понимал, что прежде всего следует произвести основательную чистку души, загрязненной разными, навеванными бурсою, пороками, и по возможности вернуть прежнюю домашнюю чистоту. Но мистика же и помешала моему возрождению; под ее влиянием я пришел к выводу, что для чистки души достаточно молитв, воздыханий да некоторого умерщвления плоти.

В конце лета я остановился на мысли вместо семинарии поступить в монахи, т. е. принять ангельский чин, и сообщил об этом отцу. Его неумолимая логика беспощадно разбила все мои мечты и вполне отрезвила меня. Смехотворность и нелепость моего намерения была выставлена отцом, как на ладони. Мне стало ясно, что в моем возрасте жить отшельником в пустыне невыносимо, а в монастыре до 25 лет я могу иметь не ангельский, а только лакейский чин. Самому мне стало и стыдно и смешно.

Для фактического поступления в семинарию нужно было выдержать еще приемный экзамен, который для учеников Вятского училища на этот раз не был страшен, ибо на переходном экзамене был от семинарии депутат-профессор и в ней нас экзаменовали для формы. Но он был страшен для учеников 5 училищ, которых возвращали целыми десятками вспять. Помимо потери двух лет, недешево стоили их отцам проезд и житье в Вятке. Сарапульским, напр., ученикам нужно было проехать 560 в., а ехали иногда возвращенные ученики в сопровождении нескольких членов своей семьи. Можно



представить поэтому, сколько плача и рыданий и причитаний раздавалось на семинарском дворе тогда!

\*Однако на время я еще вернусь к бурсе. В своих воспоминаниях я, быть может, уж очень много говорил о себе и пережитых лично мною тяжелых испытаниях, которых я не выдержал, да по возрасту и не мог выдержать, и которые сильно изуродовали мою нравственную природу. Приступая к воспоминаниям, я не без основания полагал, что тебя интересует не столько сама бурса, сколько жизнь в ней и влияние ее на твоего закадычного друга. Да я во время писания и сам заинтересовался более теми метаморфозами, которые происходили во мне во время училищной жизни, чем самую бурсою. Думалось мне, что\* с нею ты знаком по очеркам Помяловского, по запискам Ростиславова (бывш. профессора Петерб. академии) и по воспоминаниям Потапенко. Только после сообразил я, что эти авторы рисуют свои бурсы и свое время. Потапенко, напр., описывает бурсу пореформенную; Ростиславов - касимовскую 20-х годов, которая только немного похожа на нашу; Помяловский же живописует питерскую бурсу за 40-е годы, т. е. почти за то же время, в которое я учился.

Во всей России жестокие тогда были нравы, но все-таки в Питере очень-то безобразничать и побаивались; \*в Вятке же, откуда и до бога высоко и до царя далеко, начальство могло самодурствовать, сколько и как только хотело. Не знаю, хватит ли у тебя терпения на чтение, но мне хочется сделать несколько набросков, которые могут характеризовать те или другие стороны бурсацкого быта. Ручаюсь только за верность, но никак не за полноту набросков. Память моя сильно подгуляла, поэтому многие характерные черты будут пропущены; не дам я места и фактам, смутно мерцающим в воспоминании, боясь вранья\*.

## ***1. Наши педагоги***

За исключением смотрителя (академика), которого мы видали в год 1 - 2 раза и который неизвестно зачем существовал, все остальные учителя были студенты семинарии, т. е. кончившие ее по первому разряду. Это, впрочем, нисколько не рекомендует их, как лучших, даровитых семинаристов. В заведениях, где искусство зубрить ставится выше настоящего знания, а добрая нравственность приравнивается к лицемерию и низкопоклонству, студенческий диплом имеет мало значения для правильной оценки людей.

Нередко второразрядники были и теперь бывают далеко, по умственному и нравственному развитию, выше студентов. Последние, если и выдаются из общего уровня семинаристов, то своей спесью и непомерным высокомерием. При назначении их в учителя никому и в голову из высшего начальства не приходило удостовериться, способны ли его кандидаты к учительству, имеют ли к нему призвание и знают ли предметы, которые они должны преподавать. Оттого-то и выходило нечто невероятное: ученики 4-го класса, конечно не все, знали училищные предметы, за исключением катехизиса и св. истории, не хуже, если только не лучше своих учителей.

Этот, повидимому, абсурд объясняется очень просто. Училищные предметы почти не проходятся в семинарии, где главное внимание обращается на богословские науки. Слава семинаристов, как знатоков древних, а особенно латинского, языков, померкла с конца 30-х годов. В 40-е же годы на них уделялось не более часа в неделю; а в мое время даже преподавание их считалось почти необязательным. Мудрено ли, что студенты семинарии за 6 лет успевали забыть то, чему их учили в училище.

Неудивительно поэтому, что наши учителя во время слушания уроков не отрывали своих глаз от учебников и

никогда почти не рисковали делать какие-либо объяснения их. Даже при преподавании арифметики учитель не выпускал из рук состоящего из вопросов и ответов какого-то, не помню, нелепого учебника. Учитель по книге, напр., спрашивает: „что есть сложение?“ Зубрило-ученик отвечает: „сложение есть арифметическое действие, по которому два числа, называемые слагаемыми, пишутся одно под другое, складываются между собою, отчего получается сумма. Напр., далее указанные в учебнике цифры пишутся на доске" и т. д.

Боже сохрани ученика, если он слово или цифру поставит не на месте или заменит другими, хотя бы сложение произведено было и правильно. Если не порка, то другое наказание постигало вольнодумца, решившегося на перестановку слова или цифры. Готовясь уже в университет, я не раз убеждался, что будущие (через год) учителя и попы знали 4 действия едва ли лучше, чем знают теперь ученики народных школ 3-го отделения. Прав я был, когда говорил, что любой хорошо грамотный крестьянин мог в наше, по крайней мере, время без ущерба для преподавания заменить учителей-студентов семинарии, кроме только учителей древних языков и катехизиса. Ведь от учителя требовалось только уметь следить по книжке, правильно ли отвечает ученик, а потом сосчитать, по пальцам хотя, число ошибок и наказать его. И для казны было бы выгодно!

Впрочем, и учителя-студенты получали тогда нищенское содержание: 8 - 9 руб. в месяц, хорошо не помню. Нечего удивляться, если при повальном взяточничестве и наши учителя не брезговали разными приношениями наших отцов. При нищенском жалованье было бы смешно требовать от учителей, чтоб они покупали книги, касающиеся их предметов, готовились к урокам и, вообще, заботились о пополнении приобретенных ими 6 лет назад в училище знаний. В училищной библиотеке, кроме высланных синодом учебников, книг для самообразования не полагалось.

Впрочем, не только тогда, да и теперь даже стремление к самообразованию наблюдается лишь в отдельных редких личностях (я могу судить об этом по абонентам бывшей моей библиотеки) из духовенства, которое семинарский курс считает высшею мудростью. Да и заниматься с учениками добросовестно у учителей не было побуждений; на учительство они смотрели, как на средство получить богатое поповское место. И менялись они чрезвычайно часто; только двое учительствовали долго, так как они в Вятке же занимали поповские места. Замечательно что за 4 года из массы учителей оказался только один, который заботился о нашем развитии, за что мы чуть не обожали его, но он, к нашему общему горю, не пробыл у нас и 2-х месяцев.

## ***2. Ученики***

Ученики состояли главным образом из детей духовенства, т. е. попов, дьяконов и дьячков. Ни в каком всесословном заведении не придется найти такого различия между воспитанниками, какое существовало в нашем односословном училище. Поповские дети имели некоторые черты, заметно выделявшие их из общей массы: они были поприличнее, в них было меньше грубости, неряшества, нечистоплотности и разных сальностей, чем в дьячковских детях, у которых еще резко бросалась в глаза страстишка насолить поповичам, а если сила была, то и побить их. Конечно, это различие с годами сглаживалось, но, к сожалению, не в пользу поповичей.

Кроме детей из духовенства, были еще у нас товарищи из инородцев. В долях церковной пропаганды, по представлению святейшего синода, было приказано ловить, хватать и насильно водворять в бурсу инородцев, из которых после выучки предполагалось создать попов и дьяконов для иноверческих

100

приходов. Слышно было, что для поимки кандидатов на поповство устраивались настоящие облавы. Местное начальство доносило синоду, что инородцы не поддаются культуре, что с ними труднее справляться, чем с дикими зверями, но получился неожиданный результат. Наперекор тогдашним жестоким нравам синод предписал, чтобы с инородцами начальство обращалось мягко и гуманно и чтобы не смело исключать их без синодского разрешения.

Инородцы, конечно, возрадовались и на гуманность ответили полным пренебрежением к учению и бурсацкому режиму. В наше училище почему-то попали исключительно черемисы. Это племя вообще отличается бесталантностью и даже малопонятливостью. Передают, как быль, что рекруты из черемис не умели отличить правой ноги от левой, а потому военные экзерцисмейстеры привязывали к ногам их клочки сена и соломы и командовали уже: не „правой - левой“, а „сено - солома“. Из этого-то обиженного природой племени сельские власти нахватили еще самых бесталанных, на которых смотреть было нельзя без жалости.

Впрочем, как редкие исключения, попадались и неглупые ребята. Один черемисин, погрузившийся по уши в зубрежку и отличавшийся тихим нравом, даже кончил одновременно со мною семинарию и поступил в попы. Но были экземплярны и другого рода, наводившие страх даже на начальство. Вообще, инородцы скоро поняли свое привилегированное положение и засиживались в классах многие годы. Из их среды выходило немало великовозрастных, дюжих молодцов - граждан камчатки. Скоро, кажется, дано было начальству разрешение и без синода выгонять не желавших совсем учиться черемис. Они больше дружили с дьячковскими детьми и вместе с ними нещадно били и всячески издевались над поповичами, которых несправедливо называли неженками.

Лично я не терпел обид от товарищей. Их расположили в мою пользу мои выходки против начальства, открытие шпиона,

а главное мое относительное умственное развитие, за которое часто называли меня башкой. Вообще, аристократия ума была у нас в большом почете. Средние по способностям и почему-либо, а большею частью ни с того ни с сего, не понравившиеся драчунам и коштанам поповичи выносили почти ежедневно настоящие пытки. Били их, бедняг, чуть не на каждом шагу озверелые драчуны. Как завзятый враг кулака, я часто отстаивал товарищей, страдавших невинно от грубого и дикого произвола буянов, но и мой авторитет редко их сдерживал. Иногда дело доходило до того, что отцы переводили своих детей, страдавших от товарищеской тирании, в другие училища. Вообще, товарищеская среда шибко деморализовала нас.

### ***3. (Умственное развитие бурсаков)***

Как было уже сказано, учащие, строго говоря, не заботились, да вряд ли и могли заботиться о нашем умственном развитии. Бессмысленное зубрение уроков „от сих и до сих" скорее отупляло, чем развивало наши маленькие умы. О саморазвитии вряд ли стоит говорить: не было для него благоприятных условий. Нечто похожее на мою домашнюю обстановку наблюдалось вряд ли и у 2-х товарищей, но ни у одного из них, наверняка, не было такого разумного педагога, каким был мой дед. И все-таки любознательность и стремление к развитию замечались чуть не в доброй половине учеников.

Кажется, я упоминал уже, что кое-какие книги для чтения я привозил с собою в бурсу. И нужно было видеть радость бурсаков, когда они получали от меня книги! Как они лебезили передо мной в ожидании, что я разъясню все непонятое ими, и как горько было их разочарование, когда я откровенно признавался, что и я многого не понял. Если бы начальство хотя наполовину удовлетворяло нашей любознательности или своими объяснениями, или подбором подходящих книг для

чтения, то народ имел бы теперь сотни настоящих пастырей, а не презираемых почти им попов, которые на разные лады заботятся о выколачивании из дырявого мужицкого кармана последних грошей.

Но начальству не было, кажется, ни малейшего дела до нашего развития. Объяснения даже уроков оно считало излишней роскошью, а выписку книг для ребят - чуть ли не ересью. Да, впрочем, и книг-то детских тогда было немного. Заботы начальства о нашем нравственном воспитании я, кажется, подробно изобразил в картине моего нравственного растреления.

\*Я не думаю нисколько обвинять начальство в умышенном развращении нас: оно только простодушно не ведало, что творило, да и ведать, вероятно, не желало\*.

Оно даже тогда не додумалось еще до простой истины, что нельзя же массу ребят, скученную по 70 - 100 душ в одной комнате, оставлять на все внеклассное время без всякого надзора. Нельзя же серьезно назвать надзором обход по вечерам комнат, где готовились уроки, инспектором однажды в 1 ½ - 2 месяца. Был, правда, у него помощник (не штатный, а из любителей), но этот педагог занимался, и то крайне редко, подслушиванием у дверей да выслушиванием отчета шпионов. И то и другое для него было не безопасно, а нам кроме худа ничего не приносило.

В pendant пресловутым аудиторам на внеклассное время в каждую комнату назначался из наших же товарищей старший; а для чего - не ведаю. Не для руководства же нашим нравственным воспитанием? Помнится, что почти все наши старшие были испорченнее своих товарищей.

\* Да так а priori и быть должно, ибо, кроме общих всем нам условий порчи, у старших существовали специальные условия, которые создавало само старшинство \*. Высокомерие (хоть про себя), тщеславие своим положением, которое в сущности не давало никаких прав, взятки с новичков и трусишек

и низкопоклонство перед инспектором, неразрывно связанное с лицемерием, - вот качества, особенно присущие старшим.

\*Мне даже и теперь при одном воспоминании об них становится смешно. Представь себе такую картину: в комнате стоит страшный шум и гам, потому что ребята расшалились; старший покрикивает властным голосом: тише, тише, но он раздаётся в пустыне, ибо ребята сильно увлеклись игрой. Что тут делать? 11 - 12-летний начальник, после бесплодных криков, сам поддается общему увлечению и иногда шалит и шумит больше всех. Если он любим товарищами, то кто-либо из них отправляется на караул, чтоб во - время предупредить о нечаянном приходе начальства. Если же авторитет старшего ничтожен, то ему, бедняге, самому приходится быть караульщиком. Жаловаться на непослушание товарищей рискованно, да опасно и проглядеть внезапное появление инспектора; в последнем случае первая розга достается старшему\*.

Очень интересно наблюдать замечательно стойкий консерватизм нашего духовного ведомства. Полустолетний опыт должен бы был, кажется, наглядно доказать ему полную нелепость системы нравственного воспитания детей, поручаемого детям же, чуть не одноклассникам с своими воспитанниками. Правда, в духовных училищах эта система отменена: старшие из учеников заменены надзирателями из студентов семинарии.

Но когда духовенству предоставлена была монополия открывать школы грамоты в селах и деревнях, отжившая свой век и оказавшаяся негодною для детей духовенства старая система применяется теперь им для детей крестьянских. И в большинстве школ грамоты, о назначении которых - распространять грамотность и воспитывать в религиозно-нравственном духе подрастающее поколение - так велегласно заявляют синодские краснобаи, насадителями нравственных начал являются мальчуганы 12 - 15 лет. Да и учебное дело



ведется очень плохо, хотя духовенство и старается всячески скрыть это, но правда все-таки обнаруживается. Обыкновенно окончивших школу грамоты, или, как зовет их народ, грамотников, принимают во 2 и 3 отделения церковных школ, но скоро по необходимости сами же церковные учителя возвращают их вспять, т. е. в младшее отделение. Я не говорю, впрочем, о всех. И выходит, что время, проведенное в школе грамоты, пропадает для многих зря. А как резко отличаются грамотники от других учеников; какие из них выходят сорванцы!!

\*В Верховине даже стряпки негодных детей обзывают грамотниками. Так долго остановился я на системе воспитания детей детьми же, чтоб показать, что до нашего нравственного воспитания никому дела не было. Начальство назначало старших, поручало им надзор за нами, а там хоть трава не расти. Много бы еще следовало сказать о нашем нравственном воспитании, но всего не перескажешь, да и больно вспоминать о своей испорченности. И от сказанного выше на эту больную для меня тему волос дыбом становится. Я постоянно благодарить должен судьбу, что бурсацкое болото не засосало меня совсем и мне как-то удалось через несколько, правда, лет вынырнуть из него и переродиться нравственно\*. А сколько бурсаков погибло, сколько из них вышло крайне несимпатичных попов!?

Я не хуже других знаю, что настоящих пастырей было мало, да и теперь их надо считать единицами, но знаю также и причины, создающие гораздо больше попов, чем пастырей. Общество же наше на это не обращает ни малейшего внимания; оно с какой-то брезгливостью, если не с презрением, относится ко всему духовному сословию. Костюм духовенства служит символом жадности, невежества, фарисейства и множества других пороков. Оно не хочет, кажется, даже допустить предположения, что в рясы облакаются иногда люди высокого благородства и великого ума. Не все же ведь бурсаки нравственно гибнут окончательно: попадают же между ними

изредка и такие, к которым бурсацкая грязь слабо прилипает и потом легко смывается, а равно и такие, которые совсем перерождаются и являются на свет снова чистенькими. Брезгливость общества и особенно дворянства простирается и на оставивших даже духовное звание; клички: кутейник, попovich нередко произносятся с целью показать, что от таких людей доброго нечего ждать.

\*Желал бы я знать, если б дворянских детей воспитывать в условиях бursы, то много ли бы из них уцелело? - Стоп! Я опять увлекся и начал писать нечто вроде аологии духовенству. Надо еще подышать атмосферой бursы\*.

#### ***4. Развлечение бурсаков***

При грубости наших нравов и развлечения наши носили грубый характер. Впрочем, они не во все сезоны были одинаковы. Весною и летом, а равно и в сентябре, когда внеклассное время мы проводили на вольном воздухе, наши игры и развлечения были облагоустроеннее и, вероятно, немногим отличались от развлечений гимназистов. Наибольшею распространенностью между бурсаками и любовью их пользовались игры: свайка, бабки, лапта, мяч и городки. Последним двум я отдавался со страстностью. Да и вообще почти все игры на открытом воздухе прекрасно влияли на нас не только в физическом, но и в духовном отношении. Совсем другой, прямо противоположный характер имели игры комнатные зимой и осенью. Здесь проявлялись без всяких прикрас самые низменные инстинкты, частью врожденные, а главным образом привитые воспитанием как домашним, так и бурсацким. Они с особенной силой и в более грубой форме сказывались у инородцев и дьячковских детей, хотя и попovich далеко не были от них свободны.

Конечно, были исключения на той и другой стороне, но не о них речь. Общая суть зимних игр выражалась в нанесении обид с одной стороны и в отпоре или терпеливом перенесении их - с другой. Летние игры развивали ловкость, находчивость и т. п. хорошие качества, в зимних же главную роль играли грубая физическая сила и нахальство, доходящее часто до цинизма. Были у нас кулачные бойцы, у которых синяки вряд ли сходили с тела и которые о том только и заботились, чтоб причинить противнику побольше боли.

Была игра, называемая: „стена на стену“, состоящая в том, что две партии, каждая человек в 25 - 30, становились друг против друга и по команде, как разъяренные звери, бросались на противников. Синяки, а изредка и более серьезные повреждения, требовавшие вмешательства медицины, были следствиями этой свалки. Тяга через палку - это своего рода единоборство, кончавшееся иногда надрывом поясничных мышц и громадными кровоподтеками на затылке, если осиливший на тяге моментально выпускает из рук палку, чтоб противник его, значительно приподнятый, со всего размаху грохнулся затылком на пол. Такой дикий прием запрещался условиями игры, так как бывали случаи сотрясений мозга, но победителей не судят.

Невиннее других забав была борьба, которая требовала не столько силы, сколько ловкости и смекалки. Я почти не участвовал в зимних играх, но изредка непрочь был побороться. Несмотря на свой пигмейский рост, я обладал недюжинною силою, знанием разных сноровок и умением пользоваться моментом. Все это подстрекало меня вступать в борьбу с верзилами и нередко удавалось побеждать их. Эта борьба пигмея с исполином, в случае удачи, производила фурор и поднимала мой авторитет, что, конечно, тешило мое маленькое самолюбие.

Кроме игр, требующих силы и ловкости, существовала масса забав, в основе которых лежали хитрость их изобретателей и желание сделать большую или меньшую

пакость товарищам. Я, по крайней мере, не помню ни одной забавы без этой подкладки. Страдающими лицами здесь большею частью, если не исключительно, являлись или новички, или хотя из старых, но настолько глупые и недаленовидные ребята, что они невольно делались предметом общего, хотя и глупого смеха. Напр., с полным на вид сочувствием подходит к новичку старый бурсак и предлагает через перышко гусиное дунуть в ящичек, чтоб увидеть неизведанные блаженства. (Ящичек в одной из стенок имеет, кроме общего большого отверстия с пером, на той же стенке 20 - 30 едва заметных отверстий и наполняется сажей, табаком, известью и пр.) Дунувший в ящик новичок или становится похожим на трубочиста или целые часы чихает и пр., а бурсаки гогочут.

\* Помню еще выходку чрезвычайно сальную: были у нас бурсачки - артисты, которые могли [пускать газы] по произволу, когда и сколько им было нужно. Такие артисты имели при себе бутылки, которые они наполняли своей вонью и, плотно закупорив их, предлагали новичкам нюхать под видом высокого качества амбре. Неопытные попадались на эту удочку и вызывали громкое бурсацкое гоготанье. Само собой разумеется, что подобные изобретения имели значение только до тех пор, пока были новы, а потому они чуть не ежедневно варьировались, чтоб иметь характер новизны. И сколько бурсацких умов ухищрялось над изобретением подобных сальностей и глупостей \*.

И все это творилось благодаря ужаснейшей скуке, одолевавшей бурсаков во внеклассное время, и полному отсутствию мало-мальски разумных развлечений.

\* Все это еще цветочки, но были и ягодки, которые, созревая на бурсацкой ниве, производили на бурсаков же тяжелое, гнетущее впечатление. К сожалению, такие \* возмущающиеся выходками своих же товарищей бурсаки составляли ничтожный процент. Большинство же гоготало и

поощряло буянов. Все их разнообразные выходки в итоге сводились к нанесению слабым товарищам физической боли, вообще: щипки, щелчки и особенно кулаки играли главную роль.

И все эти гадости практиковались над совершенно невинными товарищами, так сказать, вследствие мертвящей скуки. Словесная защита слабых обыкновенно была бесполезна, если далее предпринималась авторитетными товарищами. Тут требовался здоровый кулак, а не убежденное слово. Ученики, не одобрявшие кулак, тем только и могли облегчать горе обижаемых товарищей, что оказывали им свое внимание и сочувствие, но и это уже не нравилось буянам. Если же какой-либо мальчуган не выдержит ежедневных почти и беспричинных пыток и в пылу раздражения пожалуется на обидчиков инспектору, тогда жизнь его становилась положительно невыносимой; приходилось поневоле оставлять училище. И замечательно, что в числе буянов было немало добрых ребят, но зато были и настоящие, отвратительные злючки.

\* Отдельные эпизоды несправедливых побоев хотя и помню еще, но описывать не буду; они очень похожи на прекрасно изображенные картины Помяловского; нарисовать их подобно ему у меня уменья не хватит. Прочти эти картины, но только помни, что в нашей бурсе они были грязнее и грубее, чем в питерской, талантливо описанной Помяловским \*.

Чтобы покончить с развлечениями, мне остается сказать еще о боях, практиковавшихся только зимою по субботам после всенощной. Бои эти похожи были на настоящие сражения с главнокомандующим, командирами отрядов, застрельщиками, прикрытиями, резервами и пр. Сражающимися сторонами с одной стороны были мещане и гимназисты младших классов (старшие в союзе тоже с мещанами сражались на другом конце города с семинаристами), а с другой - бурса, за исключением, быть может, 30 - 40 чел., не любящих драки и слабеньких. Обе стороны вместе выставляли в бой более 500 человек.

Я хотя и не принимал участия, но не раз бывал свидетелем побоищ и потому могу судить, до какого зверского остервенения доходили сражающиеся. После каждого сражения оказывались раненые, а изредка и требовавшие больничного лечения, но убитых в мое время, кажется, не бывало. Предание гласило, что в прежние годы бывали и убитые, но дела о них были шиты и крыты. Бои официально не разрешались, но \*находились на положении бардаков, т. е.\* допускались.

Губернское начальство не могло не знать о них, но тем не менее не посылало даже будочника для порядка. Наше же начальство, конечно, втихомолку само любовалось на сражения. Мне с некоторыми товарищами, не участвовавшими в боях, приводилось видеть, как инспектор во главе своей семьи с верхнего крыльца посматривал на побоище. Поэтому на раненых не обращалось никакого внимания, тогда как небольшой синяк, полученный вне боя, вызывал сыск, а иногда и порку.

Часто из любви к искусству сторону бурсы принимали два дьячка, а изредка становился в ряды ее из ближнего села страшный дьякон, одни вид которого вселял противникам панический страх и обращал их в бегство. Действительно, он, как ураган, валил врагов целыми десятками. Знал ли об участии в бою духовных лиц архиерей, не могу сказать. Но Ростиславов, описывая рязанские бои бурсы с горожанами, говорит об участии в них самого протодьякона (с негласного разрешения) и о том, что сам св. владыка из укромного местечка следил за сражением.

Для характеристики нравов вятского общества я скажу кое - что о свистопляске, праздновавшейся ежегодно в одно из воскресений после пасхи. Праздник этот напоминает семик и, по преданию, установлен в память избиения вятичами своих

союзников, пришедших к ним на помощь<sup>10</sup>. Я не имел ни малейшего понятия о свистопляске и попал, по неопытности, на нее, вследствие уговора одного старого, опытного бурсака.

Место для праздника находилось в конце города и представляло глубокий овраг с высокими берегами, на которых размещаются десятки торговцев с булками, лакомствами и специально для этого дня приготавливаемыми свистульками (вроде маленьких кларнетов) и глиняными шарами, окрашенными в черный цвет с разноцветными крапинками. Шары большие (с апельсин) были внутри пустые; мелкие же, величиною с грецкий орех, делались сплошными. На праздник являлась масса детворы, но много приходило и расфранченных барынь и мужчин, чиновников и купцов. Дети все снабжались свистульками, и в воздухе раздавалась ужасная какофония; взрослые же нагружались шарами, которые покупались целыми сотнями.

На берегу была, значит, праздничная и праздная публика; в овраге же помещались мещанские ребята и бурсаки, к которым чуть не насильно потащил меня товарищ. Да и самому мне неловко было толкаться среди франтоватой публики в халате. Праздник начался киданием шаров сверху и подборанием их ребятами в овраге. Я уже нахватал шаров целую пазуху, как один из них, попавший в голову, свалил меня с ног, и тогда началась настоящая бомбардировка. Я взмолился, просил пощады, но шары все чаще и чаще сыпались на меня. Встать и бежать я не мог и только руками инстинктивно защищал голову. К счастью, на выручку мне явился мой соблазнитель и вытащил меня в относительно безопасное место.

Я скоро отдышался и стал наблюдать за нарядной публикой. Представьте себе, что не только мужчины, но

---

<sup>10</sup> Об этом празднике писал еще по возвращении из вятской ссылки М. Е. Салтыков-Щедрин в статье, напечатанной в 1856 г. в „Петербург. ведомостях“ (ср. у Иванова-Разумника „М. Е. Салтыков-Щедрин“, т. I, М., 1930, стр. 118).

расфранченные в пух и прах барыни и даже дети с удовольствием, повидимому, целились в головы овражных ребят; каждый меткий удар встречался поощрительным хохотом и восклицаниями. Меня так отхлопали, что картуз нельзя было надеть, так сильно распухла голова. Когда мы вышли из оврага, мой товарищ опорожнил мою пазуху, продал шары и купил мне большую свистульку и булку. С этими трофеями я вернулся в бурсу; к ним на другой день инспектор присоединил штук 50 горячих розог. Да, жестокие были нравы!

## ***5. Религии и умственные запросы бурсы***

В обоих отделениях 4-го класса нас было более 100, но вряд ли из этой массы 4 - 5 чел. обладали настоящим религиозным чувством. Остальная бурса вполне равнодушно относилась к религии; она, кажется, бессознательно, по привычке исполняла только церковные обряды, да и то с грехом пополам. Утренние и вечерние молитвы, например, читались аккуратно, но читались так, что лучше бы их не было. То во время их ходит по рядам бурсак и чем-нибудь побрякивает, пародируя сбор денег в церквях; то другой бурсак изображает трудника, т. е. человека, сопутствующего в походах иконам, и выкрикивает: порадейте, православные, Николе чудотворцу на провожанье и пр. При этом изрыгаются нередко и непечатные слова.

А как держат себя ученики в церкви, так и смотреть тошно! Только присутствие начальства поддерживает некоторый порядок, да и то в рядах, стоящих на виду у него. За спиной же начальства проделываются иногда возмутительные вещи. Полный индифферентизм в связи с самым грязным кощунством особенно бросается в глаза во время скучных вечеров, когда один другого хотят перещеголять сальными насмешками над религиозными святынями. Дело начинается с



циничных рассказов о попах и попадьях, откуда легко переходят на темы о святых, таинствах и обрядах. Кошунство самое омерзительное тогда льется широким потоком; пикантности пересыпаются матерщиной. Одного только Христа щадили бурсаки. \*Самые скромные образцы - апостол и тропарь я послал недавно тебе. Это только листочки, каковы же цветочки и плоды\*.

Кажется, я упоминал, что под влиянием мистических книг во мне загорелось горячее религиозное чувство, извращенное, впрочем, частью мистикой, частью же собственным моим непониманием и неправильным ее толкованием. Как бы то ни было, а кошунство бурсаков меня очень возмущало; я пробовал опровергать их сказки и вымыслы, стыдил их, как будущих попов, но толку было мало; и мой сильный иногда авторитет оказывался бессильным. Оставалось только мне в компании с 2 - 3 верующими удаляться от нечестивых бесед.

В последний год случайно я натолкнулся на возможность отвлекать внимание товарищей от кошунства. Во время каникул я несколько раз перечитывал бывшие у деда светские книги (их и было-то с десятков) и хорошо запомнил их содержание. Как-то в кружке товарищей я стал пересказывать „Недоросля" и был поражен тем вниманием, какое они проявили. Частенько я рассказывал кое-что из Карамзина, но багаж мой был скуден и скоро истощился. Несмотря на свои умственные недочеты и плохую наблюдательность, я ясно видел, что запросы бурсаков на образование и любознательность громадны, да удовлетворения-то их вовсе не было.

## **6. Порочность бурсаков**

\* О лицемерии, лжи, низкопоклонстве, грубости нравов, цинизме и пр. было говорено, когда речь шла обо мне. Но были еще развиты особенно омерзительные пороки, о которых и

говорить больно. Но я уже решил, что голая правда должна быть на первом плане, как бы она горька ни была \*.

Великовозрастные, а глядя на них, и малыши при случае напивались до скотства. Настоящего регулярного пьянства если не было, то лишь по безденежью. Зато пили редко да метко. Особенно безобразно напивались у ставленников - родственников при посвящении их в попы или дьяконы. Тут уж даже и совсем непьющие, за редкими исключениями, нализывались, как свиньи. Но так как случаи для выпивки были редки, то и число пьяных было ничтожно и потому не характерно для бурсы. Будь у бурсаков побольше случаев да побольше денег, и пьянство приняло бы широкие размеры.

\* Пример заразителен, а духовенство, особенно сельское, любило и теперь очень любит выпить \*.

Более распространено у нас было воровство. Были артисты, которые изредка обкрадывали даже товарищей, хотя воровство строго каралось товарищеским судом и считалось крайне позорным делом. Совсем иначе относилась бурса к кражам на стороне. Ими даже хвалились, как своего рода молодечеством. Воровали в огородах овощи, на дворах кур, в вершах рыбу, с лотков калачи, а из лавок, что попадетя под руку. Бывало, бурсак, не имевший за душой и 3-х коп., становился обладателем дюжины перочинных ножей.

Как производилось воровство, я обстоятельно рассказать не могу, ибо, за исключением единственного описанного выше случая, кражами не занимался, но помню из рассказов, что для успешности их составлялись шапки, в которых каждому члену назначалась особая роль и в которых были свои главари. Не всегда кражи бывали успешны: иногда воришки жестоко платились и являлись в бурсу с пустыми руками. Торговцы ограничивались лишь самосудом, но никогда не жаловались начальству; они ведь знали, что бурсаки постоянно голодны, как волки, и что воруют они с голоду.

\* Остается мне сказать слова два об одном ужасном пороке бурсы, при воспоминании о котором через полсотню лет становится еще жутко. Я имею в виду разврат бурсаков \*.

Совместное жительство, грубость нравов и зависевшее от нее бесстыдство сильно влияли на распространение в бурсе разврата. В младших классах процветало рукоблудие. Я выразился неточно: не в одних младших классах, а и в семинарии и даже в богословии.

\* Значит перед поступлением в попы были артисты, которые не стыдились продолжать свою пагубную привычку. Правда, они старались скрыть свой порок, но ведь от зорких глаз бурсаков трудно уберечься. Мы хотя и не читывали никаких медицинских книжек, но каким-то чутьем даже по лицу узнавали рукоблудников, да и часто ловили их на месте преступления. В училище же никакой скрытности не полагалось. Цинизм доходил до такой наготы, что рукоблудие производилось, так сказать, на миру. Не раз я видал сцены, когда два бурсака, лежа на одной кровати [занимались взаимным рукоблудием] \*.

Еще омерзительнее был другой, тоже довольно распространенный порок - мужеложство. Здесь подбирались пары таким образом, что одну половину составлял ученик 3 или 4 кл., а другую - мальчуган лет 8 - 9 из новичков. Активным деятелем большею частью бывал безобразно грубый и циничный буян; пассивная же роль выпадала на долю совершенно неопытных, не понимавших, что с ними творят мерзавцы, юнцов с женоподобным смазливый личиком.

И какая ложь, какое извращение понятий царили в бурсе! Активные деятели чуть не открыто хвалились своим развратом, выставя его на вид, как будто какую-либо доблесть. Наглость их простиралась до того, что они испещряли стены уборной и умывальной полными именами жертв своей животной чувственности.

\* Ух! довольно. Прости, друже, что, благодаря мне, тебе пришлось несколько минут пробыть в смердящем и вонючем болоте. Впрочем, я отмечу это место цветным карандашом, а потом ты делай, как знаешь.

Заканчивая эту грустную страницу своих воспоминаний, я не могу не воскресить в памяти еще раз светлый образ моего милого деда. Да, он, на мой взгляд, был великий педагог. Незадолго до моего поступления в училище он в ярких и живых красках сумел 8-летнему ребенку показать картину противоестественных бурсацких пороков и в словах, полных горячей любви, изобразить их ужасные последствия. И он поселил во мне такое отвращение не только к этим порокам, но и к разврату вообще, что я до 25 лет был вполне целомудренен.

Как хорошо было бы, если б дед также сумел бы отворотить меня и от вина. Но на беду он сам любил выпить и пил иногда изрядно. Впрочем, я познал (без всякого намека на чувственность) первую любовь в 20 л., но она была неудачна. Я был беден и не в генеральском чине; родители же моей обожаемой Нади выдали ее хоть и за недалекого старика, но зато генерала, и она на 2-й год замужества умерла генеральшей. Фу, чорт побери! Сболтнул то, о чем следовало помолчать.

## ***7. Внешняя обстановка бурсы***

Внешняя обстановка бурсы вполне безотраднa. Ради пощады (свойственной почти каждому даже дурно воспитанному человеку) брезгливости, я постараюсь быть кратким, хотя для изображения тогдашних нравов детальная картина внешних условий нашей жизни была бы не лишней. Но чтоб рельефно нарисовать такую картину, нужно иметь талант художника, которого у меня не было никогда.

И теперь еще красуется громадное 3-этажное здание, в котором помещалась наша бурса, с классами, спальнями,

столовыми, пекарнями и пр. Теперь внутри все переделано до неузнаваемости, но наружные стены, окрашенные в тот же казенный желтый цвет, каждому прежнему бурсаку напоминают, конечно, не *almam matrem*<sup>11</sup>, а злую мачеху. Эх, опять пошло плетение словес\*.

Верхний этаж был занят церковью и спальнями; средний - классами, а нижний - хозяйственными помещениями. Здание устроено по центрально-коридорной системе. На дворе, кроме разных погребов, стояли два флигеля: один для начальства, другой для больницы. Сада не было, но зато был громаднейший, в несколько десятин, двор. Одним фасадом училище выходило на огромную площадь с прекрасным собором, построенным по проекту знаменитого Витберга<sup>12</sup>, а другим - подходило к высокому берегу, под которым извивалась река Вятка. Вид с этой стороны был очаровательный.

Но зато внутри здания на смену очарования являлось омерзение. И классы, и спальни всегда имели мрачный, унылый вид: кружева из паутины, толстые слои пыли и еще более толстые слои грязи покрывали не только стены и пол, но отчасти и потолки. Когда бурсаки опраивали свои незатейливые постели, в спальнях стояла какая-то мгла, сквозь которую на расстоянии аршина трудно было разглядеть лицо товарища. Самые же постели представляли нечто ужасное. У своекоштных были хоть подушки из пера, одеяла немудрые и войлоки,

---

<sup>11</sup> Благоую, добрую мать.

<sup>12</sup> А. Л. Витберг (1787—1855) - сын шведского выходца, художник и архитектор; автор грандиозного проекта храма спасителя на Воробьевых (ныне Ленинских) горах в Москве. Витберг подвергся по наговору нравов гонению со стороны Александра I, был сослан в Вятку, где жил в ужасной бедности; В Вятке он познакомился с сосланным туда А. И. Герценом, который оставил блестящую характеристику Витберга в „Былом и думах“ (см. главу 16-ю части 2-й издания 1932 года под редакцией Л. Б. Каменева).

которые дома все-таки очищались от пыли и грязи; до постелей же несчастных казеннокоштных учеников, вероятно, целые годы не дотрогивалась ни одна заботливая рука: пожалеть их было некому. Матрацы, похожие больше на масляные блины, а жесткостью напоминающие дерево, набивались обыкновенно гнилой, уже почерневшей соломой (это я видел не раз сам) и, пропитанные грязью и испарениями, издавали отвратительный смрад.

Пожалуй, покажется невероятным, что в спальнях даже солнечный свет был какой-то серо-тусклый, а это положительно верно; лучи, преломляясь в массе пыли, теряли свою яркость. Этому немало способствовали еще оконные стекла, на которых толстым слоем покоилась пыль и грязь; да и сами-то по себе стекла от старости потеряли свою прозрачность. Форточек не полагалось вовсе; печи отапливались из коридора; уборные примитивного устройства сами по себе были негодны и ужасно воняли; благодаря же нечистоплотности бурсаков, они превращались в сплошную клоаку. Вонь из них свободно распространялась по всему корпусу и особенно застаивалась в спальнях.

Об испорченности нашего воздуха можно судить уже потому, что, входя в бурсу, наши отцы и матери, довольно нечистоплотные и неряшливые в своих домах, частенько зажимали свои носы или закрывали их платком, пока не попривыкнут к нашей вони. О насекомых, пожиравших наши грешные тела, и теперь еще жутко вспомнить. Мириады их свили свои гнезда в бурсе; была и кавалерия, были и пехотинцы, прозванные в бурсе блондинками, а наши деревянные кровати давали удобный приют артиллерии.

Спасибо мы еще говорили начальству за еженедельные бани; оно не жалело на них дров, которые, впрочем, и стоили-то тогда баснословно дешево - не дороже, кажется, 30 коп. за сажень. Самое мытье в бане носило особый, присущий бурсе колорит. Если не все, то добрая половина бурсаков после мытья

в жаркой бане, несмотря ни на какой мороз, выбегали нагишом на улицу и, повалявшись в снегу, опрометью возвращались в парильню и с особым гоготаньем жарили себя вениками. Прodelывались эти штуки, конечно, ради удалства, но они все-таки закаляли наши телеса.

Истребить насекомых не могла никакая баня, поэтому бурсаки частенько на них, а особенно на пехоту, охотились. В ясное утро нередко можно было наблюдать такую картину: все окна спальни заняты нагими бурсаками, которые с ожесточением ловили и казнили своих врагов. В спальне стоял треск: точно кто-нибудь горстями бросал на каленые угли соль. За 4 года, и то благодаря слуху о приезде ревизора, однажды бурса была приведена в сносный вид.

При одном воспоминании о том, чем и как нас кормили, становится как будто тошно. Чтобы дать хотя слабое понятие о нашем пищевом режиме, я ограничусь только сравнениями. Как бывший военный врач, я хорошо знаю солдатский стол и честно могу сказать, что солдат кормили в 60-х годах несравненно лучше, чем нас в 40-х и 50-х годах. Вероятно, мы без всякого сожаления отказались бы и от щей и каши, если б вместо них нам предложили бы прекрасный солдатский хлеб и очень недурной квас.

Около полугода был я врачом в арестантских ротах в Херсоне и часто пробовал арестантскую пищу. Не раз во время этих проб я сравнивал ее с пищею бурсацкой, и сравнение было далеко не в пользу последней. Хлеб и квас у арестантов были положительно хороши, хотя и не пользовались такой славою, как у солдат. Жиру во щах было очень мало, так как и мяса-то отпускалось меньше, чем в войска, но щи все-таки были довольно вкусны и не смахивали на вонючие помои, которыми кормили нас. Разные эконоы и комиссары, конечно, непрочь были урвать кое-что от кормления солдат и арестантов, но нахально обкрадывать их они все-таки побаивались, ибо был не фиктивный, а действительный контроль.

У нас же не было никакого буквально контроля. Ревизоры показывались очень редко, да, по слухам, некоторые будто бы с начальства получали мзду. Чтобы содержать нас хорошо, начальство должно быть идеально честно, что в те времена было величайшей редкостью. Очень уж мало платилось за наше содержание: за казенного бурсака синод высылал, кажется, только 45 рублей в год. Мы же, своекоштные, за помещение и пищу платили неодинаково: попovich платил 9 руб. в треть, а дьячков сын только 6 руб.

Правда, и дешевизна тогда была баснословная, а все-таки на показанные суммы много не разгуляешься. Их вполне достаточно было тогда даже для прекрасного содержания нас, но при условии - не грабить. А так как грабеж считали тогда чуть ли не обязательным, то и содержание наше должно быть из рук вон плохим. Все затхлое, прогорклое, прокислое и вообще подлежащее изгнанию из лавок отправлялось в бурсу: бурсаки, дескать, народ непривередливый, всякую дохлятину сожрут. И наши луженые желудки переваривали всякую дрянь, от которой, пожалуй, другая свинья отворотила бы свое рыло.

Но иногда и нас мучило. Помню хорошо, что в печеном хлебе была найдена целая мышь; пошумели бурсаки, устроили даже промежу между себя, как говорил Салтыков, революцию, но дальше не пошли, ибо понимали, что жалоба начальству на начальство же к добру не приведет. Собственными глазами я видел, как сынишка хлебопека, просеивая муку для хлеба, в эту же муку и мочился. Скатерти, а также ножи и вилки у нас употреблялись только при ревизоре; ложки деревянные мы носили за голенищами; обеденные столы иногда служили кроватями для гостей повара, которые ложились спать в обуви, на которой было довольно всевозможной грязи. \* Однако, стоп, рука! Боюсь, чтобы от чтения этого очерка тебя не стало мучить\*. Да, закаляли-таки нас здорово!



## **8. Наказания**

Да будут они в моем обширном меню десертом, а то, пожалуй, и горчицей после обеда. Пальма первенства принадлежала, конечно, розге; \*об ней и разных видах ее применения я говорил уже достаточно, хотя далеко не исчерпал всего, что можно, на основании личного опыта, сказать об этом универсальном орудии нашего просвещения\*.

Драли нас чрез одного палача с двумя обязательными держателями, драли в две лозы, драли слабо и жестоко, драли сухими, драли и распаренными розгами, драли, наконец, с прибаутками и шутками, со злостью и издевательством.

Каждый из этих видов порки имел свои особенности, но детальное описание их завело бы меня далеко, поэтому я лучше поговорю о других наказаниях. Самое частое из них это ставленье на колени, то на середине класса, то у порога, что считалось самым легким наказанием. Но один вид ставленья на колени был, пожалуй, помучительнее и горячее даже порки. К верхнему краю наклонной доски парты у нас приделывалась узкая для чернильниц доска во всю длину парты и окаймлялась двумя карнизами. Вот на эти-то карнизы иногда и ставили нас на колени. Самый терпеливый бурсак не выдерживал и 10-минутной пытки.

Некоторые благочестивые учителя по постам часто назначали земные поклоны целыми сотнями. Если таких поклонников избиралось больше десятка, то для правильного счета около них садился за парту цензор с толстою книгою и каждый поклон обозначал перевертыванием листа. Иногда поклонников ради, вероятно, умерщвления их буйной плоти одевали в шубы, подпоясывали и в таком виде заставляли усердно молиться господа богу. После 30 - 40 поклонов молящиеся обливались потом, а ведь иногда назначалось 200 - 300 поклонов.

\* Полагаю, что молящиеся не стеснялись про себя воссылать не очень-то благоговейные славословия по адресу не только учителя, измыслившего такое нелепейшее наказание, но и самого бога. Лично я каким-то чудом ни разу не попал в число молитвенников в шубах\*.

В большом ходу у нас было одно наказание, - это стояние с одним или двумя лексиконами Кронеберга. Употреблявшийся у нас лексикон был очень увесистый - фунтов 5 - 6. Вот такой-то груз, а иногда и два, провинившийся держит в приподнятых выше головы и вытянутых руках, пока они выдерживают тяжесть. При этом он иногда стоит на ногах, а чаще на коленях. О щипках, щелчках, дранье за уши и за волосы, о разнообразных колотушках я не буду говорить. Все это практиковалось в самых обширных размерах каждодневно и у нас не считалось даже за наказание. К тому же эти наказания практиковались и в гимназиях, хотя и в менее грубой форме, и тебе знакомы\*.

В заключение упомяну о наказании, к которому в значительной дозе примешивался комический элемент. Был у нас учитель, на которого вид крови производил тяжелое впечатление. Он сек не жестоко, и сам никогда не наблюдал за поркою. Зато сей хитроумный педагог изобрел новое для нас наказание. Наметив свои жертвы, он доставал из кармана ножницы, требовал бумаги, иглу, ниток и приступал к портновскому делу: приготавливал разных фасонов дурацкие колпаки на головы и вывески на грудь. На вывесках он крупнейшими буквами делал надписи вроде: я лентяй, я болван, я драчун, я дурак и т. д.

К концу класса на виновных надевались колпаки и вывески, и они в таком шутовском наряде под предводительством самого изобретателя-педагога отправлялись в столовую, заходя иногда попутно и в другие классы. В столовой шуты размещались в разнообразных позах под влиянием игривой фантазии учителя. Натешившись вдоволь своею выдумкою, он ставил виновных тут же в столовой на

колени и каждому из них в рот клал по корке хлеба, строго внушая не жевать его до окончания обеда. Издевательства его, впрочем, варьировались нередко.

А вот и еще одно наказание. Был у нас учитель, который особенно ретиво придирался к красивым, женоподобным ученикам. Разными придирами он спутает даже хорошо знающего ученика и за ошибку посылает к лозе. Едва только бедняга уляжется и оголит марфутку, как учитель вырывает у палача розгу и начинает ею щекотать обнаженные ягодицы и с особым плотоядным, полным животной чувственности смаком приговаривать: ишь, шельма - беляночка, замигала и т. д. До сечения дело не доходило, а было лишь одно любованье.

Стали распространяться и вне училища скандальные слухи о любителе марфуток, и его после 2 - 3-месячной практики убрали куда-то в село.

Мера, вид и степень наказаний не были регламентированы, все зависело от настроения и каприза учителей; царил полнейший, ничем не сдерживаемый произвол.

## ***9. Итоги***

Что же вынес я из бурсы?

\* Природа, произведя меня на свет, кажется, не скупое наделила меня своими дарами. Первое мое детство протекало при самых благоприятных условиях. Воспитателем моим был великий педагог для своего времени и высоко - нравственный к тому же человек - мой незабвенный дед. Прекрасные семена бросил на недурную почву, и от этого взаимодействия выросло молодое растение, которое, если б культура его продолжалась правильно, сделалось бы с годами прямым, здоровым деревом. Но этого не случилось; ветры, а иногда и бури мешали правильному росту, самая почва, благодаря дурной обработке,

утратила хорошие питательные соки, и в результате таких дурных условий растение сделалось кривым, корявым, худосочным. Много усилий после потребовалось, чтоб несколько выправить растение и придать ему благообразный вид. Невольно сорвалось с пера это истрепанное сравнение растущего человека с молодым растением; таково уж теперь мое настроение.

Невыразимо тяжело становится при воспоминании о том, как исковеркала меня бурса. Право же \*, до 8 лет я был очень недурным мальчиком: до бурсы я был правдив, доверчив, добр, ласков, был готов оказывать всевозможные в моем положении услуги другим, светло и радостно смотрел я на мир божий. И какую страшную метаморфозу произвела во мне бурса! В ней я стал скрытным, хитрым, мальчиком себе на уме, лживым, лицемерным, низкопоклонным, с камнем за пазухой, злым, мстительным и т. д. Если б только впоследствии не совершилось со мною почти полное перерождение или возрождение, то в пору возмужалости из меня мог выйти человек, отрицающий все святое и возвышенное в человечестве, Эгоист самого низкого разбора, словом артист, для которого и каторги мало.

Итак несомненно, что в нравственном отношении бурса искалечила меня. В умственном отношении она дала мне очень немного, почти что ничего. Если я и развился несколько за четыре года пребывания в бурсе, то развитием этим я обязан не ей, а себе; я развивался скорее ей наперекор. Защитники зубристики, которые не перевелись еще и теперь, говорят, что она развивает память. Быть может, это и справедливо отчасти; но, во-1-х, у меня память была без того хороша, а, во-2-х, зубристика, как она практиковалась у нас, положительно отупляла и угнетала другие способности духа.

Я прекрасно помню, что во время подготовки моей к университету предметы, преподававшиеся в училище, а потом некоторые и в семинарии оказались для меня совершенно новыми, как будто никогда не изучавшимися, несслыханными

мною. Только древние языки я изучил настолько хорошо, что при переходе в семинарию знал их не хуже учителей. Изучение их было хорошей гимнастикой для моего ума. Дело в том, что учебники этих языков были безобразны; учителя никаких объяснений не делали, и потому мне волей-неволей приходилось при переводах строить разные комбинации и даже придумывать правила, а такая работа, обязывающая доходить до всего своим умом, развивала мой мозг. И здесь опять-таки бурса неповинна в моем развитии; если она и влияла на него, то только отрицательно.

Ты в праве спросить: ужели 4 года я потерял зря, ужели ничего уж я не вынес из бурсы? Отвечаю: кое-что и вынес. Я, вероятно, проклинал бы бурсу со всеми ее педагогами и порядками, если бы через несколько лет не последовало мое возрождение. Оно дало мне возможность трезвее, объективнее, а потому и беспристрастнее отнестись к бурсе.

Да и в нашем темном царстве было хоть немного светлых лучей, несколько скрашивавших мрачную картину. Как на особенно интенсивные лучи я укажу: на развитие в бурсаках воловьего терпения, настойчивости в труде и железной энергии в достижении намеченных целей. Далеко не у всех вырабатывались и не все перечисленные качества; но терпение встречалось у большинства. Немало способных бурсаков измельчало, опошлилось и даже погибло нравственно прежде, чем они успели приобрести настойчивость и энергию характера, но те, которым удалось это, найдут и светлый луч в нашем бурсацком царстве.

Я далек от идеализации бурсы, но во всю свою жизнь я говорил ей спасибо за то, что в ней именно я выработал указанные свойства моего характера. Сознательно или бессознательно было это влияние бурсы - это другой вопрос, которого я не касаюсь теперь. Оставляя пока в стороне участие этих свойств в моем возрождении, я скажу только, что они в значительной мере помогли мне поступить в университет. Я

решил поступить в него, уже пробыв год в богословии, значит мне предстояло в один только год пройти весь гимназический курс, не упуская притом из виду и семинарские предметы, изучение которых также не мало поглощало времени. А ведь мне пришлось проходить буквально все гимназические предметы.

Стыдно сознаться, а правда обязывает сказать, что я за год до поступления в университет плохо знал четыре первые арифметические действия. Все, чему учили в бурсе, да частью и в семинарии, благодаря бестолковому преподаванию и одуряющей зубрилке, было вконец забыто. Однако настойчивость и энергия преодолели все встретившиеся препятствия. В общей сложности я работал 15—17 час. в сутки, считая тут и время, тратившееся на изучение разных богословий, и через год сдал очень недурно в университете экзамен.

А экзамен был тогда чересчур строгий; по каждому предмету под председательством профессора экзаменовали два учителя гимназии и пробирали нас нещадно, что видно из того, что из 185 абитуриентов было принято только 37. У меня, получившего лучшие баллы без всяких переэкзаменовок, вышла, впрочем, небольшая заминка, которую помогла распутать та же бурса.

Новым языкам я обучался самоучкой и знал их недурно, но произношение мое сильно хромало. Из диктанта добряка Фелькеля<sup>13</sup>, которого, вероятно, и ты помнишь, я понял только *und* и *gut*. Фелькель заметил, что я не пишу диктанта, и, по окончании его, тотчас спросил меня, почему я не писал. Я объяснил, что немецкий язык я хорошо знаю, но только, не слыхавши никогда немецкой речи, не понимаю произношения.

---

<sup>13</sup> Юл. Карл. Фелькель (1812-1882). лектор немецкого языка в Московском ун-те с 1845 г.

Фелькель предложил мне из своей хрестоматии перевести несколько мест, что я и исполнил настолько хорошо, что получил высший балл и даже похвалу.

У горячего лектора француза вышло не так. Я из диктанта не разобрал буквально ни одного слова и, несмотря на мои логичные объяснения, получил дубину. Крепко призадумался я и почти опрометью выбежал из аудитории. Должно быть, горе ясно было написано на моем лице, ибо встретивший меня субинспектор с участием спросил: „что с вами?“ Выслушав мое объяснение и узнав из него, что я из семинарии, он сообщил, что, по правилам, я могу экзаменоваться вместо французского из греческого языка у проф. Меншикова<sup>14</sup>, который-де никогда не ставит худого балла, и даже проводил меня в малую словесную аудиторию. Тут я нашел 5 - 6 абитуриентов, окружавших стол Меншикова, и немедленно подошел к нему. Оказалось, что я один только владел кое-какими знаниями; остальные же явились в расчете на доброту.

Мои знания оказались настолько солидными, что Меншиков уговорил меня поступить вместо медицинского на словесный факультет. Около месяца был филологом, а потом перешел опять на медицинский факультет.

\* Должно быть, действительно я хорошо знал греческий язык, если знаниями, приобретенными в училище, я удивил специалиста тем, что, помимо правильного разбора, я мог свободно переводить хрестоматию, правда очень легкую, почти без помощи словаря. А ведь я за 6 лет семинарского учения, кажется, и книги греческой не брал в руки. И теперь я еще жалею, что бросил древние языки; если б я хотя изредка штудировал их, то теперь - в одиночестве - наслаждался бы

---

<sup>14</sup> Арс. Ив. Меншиков (1807--1884)- эллинист, профессор Московского университета.

чтением в подлиннике Гомера, Софокла, Тацита, Вергилия и др. классиков.

Прощай же, бурса! Добром помянуть тебя очень не за что, но зато и лихом помянуть тебя я не стану. Говорят: все понять, значит — все простить. Я давно понял все твои слабые стороны и чистосердечно прощаю тебя\*.

Итак я семинарист. Помимо всего прочего я радуюсь этому, потому что розга больше не будет гулять по моему телу. В случае неудачного ученья я, как ритор, могу рассчитывать уже не на дьячковское, а даже на дьяконовское место. Это новая причина моей радости. Вообще, явившись в семинарию, я, несмотря на свои 12 лет, почувствовал, что я уже не мальчишка, которому чуть не всякий взрослый, причастный к бурсе, мог задать порку, а что тоже взрослый, хотя и не совсем.

## **ГЛАВА ВТОРАЯ**

### **В СЕМИНАРИ**

Приступая к описанию семинарской жизни, я спросил свою память, но ответ получил очень неудовлетворительный. Память моя, и без того сильно ослабевшая за последние годы, очень мало сохранила в себе картин, рисующих шестилетнее мое пребывание в семинарии. Да и сохранившиеся картины представляются в воспоминании в каком-то мутном, тусклом свете. Они менее яркие и отчетливы, чем картины из моей училищной жизни, хотя и имеют меньшую давность, чем последние.

\* Да это и понятно. Описывая бурсу училищную, в моей памяти более или менее отчетливо воскресали воспоминания о моем страшном нравственном падении, а ведь оно произошло не без борьбы, иногда крайне мучительной, которая должна была



оставить глубокие следы в моем мозгу. Совсем иначе я реагировал на семинарский строй. Еще в училище, как выше было сказано, я по уши погрузился в тину нравственного болота, а время и привычка сделали то, что я без всякого протеста, почти покойно валялся в этой тине, не сознавая своего позорного положения. Разнообразные явления, совершавшиеся в нашем муравейнике, не только не задевали меня, как говорится, за живое, но только скользили по мне, и если производили известные впечатления, то лишь минимальные, скоро забывавшиеся. Поэтому описания семинарской жизни будут иметь характер легких очерков или набросков без всякого хронологического порядка. В них еще чаще будут встречаться слова: кажется, насколько помню и под., а многие, совсем плохо удержавшиеся в памяти факты будут и совсем выкинуты из описания, чтоб действительность не окрасилась фантазией.

## ***1. Семинарские науки***

Предварительно чтения нижеследующих строк возведи очи свои горе и вознеси благодарение господу за то, что он сподобил тебя, в лице твоего закадышного друга С., приобрести вельми мудрого и зело ученого мужа. Воззри благоговейно на науки, которые он изучал в многомудрой семинарии, и вострепещи от ужаса, како толикое множество наук, яже суть и хитрости, возможе вместити глава его скорбная\*.

Вот тебе перечень наших наук, да и то, вероятно, не полный. Всеобщая история, русская история (изучавшаяся нами еще в бурсе по нелепейшему учебнику всего страниц в 40), алгебра, геометрия (тригонометрия не полагалась), основания землемерия, конечно без практики, а по книге, славянский язык, риторика, пиитика, основы стихосложения, основы красноречия, что-то похожее на историю русской литературы (иностранный не

полагалась), пространный катехизис Петра Могилы, психология, логика, метафизика, физика, ботаника, зоология, библейская история ветхого завета, библейская же история нового завета, история вселенской церкви, история русской церкви, патристика, гомилетика, герменевтика, апологетика, сельское хозяйство, медицина, литургика, церковная археология, богословие общее, свящ. писание, богословие догматическое, богословие пастырское, богословие нравственное, богословие обличительное, учение о расколе и миссионерство, языки: латинский, греческий, еврейский, французский, немецкий, татарский и черемисский.

Итого 46 наук на 6 лет. Чуть не забыл сказать еще о сочинениях на заданные наставниками темы. Сочинения задавались нам месячные и недельные. Назывались они то проповедями, то рассуждениями, то хриями простыми или превращенными, то периодами и т. д. Нередко нам приходилось писать экспромпты. Учитель прображничает ночь или страдает с похмелья, тогда он даст нам тему для экспромпта, а сам, облокотившись на руки, сладко дремлет. Едва пробьет звонок, как мы уже должны подать свои экспромпты, и на этом класс кончается. Учителя уносили наши сочинения домой, но вряд ли читали, ибо редко возвращали их.

За полноту и абсолютную точность перечня семинарских наук не ручаюсь, вполне возможно, что я некоторые и пропустил, но возможно также, что я из одной науки сделал две. Но, во всяком случае, их было более 40, а если исключить языки, как предметы необязательные, то наберется все-таки не менее 40 наук, а с училищными - и целая полсотня. Ты все-таки не пугайся очень глубокой учености твоего Савватия. Науки эти через несколько месяцев забывались; оставались только у койкого из семинаристов жалкие обрывки их, ибо преподавание их, за исключением лишь некоторых предметов, было из рук вон плохо; свирепствовала та же зубрежка, что и в училище. \* Когда

я по программе стал готовиться в университет, то оказалось, что я не знал, так сказать, азбуки светских предметов \*.

## 2. Учащие

Учащие были все академики. Кончившие академию со степенью магистра назывались профессорами, кандидаты же - просто учителями. Некоторые из них были даже действительно учеными людьми, только ученость их была безжизненна, суха и схоластична. Настоящих же хороших преподавателей, которые могли бы увлекать нас и возбуждать нашу любознательность, в первые четыре года моей семинарской жизни не было совсем. Только в эпоху пробуждения России от долгой спячки, когда с воцарением Александра II почуялись новые веяния, и в наше темное царство пробились светлые лучи в виде нескольких (2) юных профессоров. Но, ведь, одна ласточка еще не делает весны, так и эти единичные светлые личности не могли пробить рутину, пропитавшую насквозь весь семинарский строй жизни, и ступшеывались в общей массе профессоров. Масса же эта учила нас так, как и ее учили.

Объяснений уроков, по крайней мере объяснений толковых, не полагалось. Суть преподавания состояла в спрашивании заданных уроков, в постановке в учебниках скобок и, наконец, произнесении знаменательных слов: от сих и до сих. Большинство профессоров, видимо, тяготилось своей профессией и исполняло свои обязанности без увлечения, без любви к делу, часто по - казенному, да к тому же еще и порядочно ленилось. Уроки у нас были часовые, но наши преподаватели ухитрялись сократить их если не на  $\frac{1}{2}$ , то на  $\frac{1}{3}$  назначенного времени, чему мы были рады, конечно.

Надо прибавить еще, что многие предметы из категории так называемых светских не имели большого значения в глазах профессоров, которые относились к ним спустя рукава. Да, по правде сказать, и знакомство-то профессоров с светскими

науками было более чем поверхностное. Нисколько не будет преувеличения, если я скажу, что средний ученик гимназии 7 класса знал хоть, напр., математику основательнее, чем семинарский профессор математики.

Как ни абсурдно это положение, но оно верно и легко объяснимо. В академиях, назначение которых, главным образом, состоит в приготовлении профессоров для семинарий, нет, как в университетах, деления на факультеты. Однако студенты академий почти с первых же курсов облюбовывают тот или другой отдел преподаваемых наук и им по преимуществу и занимаются; из этого же отдела, посоветовавшись предварительно с профессором, они выбирают и темы для кандидатских и магистерских сочинений. Остальными науками, не входящими в облюбованный отдел, студенты занимаются настолько, чтобы не провалиться на экзаменах.

Что же касается до наук светских, то они и в духовных академиях никогда не обретались, да и теперь не обретаются в фаворе. Хотя нынешние монахи, составляющие, так сказать, ядро академий и дающие им тон, не говорят публично, что геометрия есть богомерзкое и еретическое учение, но все-таки они не далеко ушли от архиерея, так откровенно осудившего неповинную геометрию. И теперь еще заправила академий мудрость видят только в православных богословиях; светские же науки терпят, как необходимое зло.

По стопам начальства идут и студенты. Я от нескольких профессоров, как старых, так и молодых, слышал, что светские науки преподаются и прежде преподавались только, так сказать, ради декорации. „Не думайте, дескать, об нас, что мы совсем игнорируем общее образование и кроме богословия ничего и знать не хотим“.

При назначении учителей в гимназию, как бы ни самодурствовало начальство, однако оно никогда не позволит себе совершенно игнорировать подготовку кандидатов, оно не назначит филолога преподавать физику или математику, не

сделает моментально, по щучьему, так сказать, велению, историком.

Но невозможное для гимназии считается возможным в духовных заведениях. Студент академии, во все время пребывания в ней занимавшийся преимущественно отделом церковно-историческим, получает место профессора философии потому только, что такое место было в той или другой семинарии вакантно; специалист-богослов, по мановению синода, становится смехотворным математиком и т. д. Но бывают курьезы и почище: профессора, уроженца чисто русской губернии, не видавшего и не слыжавшего речи вятских инородцев, назначают профессором черемисского или татарского языка и делают его таким образом посмешищем для учеников, понимающих хоть несколько обыденных фраз из этих языков.

Не подумай, что я ради красного словца сгущаю краски. Вот на выдержку из многих немногие факты. Был у нас профессор математики Попов. Он был прекрасным человеком и законоучителем гимназии; его руководства по св. истории были общеприняты и вышли в десятках изданий; умер он в должности ректора семинарии и пользовался заслуженною любовью.

Воззри же теперь, каков он был, как профессор математики.

Был у нас товарищ средних способностей, но с математической жилкой; в умственном счислении он был маленьким, конечно, Диаманди, которым восхищается теперь ученая Москва. Учебники у нас были почти по всем предметам самые жалкие, да еще с массою опечаток. Был урок из алгебры; профессор, постоянно заглядывая в учебник, начертил на доске формулу, задал уроки собрался утекать домой. Но тут случилось нечто, ошеломившее нас: подошел к доске самородок-математик и убедительно доказал, что выведенная формула нелепа, что она доказывает совсем другое и что нелепость произошла от опечатки и т. д. Добрый профессор хотел было выпутаться, но

только очевиднее для всего класса выказал свое полное неведение, ибо оппонент нещадно припирал его к стене. Дело кончилось скандално; выбитый из всех позиций профессор вздумал подавить оппонента авторитетом учебника и своего профессорства, но этим только уронил себя в глазах класса, у которого долгонько должен был заискивать расположение.

А вот и другой факт. По программе для поступления в Московский университет в числе руководств по арифметике был указан учебник Буссе. Достал я его, стал штудировать, но на первых же страницах встретил затруднение, для меня непреодолимое. Буссе говорит о первых и непервых числах и не объясняет их. Порядочно и безрезультатно поломавши голову, я решил идти за разъяснениями к бывшему моему профессору, который все еще продолжал риторам преподавать математику (он был лет 6 математиком, пока не перешел в гимназию). Узнает он о цели моего прихода, удивляется, что я – богослов - задумал повторять арифметику, и наконец, ничтоже сумняся, изрекает: первыми числами называются числа от 1 до 10; а все остальные будут непервые. Чуть не вприпрыжку бегу я в город (я ради удобства подготовки из бурсы переехал на вольную квартиру), начинаю согласно новому объяснению решать задачи, но толку не выходит никакого. Занялся я чем-то другим, а задачи отложил до утра, рассчитывая, что на свежую голову преодолею как-нибудь затруднение. Ранехонько с Буссе и аспидной доской отправляюсь я в садик, находившийся при квартире, и из-за первых чисел забываю весь мир.

Вдруг слышу ласковый привет от молодого незнакомца. Из разговоров выяснилось, что он учитель математики в гимназии, живет во втором этаже того же дома, в нижнем этаже которого и я снимал комнату. Его симпатичная, открытая натура покорила меня. Когда рассказал я о своем горе с первыми числами, он так хохотал, что вместе с кашлем у него показалась даже кровь. Напоследок он зазвал меня к себе и в полчаса

сообщил мне столько, сколько в семинарии я не узнал бы и в полгода у своего математика Попова.

Этой светлою, прекрасною личностью был Шимановский [М. И. Шемановский], друг и товарищ Добролюбова [И. А.] по Педагогическому институту. Он предложил заниматься со мною ежедневно по часу, но я за все время отнял у него на математику не более 3 - 4 часов. Да более и не требовалось, ибо он так выпукло ставил основные положения, что, руководясь ими, я быстро прошел и с удовольствием всю математику и в университете получил за нее высшие баллы. Но для хороших разговоров мы виделись почти каждым день. Достаточно сказать, что мы разговаривали в конце 50-х годов, чтобы понять великое значение разговоров для меня.

Да, Шимановский бесконечно много повлиял на мое умственное возрождение; нравственное же мое возрождение совершилось несколько раньше и почти без его участия. Я, как святыню, берег два его письма ко мне в Москву и только в прошлом году в припадке бешенства сжег их вместе с своим дневником. За два года до смерти Добролюбова упокоился мой незабвенный друг Юлий от чахотки.

Однако пора вернуться в семинарию. Было в ней немалое число дельных профессоров, которые не принесли нам и сотой доли той пользы, которую могли бы оказать, если бы назначение их соответствовало бы хотя сколько-нибудь их специальности, призванию и наклонностям и если бы при назначении их на места играл роль не один случай. Случайно подобранные профессора опускались, смотрели на преподаваемые ими предметы, как на скучную обузу. Некоторые из них спивались (самые притом талантливые), другие ленились, как школьники, а всех их, вообще, скоро засасывала рутина.

Куда же глядел слепейший синод, в среде которого находились такие знаменитости, как московский Филарет и другие? Решительно не могу объяснить такой нелепый абсурд, как предоставление одному только случаю такого серьезного

дела, как замещение молодежью семинарских кафедр. Разумнее ли идет теперь это замещение - хорошо не знаю, но, кажется, это великое дело со времени 40 и 50-х годов мало двинулось вперед.

Страшный консерватизм, доходящий до обскурантизма, обрядовая нетерпимость духовенства, граничащая с фанатизмом (припомни отнятие детей у отцов-раскольников), и, наконец, схоластика, царящая и посейчас в духовно-учебных заведениях, дают мало надежды на улучшение семинарий в умственном и нравственном отношениях. Быть может, теперешние семинарии готовят лучших, чем в наше время, попов, но не людей. Мне кажется, что дух времени, который, несмотря на крепкие запоры, широкою струею врывается в 50-х и начале 60-х годов в семинарию, не мог не влиять благотворно и на питомцев ее, независимо от рутины, царившей в ней.

### ***3. Библиотека***

Библиотека семинарская помещалась в небольшом особом доме и, кажется, была не очень бедна книгами. Заведывал ею профессор - человек хороший, но крайне ленивый и совершенно халатно относившийся к делу. Поэтому книги приходилось получать не раз в неделю, как подобало, а через 4 - 6 недель; каталога я, по крайней мере, не видал; выбора книг не полагалось, а нужно было брать те, которые попадались под руку библиотекаря; исключения делались только для его любимцев, к числу которых я не принадлежал. Все это подрывало мое доверие к библиотеке, на которую я по переходе в семинарию возлагал много радужных надежд. Они ослабели еще более от сухости и безжизненности выпадавших на мою долю книг. Как на зло, мне выдавались самые скучнейшие слова и поучения разных иерархов.



Тебе, как незнакомому с литературой этого рода, я для характеристики ее скажу слова два. В виде пролога берется из св. писания какой-либо текст, который доказывается тоже текстами, нахватаемыми из того же писания. А затем в заключение следует какое-либо увещание православным христианам.

Я, 13 - 14-летний мальчишка, тогда уже понимал, что проповеди такие похожи на то, как если бы кто-либо сказал: Петров - хороший человек. На вопрос же: почему вы так думаете? последовал бы ответ: да потому, что Петров сам считает себя хорошим человеком. Понятно, что такая неотразимая аргументация не удовлетворяла мой пытливый, наклонный к скептицизму умишко, и я перестал читать проповеди.

Один раз только мне удалось получить светскую книгу и за чтение ее испытать немало горя. Книга эта, как сейчас помню, называлась „Сто русских литераторов" и была снабжена картинками и портретами. Кто-то из товарищей не постыдился вырезать несколько картин, а я, ничего не подозревая, в таком виде принес книгу сдавать в библиотеку. Библиотекарь усмотрел хищение и сообщил об нем инспектору и ректору; заварилось серьезное дело, и меня, ни в чем неповинного, начали тягать к допросам<sup>15</sup>. К счастью, приехал отец, уплатил

---

<sup>15</sup> Возможно, что Сычугов ошибается и пострадал даже не за вину товарища. К изданному в 1839 году первому тому сборника „Сто русских литераторов" были приложены две гравюры, изображавшие известного писателя-декабриста А. А. Бестужева-Марлинского. Узнав об этом, Николай I велел изъять гравюры из сборника, который продавался без приложений и в таком виде имелся в большинстве библиотек. Библиотекарь Вятской семинарии мог, конечно, не знать, что наказывает Сычугова за вину императора. За те же портреты пострадал разрешивший их к печати управляющий III отделением А. Н. Мордвинов, уволенный от должности по приказу царя.

стоимость книги и дал инспектору взятку (12 руб.). И тогда последовало до - нельзя суровое решение семинарского правления: мне запрещено брать из библиотеки книги, и я, кроме того, из первого десятка был перемещён в 3-й разряд, что считалось очень позорным. Положено было меня исключить, да взятка спасла. Все-таки целую треть я пробыл в 3-м разряде, а ведь вся вина моя состояла в том, что я не всегда книгу держал под замком, а мою оплошностью воспользовался негодяй.

И у товарищей редко видел я хорошие книги из нашей библиотеки; если иногда и удавалось получить кому-либо светскую книгу, то это было старье времен очаковских и покоренья Крыма. Вообще, начальство у нас косо посматривало на чтение светских книг.

Вот тебе для иллюстрации два характерные факта. \*Я начал говорить о библиотеке, а перешел вообще к чтению; это прыжок в сторону, но небольшой, да кроме того в моих воспоминаниях и не нужно искать строгой систематичности. Что припоминаю, то и заносу на бумагу\*.

Один из фактов касается лично меня. Когда библиотека стала для меня недоступной, а страстишка к чтению более интенсивной, я прибег к контрабанде, которая с большими предосторожностями доставляла из города кое-какие книги. Читались они крайне осторожно, ибо они были не библиотечные. Читал я во время классов и то с оглядкой, а более ночью, точнее говоря, ранним утром. Ради чтения я просыпался в 4 часа и безбоязненно читал весною и летом в кровати, а зимою в уголке за печкою. С той поры я и нажил привычку вставать в 4 ч., с которою не расстаюсь и посейчас. Если же с чтением нужно было уже очень спешить, то я читал и ночью. Часов в 11, когда раздавался общий храп, я из своего одеяла устраивал на койке нечто вроде палатки, зажигал сальный огарок и отдавался чтению до утомления.

Более года я так читал безнаказанно, но, наконец, попался. За вечерними местами я обыкновенно не читал, ибо

легко было чтением обратить внимание старшего. Но как-то, в необходимости поскорее возвратить книгу, я увлекся чтением во время мест, и „Отечественные записки" были секвестрованы старшим и представлены инспектору, который в тот же вечер прочитал мне длинную нотацию и взял с меня расписку, в которой я клятвенно обязался в семинарии книг светских не читать. Секвестрованную книгу мне не возвратили, да это было и не нужно, потому что хозяин книги был свояк инспектора - протопоп, сын которого и снабжал меня книгами. Вероятно, поэтому только я и отделался так дешево. Впрочем, история эта случилась, помнится, в 57 г., когда проникли новые веяния и в нашу глушь. Расписка устрасила меня не надолго, я только еще осторожнее стал читать, да книги пришлось брать в другом месте.

А вот полюбуйся и на другой факт. Перед летними каникулами в семинарии устраивалась уморительная комедия, именуемая : публичным экзаменом. Это не акт, а действительно экзамен, производящийся предметов из 10 - 12 в какие-нибудь 2 часа. По каждому предмету назначаются два лучшие ученика; а из предметов выбираются также 2, много 3 вопроса. И ученики и вопросы вносятся в особый лист, в котором против фамилии учеников поставлен и вопрос, который ему нужно предложить. Конечно, при таком фокусе и идиот может оказаться прекрасным учеником.

Комедию эту разыгрывали публично под дирижерством самого архиерея; зрителями были, начиная с губернатора, все важные чины в мундирах и рясах. И декорации были недурны: актовая зала убиралась зеленью и цветами, которые воровались семинаристами на крестьянских лугах, что нередко бывало причиною серьезных драк с крестьянами. С прибытием архиерея представление начиналось молитвенным гимном; затем архиерей брал означенный выше лист, и вписанные в него семинаристы, тщательно подготовленные к прекрасным ответам, начинали морочить публику, которая, хотя и вос-

торгалась громадной эрудицией учеников, видела все-таки отлично, что здесь ловко умеют товар лицом показывать.

Пока экзаменовались богословы и философы, дело шло прекрасно; даже я - тогдашний философ - получил от архиерея похвалу за аргументацию гегелевского положения: „все существующее разумно“, хотя мои собственные взгляды были и иные. Но когда дело дошло до экзамена из пиитики и риторики, то произошел безобразнейший инцидент. Примерно за год до этого поступил в семинарию молодой и очень либеральный профессор, друг Добролюбова, - Красовский<sup>16</sup>. Он назначил для экзамена, между прочим, разбор „Пророка“ Пушкина, того Пушкина, который обедню называл комедией, а ектению - галиматьей. Как случилось, что „Пророк“ попал в лист, я не знаю, но он произвел целую бурю. Едва только ученик начал декламировать „Пророка“, как архиерей, точно ужаленный, вскочил с своего председательского кресла и закричал на бедного Красовского:

— Как вы смеете в духовном заведении сообщать сочинение Пушкина? Вы развращаете будущих пастырей

---

<sup>16</sup> Ал - др Ал - дрович Красовский (р. 1829 г.) - окончил в 1853 г. Петербургскую духовную академию и через несколько лет назначен преподавателем семинарии в Вятке, где открыл библиотеку, книжный магазин и типографию. В 1863 г. был привлечен к делу о так наз. „Казанском заговоре“ по обвинению в распространении подложного манифеста и воззваний, приговорен в 1864 г. сенатом к каторжным работам, но в 1867 г. дело его, к тому времени еще не оконченное, было прекращено, а Красовский отдан под надзор полиции (ср. А. Ершов, в „Голосе минувшего“ 1913 №№ 6 и 7). В 1874 г. Красовский был привлечен к дознанию по делу о „пропаганде в империи“ (дело 193-х), и все его просветительские предприятия были закрыты. Другой воспитанник Вятской семинарии той же, приблизительно, поры, что и Сычугов, И. М. Краснощёров в своих „Записках разночинца“ (М. 1929, под ред. Б. П. Козьмина) дает яркую и интересную характеристику Красовского, говорит о большом и хорошем влиянии последнего не только на учащихся, но и на учителей семинарии.

церкви. Знаете ли, кто такой был Пушкин? Он - безбожник и поганец.

Затем досталось на орехи ректору, да зауряд и всем профессорам. Губернатор Муравьев, сын виленского, закрыл лицо руками на все время, пока архиерей изрыгал свою грозную и грязную тираду<sup>17</sup>. Сей приснопамятный ценитель Пушкина был архиерей Елпидифор, к имени которого духовенство придумало рифму: вятский вор, а свержение Пушкина с Олимпа и возложение на главу его тернового венца просвещенным архиереем совершилось в эпоху новых веяний, кажется в 57 или 58 г. Комментарии излишни. Да, сударь, жестокие у нас были нравы<sup>18</sup>.

## 4. Учащиеся

Учащиеся составляли довольно разношерстную массу в 500 с лишком человек, съехавшихся со всей громадной губернии

---

<sup>17</sup> Вятским губернатором в 1858—1859 гг. был Ник. Мих. Муравьев (1820—1809), сын знаменитого Муравьева-вешателя; в 1859 г. он был переведен! губернатором в Рязань, где с ним служил вице-губернатором М. Е. Салтыков, который писал про него в ноябре 1859 г. А. В. Дружинину: „у нас переменили губернатора и дали одного из сукиных детей Муравьевых" („Письма", Лен. 1924, 17); в 1863 г. Муравьев был губернатором в Ковне, где отличился при подавлении польского восстания в духе своего отца; о вятской деятельности Муравьева - в „Материалах для биографии Н. А. Добролюбова". I, 498; см. еще по указателю.

<sup>18</sup> Епископом вятским был в это время Елпидифор, в мире Ал-й Ив. Бенедиктов (1804—1800), воспитанник Петербургской духовной академии; считался образованным церковным деятелем; И. М. Краснопёров в своих „Записках разночинца" говорит о благотворном влиянии Елпидифора на его судьбу - архиерей избавил Красноперова от участи деревенского пономаря и дал ему возможность продолжать учение.

и обязанных жить, там и с тем, с кем прикажет начальство. Кроме вятского, контингент для семинарии доставляли еще пять духовных училищ; каждое из них имело свои специфические особенности, которые скоро сглаживались и в конце концов принимали ту окраску, которую имело вятское училище. Оно, как самое многолюдное и дававшее наибольшее число семинаристов, давало тон товарищам, поступившим в гимназию из других училищ. И так как ученики вятского училища слегка были уже мною обрисованы, то здесь придется добавить лишь несколько штрихов.

В южных уездах духовенство жило относительно очень богато, а потому и сынки его были людьми денежными. Я был сыном хотя небогатого, но все-таки состоятельного попа и при отъезде с каникул, за исключением последнего учебного года, когда я жил на квартире на своих харчах, никогда не получал на мелкие расходы более 15 - 20 коп. И это еще хорошо. У меня долго хранилось письмо отца-дьячка к сыну - моему хорошему товарищу, который ради праздников рождества и пасхи (на которые он оставался в бурсе) получил 2 гривны, т. е. 6 коп., на иголки, нитки, разные лакомства и при этом дружеский совет не заводить больших пиров.

Южные же, богатенькие семинаристы привозили из дому по 20 - 30 руб., а не копеек, да в учебное время частенько получали то 10, то 15 руб. с почтою. Одевались они франтовато; у некоторых даже было по 2 - 3 пары тонкого сукна, сапоги носили они не только с калошами, но опойковые, которые чистились ваксой и блестели, что для среднего семинариста считалось недоступной роскошью. Я, напр., и в университете еще ходил первые годы в смазных сапогах. Но что особенно составляло предмет зависти громадного числа бурсаков - это чаепитие вечернее богатеев, большинство которых имело свои самовары (казенных не полагалось) и даже чайные погребцы. К чаепитию в столовую нарочно ради богатеев, а их было около

полусотни, приходил булочник с соблазнительными для голодных бурсаков плюшками, пышками и пр. соблазнами.

Эти - то богатеи на первых порах задрали свои носы и на нас, обыкновенных смертных, посматривали сверху вниз и водили дружбу лишь между собою. Но и из нас сплотилась партия, которая не позволяла им наступать себе на ноги, и так как в среде своей она заключала немало способных людей, то богатеи скоро пред нею смирились и партийные недоразумения скоро же прекратились.

К несчастью, была еще третья партия, которая свою бестактностью роняла \* в глазах наших не только себя, но и богатеев, это - партия\* так называемых прихлебателей. Особенно коробило меня богатейское чаепитие. Вот поверхностное изображение его: картина представляет громадную в два света столовую, в которой между 4 и 5 час. в трех разных углах заседают чаепийцы: богословы, философы и риторы, отдельно друг от друга; около них толпятся прихлебатели, чающие подачки и завистливо и вместе жадно поглядывающие на богатеев. Эти последние, нагрузившись уже чаем, приглашают кое-кого из прихлебателей попить уже спитого чаю и дают им из своих рук по огрызку сахару, а иногда и кусок плюшки. Своим чаем богатеи нередко угощают и некоторых из лучших учеников-бедняков за какие-нибудь классные услуги, и вот тогда-то прихлебателям приводится играть особенно позорную роль: они становятся чем-то вроде лакеев, прислуживающих не только хозяевам, но и их гостям. С глупейшим чванством богачи отдают частые и ненужные приказания прихлебателям, которые готовы из кожи лезть, чтобы доставить удовольствие своим патронам.

Словом, на мой вкус, выходила до того омерзительная картина, что я в чайное время перестал ходить в столовую, несмотря на приглашения, иногда получаемые от того или другого богатея, присутствовать у него в качестве гостя.

\* Я не разбираю, кто из них лучше или хуже, но на меня обе стороны производили крайне несимпатичное впечатление\*. Никаких, конечно, социальных теорий я, при своем ребячем уме, не мог строить, но какое-то чутье подсказывало мне, что в таких отношениях богатых к бедным кроется много фальши и лжи, что в товарищество врывается, хотя и в зародыше, начало кабалы или по крайней мере извращение товарищеских отношений.

\*Все это меня уже тогда глубоко возмущало. Возмущались и другие некоторые товарищи и, кажется, искренно. Они, по крайней мере, поддерживали меня в бывавших изредка у меня стычках с прихлебателями и богатеями. Вот где кроется начало моей неприязни к богатству, к неравномерному его распределению, а также и личное стремление к независимости и избегание всякого рода одолжений, хотя бы они и предлагались добрыми друзьями. Здесь же лежит начало стремления к самоограничению, урезыванию своих потребностей до минимума, уменью довольствоваться малым, все это считалось, да и теперь я считаю необходимыми условиями для завоевания и сохранения полной независимости.

Теперь, прочитав эти строки, ты вероятно, снисходительнее будешь относиться к моей почти болезненной щепетильности. Однако не пора ли к делу\*.

Учащиеся не составляли одной сплоченной семьи, у которой, на первый взгляд, должно бы быть много общего в стремлениях и целях, не говоря уже о происхождении. Напротив, почему-то существовал непонятный для меня антагонизм особенно между богословами и философами. По какой-то давней и старинной традиции философы непременно должны держать себя гордо, как подобает настоящим философам, хотя они никогда и не нюхали еще настоящей философии, которая к тому же гордость не у места никогда не считала в числе своих принципов. На стороне богословов была



сила, орудиями которой служили старшие, назначаемые по два на каждую комнату из тех же богословов. Эти-то старшие и гнули строптивых философов в бараний рог, придираясь к каждой мелочи. Риторы или словесники были в пренебрежении у обоих старших классов; они играли роль париев; даже и кличка была дана им обидная; богословы и философы называли их не роторами, а лопарями.

Само начальство давало повод смотреть па роторов свысока. Отношение его к делу питания или кормления семинаристов было просто возмутительно. Плата за содержание, как я уже говорил, приблизительно была пропорциональна доходам наших отцов: попы за своих детей платили больше, чем дьяконы и дьячки. И это, конечно, было вполне справедливо. Та же справедливость, казалось, должна бы быть одинакова как для богослова, так и ротора; если они, как поповские дети, платили одинаково по девяти р. в треть, то и пища для них должна бы быть одинаковая. А эта-то элементарная справедливость постоянно и самым возмутительным образом нарушалась с ведома самого начальства. С целью хотя несколько обуздать грабеж эконома (из профессоров) и комиссара (из попов) еще до моего поступления в семинарию учреждены по столовой и кухне дежурные по два на каждый день. Интересно, что один дежурный был богослов, а другой философ; несчастные же роторы на дежурства не допускались. Кормили в семинарии скверно, а роторов даже хуже, чем учеников училища, где пища для всех, по крайней мере, была одинаково мерзка. В семинарии же богословы ели лучше философов, а философы - лучше роторов. Заботясь о брюхе товарищей, дежурный богослов уделял им лучшие куски мяса; куски похуже доставались философам, а жилы и болонь (брюшная часть) - лопарям. Самый жирный слой щей назначали дежурным и старшему по столовой, которые обедали особо; затем навар получше назначали богословам, попостнее - философам, а на долю роторов оставалось нечто вроде помоев. На дежурном философе

лежала обязанность на каждый круг отпускать в кашу масло. (Ели мы из общей чашки; шесть человек составляли круг.) За правильностью отпуска следил дежурный богослов. Существовали три мерки: самая большая для богословов, а самая маленькая (втрое меньше богословской) – для риторов.

О такой неравномерности мерок начальство не могло не знать, ибо оно само же их и покупало, да и пища нередко раздавалась в присутствии эконома. К этой узаконенной, так сказать, несправедливости дежурные примешивали еще мошенничество. Некоторые философы - масломеры были такими виртуозами, что ухитрялись риторам отпускать кашу совсем без масла: они меркой делали в ней только углубление, точно накладывали штемпель. Но не все так поступали; а все-таки самые добрые и справедливые вместо целой мерки отпускали  $\frac{1}{2}$  или  $\frac{3}{4}$  ее. И риторы помнили добро их, печатников же просто ненавидели, а изредка при случае и мстили им.

Вся эта мошенническая штука проделывалась с единственной целью послаще нажраться. И, действительно, любители поесть жрали тогда с каким-то остервенением, до отупения. В жратве участвовали, кроме дежурных, старший по столовой и читальщик - богослов, т. е. субъект, который во время обеда и ужина на середине столовой с чувством, с толком и напускным благоговением читал житие какого-либо святого. К трапезе часто присоединялся еще сениор, сиречь, главный старший - обыкновенно первый ученик из богословов. Да, если бы и еще присоединились к столу 2 - 3 чел., то еды хватило бы на всех. Вместо двух обыкновенных блюд: щей и каши, тут обязательно появлялось еще холодное мясо с хорошим, нарочно для дежурных приготавливаемым квасом. Жирного мяса во щях было столько, что его не съедали; каша же плавала в масле. И все эти блага получались за счет голодающих риторов, и никому из нас в голову не приходило, что подобное деяние гнусно! Возмущавшиеся риторы, перейдя в высшие классы, с легким сердцем проделывали то же, что и их предшественники.

Такова, видно уж сила традиции, санкционированная вдобавок авторитетом начальства, которое тоже, вероятно, следовало традиции. Критически относиться к ней оно не привыкло, да это было бы и невыгодно для него; ведь, тогда было бы очень уж неловко набивать свои карманы на наш счет. Справедливость нашего начальства рельефно обрисовывается в устройстве завтраков, до которых оно, конечно, не само додумалось, а получило свыше приказание давать их. Если не изменяет память, то завтраки были введены по инициативе того доброго ревизора - монаха, который во время оно был моим благодетельным гением при переходе моем из грамматики в синтаксис или 4-й класс.

Оригинальную штуку наше начальство выкинуло с этими quasi [якобы] завтраками. Они состояли из одного только черного хлеба, да и то не для всех семинаристов. Богословам выдавали мягкий хлеб и вволю; философам - более черствый и по ломтю на брата; риторам же - шиш, с надеждой по переходе в философию жевать по утрам черствый хлеб. Казалось бы, что риторы более других нуждаются в еде, так как это были юнцы в возрасте 12 - 16 лет с незакончившимся еще ростом и с потребностью в большем относительно количестве питательного материала.

Но у нашего начальства была своя логика. Под влиянием если не настоящего голодания, то недоедания у риторов выработалась тоже своя довольно оригинальная логика. Было немало между ними таких, которые нажили дурную привычку потреблять невероятно громадные количества пищи, а потому при скудной и невкусной семинарской кормежке они испытывали, кажется, постоянно чувство голода. Самое положение риторов, как я выше говорил, было крайне унижительное, а голод побуждал их еще более унижаться и даже выкидывать совсем уж некрасивые колена.

Тотчас по поступлении в семинарию я узнал, что лопарям завтраки не полагаются, но лично я на это мало обращал

внимания. При моей, нажитой с малых лет, привычке есть мало и довольствоваться тем, что дают, наш скудный стол был даже хорош для меня (по количеству, конечно), но меня отсутствие завтраков возмущало, как нарушение самой элементарной справедливости. Интриговало меня также то, зачем во время завтрака богословов и философов каждый день человек 25-30 риториков-товарищей направляют стопы свои в столовую. Как-то раз вслед за товарищами, в качестве зрителя, отправился в столовую и я.

Картина, которую я увидел тут, может быть нарисована не мною - реалистом, а вдохновенным художником слова или кисти. Без всяких притязаний на художественное изображение я начерчу ее лишь грубыми, аляповатыми штрихами. В громадной столовой два противоположные угла заняты ядущими и зло посматривающими друг на друга богословами и философами. Близ входной двери, но неподалеку от уголка богословов, стоит кучка риториков, с завистью посматривая на ядущих. Едва только богословы окончили свою скудную трапезу, как риторы с остервенением набросились на оставшиеся после них куски хлеба, а с другой стороны эти же куски, по повелению эконома и комиссара, желали заполучить для свиней своих патронов их служители. Произошла схватка, не обошедшаяся, конечно, без крепких словечек с той и другой стороны, кончившаяся в пользу риториков, так как на их стороне было громадное численное превосходство.

Подобные ежедневные стычки представляли собою только листочки, но бывали и очень часто ягодки и даже настолько крупные, что доходили до сведения эконома, а изредка и более крупного начальства. Утренний голод, как сказано, риторы утоляли крупицами со столов богословов, но, ведь, был еще и вечерний голод, который побуждал любителей обжорства на самые отчаянные выходки, кончавшиеся нередко жестокими побоищами, следствием которых бывали тяжелые раны и переломы костей. И об остроумных выходках, и о

побоищах составлялись легендарные рассказы, в которых к трагическому примешано было немало и комического, но насколько верны эти сказания, не знаю, ибо ни в одном из походов лично я не участвовал.

Объектами для грабежа, главным образом, служили погреба, подвалы и другие склады семинарской провизии, но семинаристы делали набеги и на окрестные деревни. Не щадили они ни огородов, ни дворов крестьянских; трофеями их набегов, помимо овощей, бывали куры, поросята и раз даже небольшая свинья. Все это сдавалось больничному служителю, который и готовил разные кушанья для хищников. Странные и дикие взгляды существовали у нас. Украсть что-либо у товарища считалось делом позорным; если вора иногда и не предавали в руки начальства, то ему плохо приходилось все-таки от товарищей; от него отворачивались, над ним издевались на разные лады, а нередко производили кулачную расправу. Воровство же и даже грабеж в деревнях или семинарских складах считались не преступлением, а лишь удалством, своего рода молодечеством. Таким грабителям бурса воздавала даже хвалу, да и сами они не только не стыдились своих подвигов, но еще гордились ими.

Пьянство между семинаристами развито было сильно, особенно в старших классах. Богатых учеников было немного, а под хмельком они становились добренькими и водочкой тогда охотно делились и с бедняками, не унижая даже последних. Сильно, а некоторые и до потери сознания напивались в годовые праздники. У богословов праздновался день Иоанна - богослова, а у философов – Иустина - философа. И бывало тогда утешение велие, как выражается о монастырских попойках церковный устав. Начальство, строгое в обычное время, в праздники на пьянство смотрело сквозь пальцы.

Но особенно грандиозных размеров пьянство достигало в дни отпуска на святки и на летние каникулы: начиналось оно слегка еще в городе, достигало же своего апогея на первых от

него станциях. Дикое и даже ошеломляющее впечатление на проезжающих производил поезд в 30 - 40 повозок с доброю сотней пьяных пассажиров, мчавшийся во весь опор с гиканьем, песнями и площадною бранью. Хорошее, должно быть, впечатление производили на народ эти оргии будущих его пастырей. Недаром же он и теперь злорадно величает семинаристов жеребьячьей породой, кутьехлебами и т. п. нелестными эпитетами.

Курьезный способ существовал тогда найма ямщиков. К концу учебного сезона даже у крупных богатеев царила пустота; смышленные ямщики знали об этом и недели за четыре до отпуска являлись в семинарию с довольно крупными капиталами, которыми и ссужали своих будущих пассажиров, за что, конечно, возвышали плату за проезд. Были артисты, которые, нанимая ямщика за пять руб., ухитрялись получать от него в задаток тридцать - сорок руб. И их отцы безропотно платили эту контрибуцию, освященную обычаем и временем; они отлично знали, что их сынки во время дороги за четыре - пять дней прокучивали по десять и более рублей, потому что и сами во время учения делали то же самое. Это было бы, пожалуй, еще небольшим баловством.

Гораздо хуже они поступали, приучая своих деток к ранней и систематической выпивке. Существовал нелепый обычай, в силу которого многие отцы время перехода своих сынков в философию, хотя бы им было не более 14 - 15 лет, считали подходящим для начатия выпивок и не только хладнокровно смотрели, как чада их в гостях нализываются до зеленого змия, но и сами дома их угощали вином, как полноправных граждан.

\*К моему великому счастью, мой отец иначе смотрел на дело: он не предлагал мне вина даже во время моего студенчества. И прекрасно поступал, конечно! Во время же ученья в семинарии я не знал и вкуса в вине. Винолюбие стало, особенно в последние десятилетия, выдающимся пороком

духовенства, по крайней мере в нашей губернии. Да и немудрено! Некоторые отцы чуть ли не любовно посматривают, как их сынки не только риторы, но даже ученики старшего отделения училища, т. е. мальчишки 12 - 13 лет, потягивают сначала наливочки, потом настоечки и сивуху\*.

Я был страшно поражен, когда в первые же годы вольной своей практики встретил несколько попов, моложе 30 л., заправских алкоголиков, для которых водка стала не меньшею потребностью, чем воздух. И все такие попики, как оказалось из расспросов, начали попивать, когда были еще мальчишками! Да и как не пить им?

Пример старших, их неимоверная снисходительность к выпивкам юнцов, масса соблазнов во время поповства и, наконец, едва не полная безнаказанность за пьянство - все это способствует его распространению. Если еще прибавить к этому непривычку к серьезному, содержательному чтению, а при стремлении к нему необходимость довольствоваться метафизическими измышлениями и в конце концов пустоту и скуку сельской жизни, то и будет налицо целый комплекс условий, побуждающих прибегнуть к утешительнице-водочке.

Не помню уже, кто из наших авторитетных антропологов высказал основательное, на мой взгляд, положение, что духовное сословие выделяет из себя в общество и государство относительно очень много здоровых умственно и нравственно и полезных элементов. Доказательств его я не помню хорошо. Если положение это верно относительно прошедшего и настоящего, пожалуй, времени, то оно едва ли будет справедливо для будущего времени. Влияние алкоголизма на молодое поколение начинает уже обнаруживаться. В 90-х годах случаи вырождения попадались нередко; в 70-х годах я их вовсе не наблюдал. Есть над чем призадуматься.

О разврате семинаристов много говорить нечего. Описывая бурсу, я немало краснел, говоря об этом предмете, и повторяться очень тяжело. Коротко скажу, что в семинарии к

противоестественному разврату иногда примешивался разврат, так сказать, естественный (хождение в [публичные дома]), да и противоестественно семинаристы грешили осторожнее и с меньшим цинизмом, чем бурсаки. Вследствие большей своей развитости первые старались прикрыть свои грехи от товарищей. Чувство стыда было у них выражено поинтенсивнее. Мальчишки же бурсаки часто не ведали, что творили.

Понятно, что пьянству и разврату предавались не все и даже не большинство семинаристов, но я погрешил бы против правды, если бы сказал, что порокам этим подвержены были только единичные личности. Определить число их в процентах, конечно, невозможно, хотя процент был и не мал. При приемном экзамене в семинарию происходила своего рода фильтрация: совсем бесталанные ученики и тупицы возвращались вспять и, главным образом, пополняли ряды дьячков, если только ранее не исключались из училища. Попадали в семинарию за взятки и отъявленные тупицы, но их было немного. Контингент семинаристов в подавляющем большинстве состоял из юнцов средних способностей. Лица с блестящими способностями, так сказать аристократия ума и талантов, были представлены ничтожным меньшинством (1-2 чел. на целый класс, т. е. приблизительно 10-12 чел. на 500 с лишком учеников). К тому же; добрая половина аристократов была бесполезна для духовного сословия вообще и, для духовных академий, выращивающих профессоров и архиереев, в частности. Некоторые аристократы за все шесть лет оставались незамеченными начальством; они плохо мирились с зубрежкой, схоластическими приемами преподавания и не только неважно учились, но еще критически относились и к наукам и к порядкам семинарским. Другие, относясь к делу тоже безучастно, поражали и даже раздражали профессоров неровностью своего учения: то они отвечают урок прекрасно, то стоят, как пни.

Неровность эту они особенно резко проявляли в своих сочинениях, которых задавалось нам уже очень много. То они



напишут на 10, если тема приходилась по душе, то на 3. Профессора злились, подозревали списывание из книг, плагиат, но доказать его не могли; вызвать же ученика на откровенное объяснение им не удавалось, ибо не обладали достаточным авторитетом, чтобы внушить искреннее к себе отношение. И те, и другие аристократы учились собственно для экзамена и переходили из класса в класс недурно. Была еще очень маленькая числом кучка аристократов, которые трудились неустанно и чрезвычайно добросовестно; они действительно знали семинарские науки, исключая только светские. Для них широко раскрывались двери академий, а если они еще поддавались соблазну поступить в монахи, то легко и скоро делались архиереями. Увлекались ли они метафизическими науками, любили ли их или занимались ими ради честолюбивых целей - решить не берусь.

\* Были у меня два приятеля - уже звездоносцы - один архиерей, а другой инспектор академии; свое недоумение я просил их решить, но категорического решения так и не добился. Что-то подсказывало мне, что уверения их о любви к наукам, пропитанным насквозь схоластикой, не совсем искренни. Впрочем, о вкусах не спорят \*.

Итак, в семинарии первенствовала, по крайней мере численно, золотая середина. Она не ставила себе вопросов ни об образовательном значении, ни о продуктивности изучаемых ею предметов, а только, ничтоже сумняся, более или менее ретиво зубрила. Кто из нее был поприлежнее, тот забивался в первый разряд и выходил со степенью студента семинарии, что давало некоторое право на получение лучшего поповского места. Впрочем, взятки пересиливали право, и часто бывало, что давший в консистории взятку второразрядник получал приход более богатый, чем студент. Второй разряд наполнялся более ленивыми, хотя иногда и гораздо более способными семинаристами.

Громадную роль играло, - пожалуй, даже большую, чем учение, - поведение, о качестве которого произносил безапелляционные приговоры всесильный тогда инспектор. Совершенно ничтожные проступки, вроде, напр., недостаточно низкого и, на взгляд инспектора, почтительного поклона, не совсем смиренного ответа, а особенно возражения, были достаточны, чтобы ученик из первого разряда перекочевал во второй, а то и в третий разряд, что было уже совсем плохо. Лишь детям богатых отцов, которые могли приносить крупные дары инспектору, сходили легко с рук и важные проступки, даже пьянство, за которое бедных большей частью исключали.

Ученье для золотой середины, строго говоря, состояло в бесшабашном зубрении; на понимание и усвоение выученного не обращалось решительно никакого внимания. Ответ своими словами, особенно из богословских предметов, считался чуть не ересью; в нем многоученные наши профессора видели недостаток уважения и должного благоговения к слову божиему и творениям св. отцов и учителей церкви. Даже за пропуск „и" сбавлялся балл. Само собой - разумеется, что такое учение плохо развивало умы молодежи, а вместо знаний более или менее солидных давало только жалкие их обрывки, которые оставляли в голове какой-то хаотический винегрет.

Нужно еще прибавить, что живые науки были в полном пренебрежении, а от излюбленных наук отдавало безжизненностью и мертвечиной. Неудивительно, что громадное большинство семинаристов к этим излюбленным наукам относилось без всякого интереса, по крайней мере духовного, и быстро забывало их вскоре по поступлении в попы. Да вряд ли очень интересовались ими и сами наши профессора.

Была возможность развиваться и заполнять недочеты семинарского образования чтением книг, но тут желающих читать встречали преграды. Из семинарской библиотеки редко удавалось получить порядочную книгу, от горожан же доставать книги было трудно - для этого нужны были хорошие

знакомства; к тому же книги не библиотечные преследовались строго начальством и даже секвестровались. Но эти препятствия, при настойчивости, которую приобрели некоторые из нас еще в бурсе, было бы не особенно трудно устранить.

Было другое, труднее одолимое препятствие, бороться с которым у громадного большинства не было возможности. Препятствие это заключалось в обилии предметов, которые мы обязаны были изучать. Ранее я представил перечень их приблизительно верный. Нужны были очень недюжинные способности и порядочное трудолюбие, чтобы поверхностно и на короткое хотя время запомнить, - о прочном усвоении я уже не говорю, - такую массу наук, да еще неинтересных и нелепо преподаваемых. Поэтому золотая середина, не желавшая провалиться на экзамене или хотя потерять в списке занятое место, из кожи лезла, чтобы вызубрить и бойко ответить заданные уроки, которые действительно были непосильно велики.

До чтения ли тут, когда не оставалось свободного часа, чтобы на дворе или в саду подышать свежим воздухом, а если кто отпраивался на прогулку, то не иначе, как с тетрадью или книгой. Только совсем обленившиеся юнцы, не очень заботившиеся о бойкости своих ответов и вообще учившиеся кое-как, имели час-другой для полного отдыха и для развлечений. Но этим лентяям чтение - занятие, притом необязательное, конечно, и на ум не шло. Итогируя вышесказанное, приводится с грустью сознаться, что умственный багаж, с которым семинаристы вступали в жизнь, был крайне легковесный. Становясь учителями народа, они не желали, да и не умели учить его; о необходимости самообразования они, за ничтожными исключениями, и не думали; школа не приучила их к любознательности. Мудрено ли, что у нас так много радеющих только о своих утробах попов и так мало симпатичных, преданных своему высокому служению, добрых пастырей!

В глубине своей души и в интимных разговорах семинаристы, несомненно, сознают, да и не могут не сознавать, что их умственный ценз очень не высок, а нравственные устои куда как не прочны. А, между тем, какое огромное гнездится в них самомнение. Если не принимать в расчет двуличность, роскошно культивируемую в школе, то трудно становится, особенно людям незнакомым с семинарским воспитательным направлением, понять, как мирно уживаются невежество с высокомерием.

\* Помнится, что где-то еще Пушкин отметил безграничное самомнение, как характерную черту семинариста<sup>19</sup>. Я сам им страдал до той поры, когда начал готовиться к университету, и по опыту знаю, до каких колоссальных размеров оно может доходить. И грустно и смешно даже теперь еще становится, как вспомнишь, что прохождение по программе азбуки, так сказать, настоящей науки разоблачило мое непроходимое невежество; мне стало тогда и стыдно и позорно за свое высокомерие. Вот уж подлинно можно было сказать - на грош аммуниции, да на рубль амбиции!\*

Все направление нашего воспитания и обучения клонилось к тому, чтобы развить в нас до *nes plus ultra* [крайней степени] гордое самомнение, тогда как по-настоящему следовало бы показать всю глубину нашего невежества и нашей нравственной испорченности, обнажить наши вонючие язвы и указать средства для их врачевания. Нам серьезно внушалось, что все трибуны и ораторы всего мира не стоили и мизинца Иоанна Златоуста, что в сравнении с Григорием Богословом всем католическим и протестантским теологам - грош цена; что

---

<sup>19</sup> Нападки Пушкина на писателей из семинаристов, в критических заметках и в эпиграммах, были связаны с именем Н. И. Надеждина (1804—1856), критика, публициста и профессора 30-х годов, учившегося в семинарии и духовной академии.

не только св. Иустин философ, но и Карпов<sup>20</sup> (проф. философии в Пет. дух. академии) были неизмеримо выше как новых, так и старых философов с самим Платоном во главе, что научнее Моисеевой космогонии не было, да и быть не может, что геология, палеонтология - сущий вздор, которому могут верить только дураки и идиоты, но довольно.

Я долго бы не кончил, если бы стал перечислять архиглупости, которые вращались в нашем обиходе и которые мы, при своей наивности и неразвитости, считали непререкаемыми аксиомами. Право же мы серьезно думали, что только семинариям да духовным академиям принадлежит право быть кладезями самой высочайшей премудрости, а что все другие не духовные учебные заведения сравнительно с духовными стоят ниже всякой критики.

Об университетах же в наше время существовало мнение, что это притоны разврата, якобинства и вольтеррианства, хотя никто из нас ни о Вольтере, ни о якобинцах и понятия не имел: так уж приучили нас петь с чужого голоса и беспрекословно, по - рабски преклоняться перед рекомендованными нам авторитетами.

Припоминаю один эпизод из того времени, когда я учился в богословии, но еще не решил окончательно бросить духовное звание. К этому времени было перечитано мною уже много книг и светских журналов, сильно колебавших мое семинарское мировоззрение. Где-то вычитал я и крепко осмыслил понравившийся мне афоризм знаменитого Бэкона: истина есть дочь времени. И дернула же меня нелегкая эти слова поместить в заданное нам сочинение! Разразилась тогда целая буря; задавший сочинение профессор представил его в правление с просьбой судить меня по всей строгости законов,

---

<sup>20</sup> Вас. Ник. Карпов (1798—1867) - философ идеалистического направления; окончил Киевскую духовную академию; переводил Платона; выпустил несколько самостоятельных трудов по философии и психологии.

как злоумышленного еретика. Плохо бы пришлось мне, если бы, к счастью, не выручил меня другой молодой профессор, бывший тогда секретарем. Он хорошо ко мне относился, а главное был другом очень любившего меня бывшего профессора Красовского. Гавриил Яковлевич, так звали секретаря (а фамилию забыл), призвал меня к себе и после долгих разговоров указал на средство выпутаться из беды<sup>21</sup>. Подробности забылись, но помню, что я при допросе должен был заявить, что возмущаюсь еретическим афоризмом Бэкона и что недоразумение произошло единственно от описки и недосмотра моего. Кажется, я сослался на пропуск какого-то слова. Правление удовлетворилось моим объяснением, - и я, опозоренный перед своею совестью за постыдное ренегатство, имел еще дерзость приравнивать себя к великому Галилею и утешаться этим.

С половины 80-х годов духовенству предоставлена не очень-то приятная для него роль просветителей народа в церковном духе. Роль эта, в связи с разными поощрениями, еще усилила семинарское высокомерие. \* Мне часто приходилось наблюдать его в молодых попиках и мне всегда приятно было в самой вежливой форме выставить на вид их неразвитость и умственное убожество и таким путем сбивать с них спесь. Во время этих бесед меня особенно неприятно поражала нетерпимость к чужим взглядам и убеждениям, какой-то крайне несимпатичный фанатизм, побуждавший попигов говорить против очевидности и даже простого здравого смысла. Общий вывод тот, что \* самомнение духовенства теперь стало сильнее, хотя оно и маскируется напускным христианским смирением. Но довольно.

---

<sup>21</sup> Гавр. Як. Порфирьев, брат известного казанского профессора словесности, один из передовых преподавателей Вятской семинарии.

## **5. Развлечения**

В семинарии сами семинаристы, с дозволения начальства, устраивали развлечения, более или менее облагораживавшие нас. В каждом классе был организован оркестр из шести человек. Это число было, так сказать, официальное, но помимо его в каждом классе было еще несколько музыкантов-добровольцев. Инструменты и ноты приобретались на пожертвованные нами гроши, а частью на деньги, заработанные самими музыкантами. За небольшую плату они играли на свадьбах, балах и даже в клубе. За все время моего пребывания в семинарии оркестр богословов был особенно хорош, так как участвовавшие в нем имели больше времени совершенствоваться в игре. Изредка встречались и настоящие музыкальные дарования. Были у нас еще два очень недурные хора певчих, сформированные для пения в церкви, но они знали не одно церковное пение и своим искусством доставляли нам немало удовольствия.

В последний год моей семинарской жизни устроился даже один спектакль, конечно, втихомолку. Играли „Женитьбу” Гоголя, и я даже отломал роль Яичницы. Хотя актеров, несмотря ни на какие ухищрения начальства, и не удалось отыскать, но самые сыски были так настойчивы и назойливы, что дальше одного спектакля дело не пошло.

Об играх на вольном воздухе и в комнатах говорить не стоит; они были почти те же, что и в училище. Бои с мещанами и гимназистами старших классов были очень ожесточенны, сопровождалась иногда увечьями, но они практиковались реже, чем в бурсе, а с новыми веяниями и совсем прекратились.

Хочется мне сказать несколько слов об одном приятном и очень мне памятном развлечении, о котором в гимназиях и понятия не имели и которое в самих семинариях не практикуется уже слишком 40 лет. Эти развлечения назывались

рекреациями, которых полагалось не более 12 в год, а именно: в мае часов в 5 вечера, если приметы предвещают на другой день хорошую погоду, несколько семинаристов, любимцев инспектора, просят у него позволения сходить в город к ректору за рекреацией. По получении дозволения составляется группа ходяков человек в 10 - 12 и отправляется версты за три в монастырь, где жил ректор<sup>22</sup>. Группа останавливается перед окном кабинета или перед балконом и жалобно начинает завывать хором: „Carissime, doctissime, sapientissime pater Rector! Da nobis recreationem!<sup>23</sup>” Иногда это завывание приходится повторять раз десять, пока из окна услышано будет радостное: „do” [даю].

Ходоки мчатся обратно в семинарию, подбегают к колокольне и начинают оглушительно трезвонить. Рекреация началась: семинаристы моментально выбегают на двор, и начинаются всевозможные игры, продолжающиеся до ночи. На другой день ранним утром вся семинария уже на ногах; всякий спешит воспользоваться свободой, сообразно своим склонностям: одни идут в поле и луга, другие - в лес; третьи направляют свои стопы в деревни, чтобы побаловаться майским молоком; четвертые отправляются в город, чтобы оповестить квартирных товарищей и знакомых и т. д.

Во дни рекреации свобода простиралась до того, что можно идти куда угодно, не спрашиваясь у начальства. К обеду возвращаются почти все семинаристы, а после него начинаются опять игры, а часов с 4-х, когда наберется достаточно городской

---

<sup>22</sup> Ректором Вятской семинарии был тогда настоятель вятского Трифонова мужского монастыря архимандрит Амвросий, лицо влиятельное в губернии. Он был отцом учителя семинарии А. А. Красовского, о котором см. по указателю.

<sup>23</sup> „Дражайший, ученейший, мудрейший отец ректор! Дай нам рекреацию!” Рекреация - буквально: перемена, промежуток между уроками.



публики, начинают греметь три оркестра, помещенные в разных местах обширного двора на импровизированных наскоро эстрадах, и заливаются соловьями хоры и солисты. Певцам и музыкантам от публики перепадает и малая толика деньжонок. Вообще, во время рекреации все семинаристы, не исключая даже самых хмурых и нелюдимых, отдаются беззаветно и душой и телом безмятежному веселью.

## **6. Наказания**

Самое страшное наказание для семинаристов – это исключение. Оно назначалось за дерзкое неповиновение, что случалось, впрочем, очень редко. Главным же образом, им каралось повторное пьянство. Иногда исключали и за единичную, случайную, можно сказать, выпивку, если провинившийся и ранее почему-либо был на дурном счету у инспектора и особенно, если он был бедняк или сирота. Богатеям же и повторное пьянство сходило с рук, но зато и обходилось не дешево. Один мой родственник - сам мне рассказывал, что выручка своего вообще трезвого сына стоила ему двух жеребцов, т. е. около 170 р. И наживались же наши всесильные инспектора! Громко, напр., говорили, что у одного из них, занимавшего это тепленькое местечко менее 10 л., пропало в скопинском<sup>24</sup> банке 30000 руб.; служба же его оплачивалась, кажется, 900 руб. да готовою квартирою - и только. К тому же был он многосемейный и жил не скупо.

Розги в семинарии не полагались. Ставление на колени, отвешивание поклонов и лишение обеда практиковалось только

---

<sup>24</sup> Провинциальный банк, который в конце XIX века потерпел крах вследствие злоупотреблений его руководителей, что повлекло за собой потерю очень многими вкладчиками их сбережений.

в классе риторов. На их же долю выпадала отборная брань, а иногда и рукоприкладство. Бранью, более прилично только, и тошнотворными наставлениями, унижающими человеческое достоинство, допекали и инспектор и некоторые профессора учеников и старших классов. Богословов, впрочем, бранили очень редко, но ехидные издевательства не оставляли и их в покое.

Более серьезным наказанием для богословов и философов считался голодный стол, технически называвшийся, неизвестно уж почему, букетом. Само начальство, назначая это наказание, говорило: садись за букет на столько-то дней или недель. Для букетников по середине столовой ставился небольшой стол и табурет, на стол подавался только ломоть хлеба и кружка воды, до которых букетник обыкновенно не дотрагивался, как бы он голоден ни был... Это насильственное голодание считалось своего рода шиком. Сам букетник и выражением лица и позами корчил из себя разочарованного, с презрением ко всему окружающему относящегося субъекта. Если он имел в кармане деньжонки, то ломоть хлеба так и оставался на столе; в случае же безденежья голодный выжидал выхода из столовой семинаристов и потом, схватив свой кусок, с мрачным видом возвращался в корпус. Для богословов же сидение на букете, иногда доставляло возможность сладко поесть. Если только дежурный старший по столовой был приятелем букетника, то последний после общего обеда приглашался принять участие в обильной трапезе совместно с дежурными по кухне, которым не было нужды протестовать, ибо жратвы было достаточно.

Было в мое время еще одно курьезнейшее наказание, применяемое только к богословам и философам и составлявшее специфическую особенность, кажется, одной только нашей семинарии. По крайней мере, мне не доводилось слышать о существовании его в других семинариях. Наказание это носило характерную кличку –

ссылки на поселение. Провинившийся в каком-либо довольно важном поступке выслушивал грозный приговор инспектора: на поселение в такой-то номер. (Номерами, с прибавлением той или другой цифры, назывались комнаты, где мы готовили уроки и проводили вообще внеклассное время. Этими же цифрами обозначались и спальни.) Приговоренный к ссылке, по заявлении об этом старшему номера, переселялся со всем своим хламом на новое место жительства. В номере ставился для него особый столик для занятий; кровать же его помещалась неподалеку от кровати старшего.

В классах ссыльные занимались вместе со своими товарищами, вместе же с ними и ели; все же остальное время они должны проводить на месте поселения.

Срок ссылки был не одинаков: колебался он в пределах 2 - 6 недель, иногда сокращался, а иногда удлинялся по усмотрению инспектора. Философов ссылали только к риторам; богословов же поселяли в номера не только риторам, но и философам. Ссылно - поселенцев иногда в одном номере скапливалось по несколько человек, особенно у риторам. Такое обилие ссыльных объясняется тем, что наказание это чаще всего назначалось за табакокурение, которое было довольно сильно распространено у нас. Философам в ссылке жилось не важно; богословы же на поселении чувствовали себя прекрасно, особенно, если номерной старший был приятель им. Тогда некоторые любители выслуживаться перед старшим старались разные услуги оказывать и ссыльным.

## ***7. Выдающиеся случаи из моей семинарской жизни.***

Наша семинария расположена хотя и не в городе, а в версте от него, но на таком низменном и окруженном болотами

месте, что заболеваемость и смертность ее воспитанников были настолько велики, что бросались в глаза и питерскому и местному начальству. Более 50 лет идет переписка о переводе семинарии в другое, более здоровое место, но она и посейчас стоит непоколебимо в низине. Помню, что частенько приводилось отправлять товарищей на кладбище, хотя и не могу эту частоту выразить в цифрах. У нас существовал обычай, в силу которого, тотчас же по смерти ученика, начальство командировало в больницу 12 его товарищей по классу для чтения псалтыря. По установившемуся обычаю около покойника, чтобы не страшно было одному читальцу, должен в той же мертвецкой обязательно присутствовать другой товарищ. Остальные в ожидании смены балагурили в кухне или в больничных палатах.

\*Я с раннего детства приучен был дедом не бояться покойников и потому сказал товарищу, что могу остаться один. Товарищ ушел, а я с увлечением принялся за чтение поэтических псалмов. Во время передышки я заметил, что в одном из подсвечников, стоявших по сторонам покойника, догорела свеча, и едва только я зажег новую свечу, как рука его моментально, скользнув по моей груди, повисла с боку стола, на котором он лежал. Не имея и понятия об околении, я ошалел и закричал благим матом. На крик сбежались товарищи, но, увидя, что руки покойника лежат не обычно на груди, а как бы растопырены, перепугались чуть не больше меня. Подняли переполох во всей больнице, который кончился лишь только тогда, когда явился служитель – старый воин – и объяснил, что такие, дескать, оказии бывают.

Другой случай был посерьезнее, так как довел меня до беспамятства. Произошел он также в мертвецкой и при тождественной почти обстановке. Я, облокотившись на налои и дремля, вяло читал псалтырь и с минуты на минуту ждал смены, так как пробило 12 час. ночи. Уже послышались шаги товарищей, шедших сменить меня, но в это мгновение белый

саван срывается с покойника, тушит свечи и покрывает меня. Я очутился во тьме кромешной, а что далее было со мной, не помню. Очнулся уже на большой койке и в мокром платье. На другое утро похождения савана легко объяснилось. Покойник лежал головою к окну, в котором была открыта форточка, занимавшая два верхние стекла; порыв ветра поднял саван, который затушил на пути своем свечи и закрыл меня, стоявшего у ног покойника\*.

## ***8. Религиозное настроение семинаристов***

Едва не забыл я упомянуть о степени религиозности будущих проповедников религии. Серьезным и искренним религиозным чувством, если обладали некоторые, то во всяком случае очень немногие семинаристы. И во мне это чувство не было не только воспитано, но даже и посеяно, а ведь я имел в высокой степени разумного воспитателя в лице деда, чем мои товарищи похвалиться не могли. Для громадного большинства семинаристов (об исключениях я не говорю) вся религиозность состояла лишь в исполнении обрядов, длинных молитв и пр. или другими словами, на место религии, как великой руководительницы нашей частной и общественной жизни, поставлена церковность.

Вспоминая бывших моих товарищей и присматриваясь к жизни духовенства, с которым мне приводилось и приводится встречаться, так и хочется повторить слова пророка Исаии, говорившего евреям от лица бога: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Словом, обрядность заела религиозное чувство.

\* Ради иллюстрации, я упомяну о моем родственнике – священнике, которого простодушная публика считает благочестивым, а начальство благочестие его поощряет

наградами. Сей батько запрещает строго пить чай до обедни своей жене, хотя питье его составляет для нее положительную необходимость. Сам он, конечно, до обедни, если даже и не служит ее, капли воды не возьмет в рот, а вечером в этот же праздник напивается до одурения и безобразничает. Так ведется жизнь десятки лет: утром в праздник благочестие, а вечером нечестие\*.

Дисгармония между словами и делами проявляется, к сожалению, у большинства попов. Досадно даже становится, когда священник, за обеднею с чувством, хотя и напускным, красноречиво проповедующий о высоком значении милосердия, после обедни безжалостно отнимает

у своего духовного сына последний грош, когда после поучения своих прихожан всегда говорить правду через час-два после этого их же обманывает и т. д. и т. д. Совсем бы тошно было жить в деревне, если бы хотя изредка не встречались истинно добрые пастыри. Грустно заглянуть в будущее! Как не поймут наши батьки, что крестьяне уже перестают быть кроткими и послушными овцами, а начинают критически относиться к своим пастырям и замечают рознь между их словами и делами?

Новые веяния конца 50-х годов, несмотря на разные со стороны начальства преграды, проникли все-таки и в семинарию и вызвали крайне уродливые явления. Семинаристы, не прочитавшие, кроме учебников да профессорских записок, ни одной книги, вдруг стали либеральничать, не понимая совсем или понимая превратно самое слово либерализм. Замечательно, что у очень многих либерализм начался с самого нелепого, ни на чем решительно не основанного атеизма. Десятки семинаристов разглагольствовали вроде того, что Христос был только умный человек, что нет ни бога, ни загробной жизни, что таинства выдуманы попами с целью наживы, и пр. глупости. Глупо это было особенно потому, что говорилось с чужих слов, которые без всякой критики принимались на веру, как неоспоримые аксиомы. Таких либералов нетрудно было убедить сегодня в

одном, а завтра в другом, совершенно противоположном, т. е. не убедить, а просто оболтать, ибо об убеждениях тут не могло быть и речи. Из десятков этих новоиспеченных атеистов было не более 2 - 3 человек, которые сделались отрицателями более или менее сознательно, не без серьезных размышлений. Главная же масса семинаристов не принимала никакого участия в болтовне о разных религиозных вопросах, а слепо верила и, строго говоря, индифферентно относилась к религии и, ничтоже сумняся, исполняла ее обряды. Спустя много лет мне пришлось встречаться с некоторыми товарищами, а о других получать сведения из верных источников. Оказалось, что из бывших атеистов вышли священники лучшие, чем из товарищей индифферентных и совершенно непричастных к вольнодумству. Что сей сон означает?

## ***9. Сказание о моей особе***

Наконец-то я приблизился ко времени, в высокой степени знаменательному и вечно памятного для меня, - ко времени моего перерождения или возрождения духовного. Но ведь оно совершилось не по мановению волшебного жезла, а постепенно.

Поэтому необходимо сделать несколько предварительных замечаний. Еще до поступления в семинарию я прочитал очень немало книг. Читал я без руководителя, выбор книг зависел вполне от случая; читал и такие книги, которые превышали мое понимание; одним словом, чтение мое было вполне безалаберное. И, однако, оно принесло мне немало пользы, быть может даже более, чем можно было ожидать при его бессистемности.

Не имея руководителя, я, чтобы добиться какого-либо толку от чтения, должен был много размышлять, доходить до многого своим умом. Это было первою стадией в моем самообразовании, и если бы в семинарии я нашел достаточно

книг и особенно книг подходящих, то мое самообразование пошло бы ровно и постепенно, без долгих перерывов и уклонений в стороны. Но видно не наступило еще время для моего нормального развития, а потому и духовного возрождения. Мне пришлось еще долгое время купаться в грязном и вонючем болоте. При первом же знакомстве с семинарией я увидел, что возлагавшиеся мною на нее надежды призрачны, что она, как и училище, не отвечает неясно копошившимся в моей голове требованиям. Но если бы кто-нибудь приказал мне отчетливо высказать мои надежды и формулировать мои требования, то я положительно встал бы втупик. Смутно скорее чувствовалось, чем сознавалось, что творится что-то неладное, а в чем состоят нелады - для меня было тогда неясно.

Очевидно, что чтение и размышление привели в движение критическую жилку, но до серьезного критического взгляда на окружающее было еще далеко, да он и не под силу был моему все-таки ребячьему еще уму. Я часто ставил себе вопрос: почему семинария, с ее профессорами и всеми ее порядками, не только не удовлетворяла меня, но возбуждала отвращение к себе, а между тем товарищи мои были довольны ею. Пробовал было мучившие меня мысли поверять некоторым товарищам, которых я считал наиболее дельными, но и с их стороны не встретил сочувствия; они в достаточной степени усвоили себе философию Панглосса<sup>25</sup> и безропотно мирились со всякими безобразиями.

Волей-неволей пришлось замкнуться в себе. К окружающей меня среде я относился чуть ли не с омерзением. Я почти перестал совсем готовить уроки из некоторых особенно

---

<sup>25</sup> Герой повести Вольтера „Кандид или оптимист“ (есть много русских переводов), учитель Кандида, которому он внушал примирение с действительностью под лозунгом: „все к лучшему в этом наилучшем из миров“.



ненавистных предметов, да и по остальным учился неровно: то получал высшие баллы, а то и дубины. Внешних стимулов, побуждавших в былое время быть поприлежнее, теперь налицо не было; до переводных экзаменов было далеко; профессора спрашивали урок редко, так как я был тогда в числе отпетых, т. е. сидел в 3 разряде, куда попал совершенно невинно (из-за книги казенной, в которой кто-то вырезал картинки). А потребность в саморазвитии, как на зло, в это время не только инстинктивно чувствовалась, но и отчетливо сознавалась.

Выше я говорил уже о наших профессорах и их преподавании. Ясно, что преподносимая ими наука, да еще под специфическим соусом, не могла удовлетворить моей любознательности; доступ в библиотеку был для меня закрыт. Меня стало одолевать какое-то особое, ненавистное для меня и теперь состояние духа, которое я и назвать не умею; помню только, что оно было очень тяжело. Тогда-то мне удалось в городе завести знакомство, благодаря которому я долго мог пользоваться хорошими книгами.

По странной иронии судьбы в это-то именно время новый знакомец снабдил меня „Героем нашего времени" Лермонтова. Нужно ли говорить о впечатлении, произведенном на меня Лермонтовым после чтения равных поучений и проповедей? Я просто тогда ошалел. В том состоянии, в котором я находился, мне нетрудно было вообразить себя в некотором смысле Печориным, - и я корчил его. Воображаю, как уродлив, как карикатурен был 14-летний мальчишка, почти незнакомый с жизнью или знавший ее односторонне, в роли разочарованного Печорина.

Как бы то ни было, мое тяжкое, равнодушное отношение к окружающему благополучно разрешилось. А потом в нашу душную атмосферу ворвалась струя свежего воздуха в лице нового профессора, вечно памятного мне А. А. Красовского, только что кончившего Петербургскую академию. Во время ученья в ней он сблизился с Добролюбовым и, конечно,

поддался его благотворному влиянию<sup>26</sup>. Многие из нас были положительно увлечены его хотя и неглубоко ученым, но живым и искренним словом, которое, при мертвяще - рутинном преподавании других наставников, обаятельно действовало на нас и особенно на меня. Усыпительная и безжизненная риторика уступила место неслыханному прежде курсу русской словесности, правда очень поверхностному, и не решавшемуся еще касаться новых авторов. Контрабандным путем изредка только приводилось слышать в классе и отрывки из образцовых произведений, а равно и слабенький разбор их. Вместо периодов, софизмов и хрий, простых и превращенных, Красовский стал давать для сочинений как недельных, так и экспромптных темы, касающиеся природы и жизни.

Такое вольнодумство сходило ему; пока с рук, потому что отец его был ректором семинарии, хотя товарищи его и кое-кто из начальства и косо посматривали на его новшества. После же рассказанной выше истории с Пушкиным - поганцем Красовскому пришлось и совсем плохо. Его удалили из семинарии не очень деликатно. К счастью нашему, да и г. Вятки, отец Красовского ссудил сына, уже изгнанного из профессоров, капиталцем. Капиталу этому Красовский дал самое разумное употребление; он основал небывалое еще в Вятке учреждение - публичную библиотеку, которая скоро приобрела огромную популярность. На своем новом, непроторенном еще пути Красовский встретил не мало шипов; явились подвохи, нашлись завистники и доносчики, и ему, бедняге, пришлось вынести немало горя, особенно в эпоху начавшейся реакции, т. е. после 61 года. Красовского возили, допрашивали, сажали в не очень веселые места, но, за

---

<sup>26</sup> Красовский окончил Петербургскую духовную академию в 1853 г. - в год приезда Добролюбова в Петербург, и сблизился с ним значительно позже, когда приезжал в столицу по делам своей вятской библиотеки; об этом в „Записках разночинца" И. М. Красноперова.

недостатком улик, которых на самом деле и не было, отпускали домой.

Когда держать библиотеку стало трудно, он открыл типографию, когда же и она оказалась подозрительной, он основал книжный и писчебумажный магазин.

Спустя много лет меня потянуло на родину лечить своих земляков, Едва только я в качестве врача устроился на Великой реке, как тотчас же направился в Вятку повидаться с своим другом. Я нашел Красовского мирно и ни для кого, кажется, необидно торгующим купцом и арендатором городской земли, на которой он устроил образцовую сельскохозяйственную ферму, купленную потом земством и благополучно существующую и теперь с большою пользою для населения.

Казалось бы, мирного коммерсанта незачем было тревожить. Но вышло не так. Не раз его беднягу, в 70-х годах, тревожили голубые люди [жандармы] с прокурорами, во главе, рылись и в магазине и на ферме, отыскивая какую-то тайную типографию, об устройстве которой мы и не думали. Впрочем, время тогда было тревожное, и подозрительность начальства была вполне естественна. Уж, кажется, я легальный и политически благонадежный гражданин, а все-таки в это время не избежал визита голубых гостей, которые, с изысканной любознательностью не только осмотрели, но и ощупали, так сказать, весь мой дом и на память о своем визите увезли у меня несколько книг и моего двоюродного брата. Спасибо им еще, что не потревожили мою жену, родившую только за несколько часов до их прибытия.

Умер Красовский холостым во время моей службы во Владимире. Вечная ему память! Я так долго остановился на нем потому, что он в значительной мере способствовал моему возрождению.

Памятно мне первое знакомство с этим дорогим человеком. Задал он нам недельное сочинение на тему, мне понравившуюся. Сам Красовский полюбился мне за его

преподавание и простое обращение, чуждое важности и напыщенности. Над сочинением я постарался, получил высший балл, но этим самым и возбудил подозрение Красовского; ему думалось, как он сам после говорил, что сочинение написано каким-либо учеником старшего класса, так как оно было уже очень хорошо, а я сидел тогда хотя и во 2-м разряде, но недалеко от 3-го.

Чтобы проверить меня, Красовский задал экспромпт (который писался не выходя из класса), и сомнение его рассеялось; я получил 10. Через несколько времени дана была какая-то сухая тема для изложения в виде хрии превращенной, и я получил, помнится, только 3; Это озадачило Красовского; он наедине спросил меня: что значат такие крутые скачки в баллах? Я по мере разумения объяснил их характером тем; расспрашивал он меня и о многом с желанием изучить меня, а на прощанье даже пожал мне руку, что привело меня в восторг и в смущение: так необычно это было у нас.

Знакомство состоялось перед экзаменом. Я перешел в философию, но неважно, ибо только у Красовского получил высший балл; из остальных же предметов отвечал плоховато. Примерно на полгода я потерял Красовского из виду. Затем, кажется по болезни профессора, Красовскому поручили временно преподавать нам логику и психологию. Преподавание его было ясно и занимательно; я стал исправно готовить уроки не только по этим предметам, но и по многим другим. С сочинениями моими повторялась прежняя история: были тройки, но больше высшие баллы. К общему нашему сожалению, настоящий профессор выздоровел скоро, а Красовский стал опять преподавать риторам. Но во время его занятий в философии я настолько полюбился ему, что получил приглашение быть у него на квартире, чем, конечно, поспешил с радостью воспользоваться.

Приглашение пришлось для меня и особенно кстати: у городского моего знакомого я перечитал почти все книги, а у

Красовского нашел большую и прекрасно подобранную библиотеку. Он не только дал мне книг, но, предварительно узнав, что я читал, составил для меня список книг, которые следовало далее читать. Мало этого. Он сам привозил книги в семинарию для меня и одного ритора и хранил их до нашего требования в кабинете своего отца, ректора, ибо часто ходить к нему, на квартиру было далеко. Я все-таки каждый праздник часа 2 - 3 проводил у дорогого учителя в полезнейших и приятнейших разговорах. Хождение мое прекратилось лишь тогда, когда по увольнении от должности он уехал в Питер хлопотать по поводу задуманной им публичной библиотеки.

На время отъезда он часть книг, выбранных для меня, оставил у одного своего товарища - прекрасного профессора (не в нашем только классе) и сдал меня ему, так сказать, на руки. Читал я хотя и много, но крайне осторожно, чтобы об этом как-нибудь не пронюхало начальство.

Замечательно, что я учиться стал ровнее и много лучше, так что в течение 2-го года пребывания в философии я сидел уже в 1-м разряде, и, помнится, даже в первом пятке. Учение, т. е. то же зубренье, пошло хорошо не потому, чтобы я полюбил наши науки и схоластические приемы их преподавания, а только потому, что считал это противное учение необходимым для будущего, так как тогда я еще не додумался до положения, что можно быть полезным и без поповства.

С гадкою зубрежкой я не мог расстаться до самого окончания курса в семинарии. За исключением 2 - 3 профессоров все остальные были ярыми противниками рассказывания уроков своими словами. Сам ректор, преподававший догматическое богословие, каждый почти класс, во время выслушивания уроков, выкрикивал всем нам памятные слова: стой, ты пропустил; или: стой, ты перетасовал слова, поправься. И эти выкрикивания с буквальной точностью уж без всякой перетасовки слов мы слышали от него в течение двух лет. Нет, при таких нелепых требованиях, без зубрежки

обойтись было нельзя; предстояла дилемма: или зубри, если хочешь считаться хоть порядочным учеником, т. е. сидеть во 2-м разряде, или оставайся на два года в том же классе, если не хочешь сам увольнения из семинарии.

Итак, я читал и зубрил, зубрил и читал и, наконец, перешел в последний класс, т. е. в богословие, где мне предстояло, как в риторике и философии, пробыть два года, а затем отрастить длинные волосы, надеть рясу и распевать: „господи помилуй, отдай полтину“. Перешел я в богословие, надо полагать, в числе первых учеников, так как тотчас же по возвращении с каникул назначен был старшим в богословский номер, т. е. над товарищами, что считалось очень почетным и в то же время представляло немало трудностей. В сентябре я был возведен в сан дьячка или, как у нас выражались, рукоположен в стихарь (так называется облачение, которое в церкви надевают дьяконы и стихарные дьячки).

Это посвящение памятно мне, потому что во время его совершения последовала милостивая собственноручная расправа его преосвященства над моими волосами. Во время облачения архиерея мне в этой китайской церемонии показалось что-то смешным, а мою улыбку он, вероятно, заметил. Поэтому, когда я благоговейно преклонил грешную главу свою перед его преосвященством, оно очень больно дернуло меня за волосы и, вместо маленького клочка их, выстригло такой пук, что у меня образовалась заметная плешь на голове.

Отлично помню, что вскоре после этого именно 1 октября - в Покров, я, облаченный в стихарь, дебютировал в качестве проповедника перед громадной городской публикой, да еще в монастыре, в присутствии ректора, где он был архимандритом. Обыкновенно перворазрядные богословы произносят свои проповеди в семинарской церкви; только проповеди, почему-либо особенно понравившиеся профессору, представлялись им в правление, которое и удостоивало их высокой чести быть произнесенными в монастыре. И теперь без

смеха я вспомнить не могу, как я, только что достигший 17-летнего возраста мальчишка, поучал несколько сот возмужалых и престарелых горожан.

\* Крайне сожалею, что не сохранилась у меня эта проповедь, но полагаю, что она, вероятно, состояла из общих мест, скрашенных семинарскою высокопарною витиеватостью; быть может, было в ней кое-что украденное из книг, - не помню. Возможно, впрочем, что данная мне тема была не очень отвлеченна и пришлась мне по душе; в таком случае я мог написать нечто порядочное, конечно для семинариста, а не безусловно \*.

Предварительно я должен был репетировать свое произведение в классе, и тут-то профессор научал меня мимике, жестикуляции, интонации и разным покус-фокусам. При одном воспоминании об этом дебюте становится жутко. На пути в монастырь и в церкви сначала я было храбрился, но когда вышел на амвон и увидел сотни глаз, устремленных на меня, то рад бы был тогда, кажется, сквозь землю провалиться. Вместо того, чтобы, как водится перекреститься и произнестъ: во имя отца... я молчал, как истукан. И только, когда услышал из алтаря голос: ну, начинай же! - тогда я вынул свою тетрадь и после нескольких тихо произнесенных слов быстро вошел в настоящий экстаз.

Говорили после, что не только проповедь, но и произнесение ее будто бы были весьма хороши. Однако на меня дебют подействовал так тяжело, что я в последующее время разными способами устранил себя от произнесения проповедей. Фу, чорт побери! Как я заболтался о пустяках!

По переходе моем в богословие открылась давно желанная библиотека Красовского, из которой я беспрепятственно мог брать любую книгу или журнал. Чтение мое стало с этой поры систематичнее: им руководил порядочный знаток дела - сам Красовский; ему также в этом деле помогал ссыльный - кандидат Петербургского

университета. Перечитал я за этот год целую уйму книг, но особенное сильное, неотразимое обаяние произвели на меня статьи Белинского и письма об изучении природы Герцена; „Отеч. записки“, в которых они были напечатаны, и „Современник“ (тогда отдельного издания Белинского еще не было) стали моими настольными книгами; из-за них я ограничивался пятью часами сна. Никогда уже, ни прежде, ни после, я не испытывал такого воодушевления, такого неудержимого стремления к саморазвитию, какое пробуждали во мне- сочинения этих авторов.

Итак, Белинский, Герцен, а также разговоры с Красовским совсем перекувырнули мое прежнее мировоззрение, которое было, впрочем, так тускло и хаотично, так блистало отсутствием руководящих принципов и даже самого скромного идеала, что, строго говоря, его нельзя и назвать мировоззрением. Однако было бы несправедливо с моей стороны крушение старого quasi -мировоззрения и замену его новым приписывать только Белинскому, Герцену и Красовскому. Почва для этого метаморфоза, который я называю умственным возрождением, была несомненно подготовлена усердным и толковым чтением массы книг и упорным размышлением как по поводу прочитанного, так и встречавшихся в жизни явлений. Без подготовки вряд ли бы удалось Белинскому и Герцену свергнуть тех идолов, которым я поклонялся так долго; да я бы без подготовки, пожалуй, и не понял бы их.

Раз установилось новое мировоззрение, должны были одновременно с ним измениться и взгляды мои на служение обществу. Хотя я прежде и не отдавал себе ясного отчета в том, чем я должен стать по окончании курса в семинарии, но как-то само собой разумелось, что сын духовного лица не должен оставлять духовного сословия. Давние традиции и крепко установившийся обычай с малых наших лет въедались в нас; а отступление от них возбуждало почти ненависть в духовном сословии к лицам, по тем или другим причинам решившимся



заменить рясу сюртуком. Да и самое семинарское образование направлено и поставлено было так, что оно годилось только для попов и дьяконов и совсем непригодно было для подготовки на какое-либо другое служебное поприще.

За 6 лет моего учения в семинарии не было ни одного случая, чтобы семинарист добровольно оставил свою касту. Только исключенным из семинарии приходилось поневоле переходить в светское звание и то в таком только случае, если причиной исключения их была очень дурная аттестация, препятствующая, по взгляду архиерея, принятию их в духовное сословие. Исключенные же за тупоумие или за неважные проступки пристраивались на дьяконские или дьячковские места. Особенно усердно добивались их дьячковские сынки, как не имеющие по рождению прав государственной службы и обязанные до первого чина служить двенадцать лет.

Несколько охотнее шли в гражданскую службу неудачники из поповских детей. Из этих-то отбросов преимущественно и формировалось пресловутое крапивное семя. С прекрасной, приобретенной еще в бресе, культурой лицемерия и низкопоклонства эти неудачники ловко влезали в души начальников, обыкновенно падких до лести, и ловко устраивали свои темные делишки. Большая часть мест станowych и даже исправников и окружных начальников отдавалась тогда на кормление бывшим семинаристам - недоучкам. И очень многие из них становились виртуозами взяточничества, грабежа и всевозможных плутней, иногда до невероятности нахальных. Народ громко стонал от этих пиявок, а начальство было довольно, ибо получало от них мзду. В губернских очерках Щедрин метко изобразил их пакости.

\* Под именем Порфирия Ивановича он выставил к позорному столбу моего двоюродного дядю; жаль только, что далеко не все еще похождения дядюшки попали в щедринскую

сатиру. По-настоящему-то для Порфишки виселицы было мало<sup>27</sup>.

Да что же это такое? Сколько раз я обещал себе не делать прыжков в сторону, а как начну писать, так и забуду про обещание. Эх, стыдно бы мне увлекаться, как юноше, да исправляться-то, видно, уж поздно. Ну, теперь буду говорить о себе \*.

---

<sup>27</sup> М. Е. Салтыков-Щедрин был выслан в Вятку в 1848 г. и служил там в губернском правлении до 1855 г. По службе он много разъезжал по губернии и во время этих поездок собрал материал о провинциальных администраторах-взяточниках, легший в основу „Губернских очерков“, где изображены под слегка измененными фамилиями вятские чиновники. Самые очерки писались в Петербурге в 1856 г. (печатались в либеральном тогда „Русском вестнике“ в августе-декабре того же года и позже; отд. изданием вышли в 1857 г. три раза); наброски к ним делались еще в Вятке (см. Иванов - Разумник, „М. Е. Салтыков-Щедрин“, т. I, глава V). Сычугов запомнил имя одного из главных героев очерков, которого звали Порфирий Петрович. О прототипах героев „Губернских очерков“ писала в воспоминаниях о Салтыкове Л. П. Спасская („Памятная книжка Вятской губ. на 1908 г.“), которая сообщает, что под именем Порфирия Петровича изображен советник питейного отдела Г. И. Макарон. Но, конечно, этот советник, как и другие герои „Очерков“, - тип собирательный, что отметил еще И. А. Добролюбов, знавший двух Порфириев Петровичей в Нижнем -Новгороде. В марте 1859 г. М. И. Шемановский писал Добролюбову из Вятки: „Порфирий Петрович умер, оставив до 400 тысяч благоприобретенного“ („Материалы для биографии Н. А. Добролюбова“, I, 498).

## **ГЛАВА ТРЕТЬЯ**

### **В УНИВЕРСИТЕТЕ.**

Вопрос о выборе службы назойливо стоял передо мной, но долго еще оставался открытым. Да и было, действительно, тогда над чем позадуматься. Мысль об университете, о котором, кстати сказать, я имел смутные и отчасти ложные понятия, не приходила еще в голову: она несколько позднее навеяна была другими. Ученику Белинского, - этого высокого образца нравственной чистоты и искренности, - поступить на службу в полицию или в губернское правление, бывшее тогда школою для становых, было бы уж очень зазорно.

Поповство претило мне уже потому, что оно было крайне принижено, в обществе пользовалось незавидной репутацией и, наконец, требовало безусловного, даже рабского повиновения монахующему начальству. Быть может, с этими препятствиями я бы еще кое-как сладил; идеал доброго пастыря действовал на меня всегда, и даже посейчас, обаятельно. Примеры деда и отца, истинно добрых пастырей, искренно любимых народом, были у меня перед глазами. Но было другое, труднее устранимое препятствие.

Хотя я и не был тогда еще истым атеистом, но я уже критически и даже отрицательно относился ко многим церковным обрядам; мой скептический ум находил немало противоречий между учением Христа и церкви. И чем более я изучал св. писание и предания церкви, тем отрицательнее стал относиться к ее учению. При таком положении дела поступить в попы было бы просто позорно. Хотя двуличность и фарисейство, вследствие долгой их культивировки, приобрели для меня уже силу привычки, однако в описываемое время я уже начал их стыдиться и серьезно подумывать об их искоренении. Сделавшись же попом, я на всю жизнь обрекал себя на

постоянное лицемерие и на необходимость чувствовать страшный разлад между своими убеждениями и деятельностью. Кончилось бы дело тем, что я стал бы презирать себя и, оставаясь попом, сделался бы горьким пьяницей или же должен бы был расстричься.

А, впрочем, быть может, я и привык бы к лицемерию и, забыв заветы Белинского и результаты собственного саморазвития, служил молебны и панихиды и валялся бы с своей попадшей в похоти плотской! Бррр! Ужасно и подумать даже об этом! Не понятно мне всегда было то, что порядочные во многих отношениях попы сознавали, напр., что творец установил для мира вечные и неизменные законы, и эти же попы своими разными молебнами то о бездожде, то о дожде, то об исцелении от неизлечимых болезней не стыдились просить творца на каждом шагу изменять свои законы по прихотям людей.

\* Впрочем, такие противоречия настолько обыденны, что и удивляться им не следовало бы, тем не менее лично для меня они все-таки остаются непонятными. Так, видно, в этом отношении и умереть мне придется младенцем непонятливым \*.

Порешив, что я не годен ни для полицейской службы, ни для поповства, я начал лелеять мысль о народном учительстве. Конечно, я сильно идеализировал эту профессию; в ней я видел самое благородное приложение своих маленьких знаний и сил. Надо сознаться, что, витая в облаках идеализации, я не имел ни малейшего понятия ни о правах и обязанностях учителя, ни о самой народной школе. От некоторых товарищей я узнал, правда, что учитель получает в год 100 руб., и только. Скудость вознаграждения нисколько не обескуражила меня.

Уже в это время (не помню только вследствие каких влияний) у меня выработался взгляд, что при выборе профессии материальные интересы должны отодвинуться назад, что честный человек должен понизить свои потребности до

крайнего минимума, а образующиеся, благодаря экономии, крохи отдавать тем, кто в них особенно нуждается, и т. д.

Почти одновременно предстал моему воображению и другой идеал. Тогда имя П. И. Якушкина гремело на всю Россию<sup>28</sup>. Памятен арест его полицией одного города (какого - забыл) единственно за то, что он якшался с мужиками, занимался этнографией и пешим манером в худой поддевке исколесил вдоль и поперек Россию.

На соби́рание песен, сказок я смотрел, впрочем, тогда, как на побочное занятие. Меня особенно прельщал образ калики перехожего, т. е., выражаясь точнее, образ офени, скитающегося с коробом за спиной из деревни в деревню, продающего и читающего крестьянам хорошие книжки. План этот Красовский признал не только трудно выполнимым, но и опасным. Если, справедливо говорил он, полиция не пощадила Якушкина, который кончил университет, был дворянином, а главное литератором с довольно громким именем, то тебя, дескать, она сцапает в первые же дни твоей деятельности, и ты погибнешь ни за грош.

Красовский сочувствовал моему плану, только считал его непрактичным. Гораздо симпатичнее он отнесся к предполагаемому мною учительству, но и здесь советовал не кидаться в воду, не спросясь броду, разумея под последним необходимость разузнать всю подноготную об учительстве.

Наступили последние в моей семинарской жизни каникулы: оставался, значит, только год моего ученья. Отношение к товарищам и к подчиненным, как старшего, были

---

<sup>28</sup> Пав. Ив. Якушин (1825-1872),-двоюр. брат изв. декабриста, писатель-этнограф; сын дворянина и крепостной; оставил университет ради соби́рания образцов народной поэзии; с этой целью ходил по деревням под видом коробейника; был неск. раз арестован (1859—1865 гг.); особенно нашумел его арест в 1859 г. в Пскове, вызвавший протест в печати и официальные разъяснения.

у меня превосходны; отношения к начальству не омрачались никакими инцидентами, только инспектор иногда замечал, и то в любезной форме, что старшему следовало бы быть построже с подчиненными. Товарищи пророчили, а некоторые профессора прозрачно намекали, что через год меня отправят в Академию на казенный счет. Я скептически относился к намекам и пророчествам, тщательно скрывая свои планы.

По приезде домой я на первых же порах сообщил план об учительстве отцу, который отнесся к нему, т. е. плану, вполне разумно. Он представил немало доводов и pro, и contra<sup>29</sup> и предоставил мне полную свободу, посоветовав прежде окончательного решения повидаться с опытными народными учителями.

Тогда ни земских, ни церковных школ не существовало; на весь Орловский уезд по штату положено было только 5 школ, которые назывались поселянскими и состояли в ведении министерства государственных имуществ. Виделся и много говорил я о них с двумя учителями и законоучителем и услышал от них невероятные вещи. Хотя я сам ничего не смыслил в школьном деле, но все-таки понял, что наши поселянские школы ниже всякой критики, что они терпят во всем недостаток: и в отоплении, и в чистоте, и в учебниках, и в перьях, и в пр. Немудрено, что они не пользуются ни малейшим сочувствием крестьян, которых начальство обязывает только платить, а не рассуждать. У лучшего, горячо преданного своему делу учителя ученики едва в три зимы выучивались читать, да и то с грехом пополам.

Положение же учителей было просто ужасное. Они были подчинены окружному начальнику, его помощнику, благочинному, законоучителю, волостным; голове и писарю. Каждый из начальников мог третировать учителя, сколько душе

---

<sup>29</sup> За и против.

угодно, но особенно жутко ему приходилось от писаря. Волос становился дыбом, когда я слушал рассказы учителя о нахальнейших махинациях со стороны этого маленького, но в сущности всесильного в волости администратора.

Таким образом рассыпался в прах и второй мой идеал. Расстаться с ним меня побудили не трудности службы, не боязнь борьбы с начальственной мелюзгой, - на это хватило бы у меня и терпенья, и умения, - но невозможность при наличных условиях принести какую-нибудь пользу обществу. Никакой энергии не хватило бы для преодоления этих невозможных условий.

С болью в сердце вернулся я к отцу, который тотчас же уже по лицу моему догадался, что мысль об учительстве народном похоронена, если не навсегда, то надолго. Отец отлично видел трагичность моего положения, и сколь долго мы ни говорили, не договорились ни до чего путного. Наконец пришла мне мысль, одобренная и отцом, отправиться, не ожидая окончания каникул, в Вятку к милейшему моему другу А. А. Красовскому.

Мы с отцом порешили вполне положиться на его решение, так как были уверены, что он не даст ни легкомысленного, ни дурного совета, и, действительно, он отнесся ко мне с такою горячею симпатиею, с какою далеко не всегда относятся даже старшие братья к младшим. Чуть не целую ночь мы дебатировали мой наболевший вопрос, а пока установили следующее положение: 1) быть попом при моем образе мыслей бесчестно; 2) пока на место писца взирать не как на желательное, а лишь вынужденное неотразимыми обстоятельствами; 3) при поступлении в гражданскую службу искать место в какой-либо палате, начальник которой пользуется репутацией честного деятеля и человека; 4) не поступать в губернское правление, формирующее преимущественно чинов полиции.

На другой день Красовский сказал мне, чтоб я не спешил отъездом, так как предполагается насчет моей будущности устроить большое совещание с людьми, умудренными житейским опытом, а главное, получившими высшее образование в светских заведениях, о которых мы почти не имели понятия. В таких людях у Красовского, благодаря библиотеке, недостатка не было. Скоро состоялось решившее мою участь совещание, в котором приняли участие до 7 универсантов, которые произвели на меня глубокое, можно сказать, потрясающее впечатление. Как мизерны, сравнительно с ними, показались мне тогда наши профессора и даже дорогой мой Красовский! Как светлы и широки были взгляды моих новых знакомцев на мир божий и на людей, сколько любви к человечеству проглядывало в каждой их фразе!

Для меня это совещание было каким-то откровением; я сидел и больше слушал, как очарованный. Впрочем, и мне пришлось немало говорить, так как новые знакомцы потребовали от меня откровенной исповеди. И я с такою искренностью исповедывался перед ними, на какую способен только беззаветно верующий в силу таинства покаяния. Я и теперь еще страдаю застенчивостью и робостью, которые тогда были, конечно, гораздо сильнее, но от них тогда не осталось следа, и исповедь моя, выливавшаяся прямо из души, произвела на знакомцев приятное и выгодное для меня впечатление. Каждый из них спешил предложить мне какие-либо услуги; все же они отнеслись ко мне, как к равному, истинно товарищески.

Окончательное резюме, к которому пришло совещание, состояло в том, что единственный выход из моего положения - это поступление в университет во что бы то ни стало. Из исповеди моей они будто бы убедились, что при моей энергии и выносливости все встретившиеся, т. е. могущие встретиться на моем будущем пути, препятствия, невзгоды я легко преодолею сам. Совещание, действительно, вдохнуло в меня такую веру в



свои силы, какой не было у меня ни прежде, ни после и которая выручила после меня из невозможных, кажется, положений.

Удивляться здесь нечему: ты по себе и по окружавшей тебя тогда среде прекрасно знаешь, какой громадный и величавый подъем охватил в конце 50-х и начале 60-х годов интеллигентную молодежь. Какие чудеса делали эти годы. Да, то светлое и радостное время непохоже было на теперешние осенние сумерки! Эх, если бы можно было хоть один еще денек пожить тогдашней вдохновенной жизнью: тогда и умирать-то было бы легче!

В очарованном состоянии явился я домой; отец, догадавшись, что в моей душе происходит что-то хорошее, с обычным своим спокойствием только спросил: „Ну, что, куда?“ Я сказал: „в университет“. - „Ну, так до завтра“. Этим и кончился памятный мне по своему лаконизму наш диалог. Зато на другой день мы побеседовали несколько часов. У отца, уже достаточно пожившего и умудренного житейским опытом, на первом плане стоял вопрос: чем же я буду жить? Я с наивностью младенца отвечал: как-нибудь проживу.

Отец сказал и доказал, что он может, и то с трудом, уделять 60 руб. в год. Я в восторге начал благодарить его, но он изрек: не за что, это твои деньги. Дело в том, что дед большой дом завещал мне, а дом этот после его смерти нанимался лесничим за 60 руб. Из своих же доходов отец не мог дать мне ни гроша. Это было для меня очевидно. Село Великорецкое, хотя и довольно богато, издавна служило притоном для четырех чиновников, живших, благодаря взяткам, широко и водивших с попами хлеб-соль. Доходов у попов не хватало, и они были в долгах. Сократить доходы отцу было, при всем его желании, нельзя: у меня уже тогда одна сестра была невестой, да и другой стукнуло 15 л. Приходилось с волками по-волчьи выть. Но я все-таки был счастлив, считая себя обладателем во время студенчества 60 руб. Несколько возражала против выхода моего

из духовного звания мама, но доводы и авторитет отца решили дело в мою пользу.

На крыльях радости, как сказал кто-то, прилетел я в Вятку и, конечно, прямо к Красовскому, у которого нашел уже я программы для поступления в три университета и, около десятка учебников, доставленных моими новыми знакомцами, участвовавшими в совещании. Поселился в бурсе, но скоро увидел, что в ней оставаться нельзя, и, как только получил согласие отца, тотчас поселился в городе под квартирой учителя гимназии Шимановского, о котором я упоминал.

Пока продолжалось житье в бурсе, я со своими учебниками бегал, как вор, по разным уютным местам, находившимся то на дворе, то за оградой семинарии. О моем намерении знало только наше совещание, которое решило, что я, страха ради иудейска, свои планы должен держать под спудом до окончания курса. Да иначе и нельзя было. Начальство стерло бы меня с лица земли, пожалуй меня прокляли бы, хоть и не публично, как еретика. Ведь таких okazji, как поступление в светское заведение, да еще в богомерзкий университет, еще не бывало.

Сейчас мне пришла в голову странная мысль, что я назначен судьбою для пионерства. И в самом деле, мне первому пришлось проложить дорожку в университет; мне пришлось быть пионером земской медицины в Орловском уезде; я был пионером санитарного бюро во Владимире и, наконец, застрял в Верховине в качестве пионера вольной медицины. Опять я прыгнул в сторону; не буду больше или буду стараться не прыгать.

Товарищи подозревали, что я затеваю что-то, делали подходцы, но напрасно. Некоторых из них я искренно любил, но тайны не открыл. Повод к подозрениям я по необходимости подал им сам. Я не скрывал, что мои принципы нравственные круто изменились; то, что нравилось моим товарищам и чему я еще недавно поклонялся сам, я теперь стал резко порицать, и

наоборот, порицаемое ими сделалось для меня симпатичным; словом, семинарская этика потеряла в моих глазах всякий кредит и уступила место этике общечеловеческой.

Это мое нравственное возрождение совершилось во время последних летних каникул, вскоре после возрождения умственного. Конечно, оно не могло совершиться вдруг, по мановению, так сказать, волшебного жезла; оно подготовлялось исподволь, и в нем значительную, хотя и не главную роль сыграл неистовый Виссарион [Белинский]. Читая и перечитывая по несколько раз его бессмертные, полные огня и страсти критики, я частенько углублялся в себя, сказанное о других я относил к своей особе, и мне становилось ясно, что в моей душе далеко не все обстоит благополучно.

Выходило какое-то странное *qui pro quo* [недоразумение]: с одной стороны я благоговел пред нравственными идеалами Белинского, считая их непререкаемо истинными; с другой - считал возможным к ним стремиться, оставаясь сам далеко еще не нравственным человеком. Да и особенно сильных побуждений к генеральной чистке души я тогда еще не видел. Хотя Бокль<sup>30</sup> еще и не был переведен на русский язык, но его учение о всяком преимуществе умственного совершенствования над нравственным я узнал из какого-то журнала, и новизна учения привела меня в неистовый восторг, который разделял со мною Красовский с братиею. О, *sancta simplicitas!* [Святая

---

<sup>30</sup> Г. Бокль (1821—1862), английский историк, автор „Истории цивилизации в Англии“, книги, переведенной на русский язык в 1864 г. и пользовавшейся успехом в кругах радикальной и революционной молодежи. До выхода этого сочинения отдельным изданием о книге Бокля писали во всех русских газетах и журналах, почему имя его и было чрезвычайно популярно у русских читателей. Молодежь особенно прельщали выводы Бокля, заявлявшего: „как верно то, что ум человеческий идет вперед, так верно и то, что наступит для него час свободы“ от всяких предрассудков; отрицавшего влияние произвола и случайности в истории; утверждавшего начало закономерности в природе и в развитии человечества.

простота] Повидимому, светлые умы к учению автора статьи (в ней о Бокле не говорилось) отнеслись без должной критики; они увлекались до того, что считали возможным служить нравственным идеалам и оставаться одновременно безнравственными. В пример ставились выдающиеся исторические деятели с Бэконом, конечно, во главе<sup>31</sup>. Увлекался и я, но недолго; чувствовалось что-то неладное в учении\*.

Хотя я тогда в деле религии был порядочным скептиком, но Христа продолжал считать величайшим и почти непогрешимым авторитетом. Припомнились мне его слова, обращенные к фарисеям, что нужно очистить сначала внутреннее, а потом уже внешнее. Еще перейдя в философию, я изредка задумывался над вопросами этики, но в глубь их проникнуть 14 - 15-летнему мальчугану было не под силу. И то было, впрочем, недурно, что я начал сознавать свое нравственное растрение, чувствовать, так сказать, что я от головы до пяток запачкан бурсацкою грязью.

Чтоб пообчиститься от нее, я не прибегал пока ни к каким радикальным средствам, однако я не относился безучастно к новым комьям, грязи, а отстранял их от себя, а вместе с ними потихоньку сбрасывал и старые комья. Так постепенно готовилось мое нравственное возрождение, а в один, прекрасный вероятно, а, может быть, и ненастный день оно, наконец, и совершилось!

Как тогда, так и теперь остается для меня непостижимым, каким образом ничтожная причина могла быстро перевернуть вверх дном мое этическое настроение и произвести полное нравственное возрождение. Вероятно, легкость, с которою оно произошло, зависела, с одной стороны, от продолжительной

---

<sup>31</sup> Фр. Бэкон (1561—1626), знаменитый английский государственный деятель и философ; он проповедывал торжество разума и опыта над суевериями и преклонением перед авторитетами, призывая к исследованию общего закона природы, причинности событий.

подготовки к нему, а с другой - от того, что бурсацкая-то грязь налипла на меня сверху, а не въелась в самое нутро.

Как-то в „Весельчаке" (так называлось тогда одно недельное издание с задорным, обличительным направлением) прочел я рассказ, в котором выставлено на показ честной публике страшно некрасивое нутро одного молодого чиновника из семинаристов, даже слегка не прикрытое фиговым листом приличия. Картина нарисована была грубо, рисунок аляповат, штрихи и мазки грязны, как у нынешних декадентов, а тем не менее своим реализмом она произвела на меня громадное впечатление. Для меня собственно трагизм рассказа заключался в том, что в этом юнце-чиновнике, хотя и карикатурно, но выпукло и едко осмеяны как раз те же самые пороки, которые сконцентрировались во мне и совершенно изуродовали мою нравственную физиономию. В рассказе я увидел свой до-нельзя несимпатичный портрет, но зато довольно верный<sup>32</sup> Точно кто-либо без всякой жалости хватил меня обухом по лбу: так тяжело было полученное мною впечатление. Я удалился в укромное местечко, припал к матушке сырой земле, досыта наплакался и нарыдался... и нравственно переродился.

\* Много лет спустя этот великий момент моей жизни я подверг строжайшему физиолого-психологическому анализу, исписал листов 10 бумаги и в прошлом году сжег. Возвращаться к анализу я, конечно, не буду, несмотря на его большой интерес, особенно для меня, а теперь лишь кратко вымолвлю, что иногда ничтожные причины вызывают величайшие последствия; от копеечной свечи Москва сгорела \*.

---

<sup>32</sup> „Бесельчак", юмористический журнал, издававшийся в 1858—1859 гг., основан А. Плюшаром, редактировался известным журналистом О. И. Сенковским (барон Брамбеус); после его смерти журнал захирел и на 7 номере 1859 г. прекратился. См. М. К. Лемке—„Очерки по истории русской цензуры", 1904, стр. 26 ел. и „Эпиграммы и сатира", составил А. Островский, изд. „Academia", т. I, по указателю.

Перебравшись на квартиру и не опасаясь подсматриваний и. выслеживаний со стороны товарищей, я погрузился по уши в приготовление к университету. В руководствах недостатка не было; ими в обилии снабжали меня новые знакомцы; в руководителях же я, пожалуй, иногда и нуждался, и они нашлись бы, но я решил до всего доходить своим умом, полагая, что приобретенные таким путем знания будут ненадежнее.

По одной только математике пришлось мне раз пять обратиться за советом к милейшему Шимановскому, да и то преимущественно по его же настоянию. Он частенько из своей квартиры спускался. вниз, в мою комнату, и если заставал меня за занятиями математикой или физикой, то обязательно предлагал свои услуги. И каким прелестным он был преподавателем! Вечная ему память!

Приготовляясь к университету основательным образом, я, хотя и без всякого интереса, продолжал и занятия разными богословиями. Аккуратность моя в то время простиралась до того, что я, кажется, ни разу не явился в семинарию, не зная уроков; продолжал я строчить проповеди и другие сочинения и никогда не запаздывал с ними. Вообще и в семинарии считали меня, как одного из лучших учеников, кандидатом для посылки в Казанскую академию. Не совсем только я удовлетворял требования профессоров разных богословий. Эти господа требовали, чтоб встречающиеся в их предметах тексты мы заучивали из слова в слово, а некоторые обязывали вызубривать, помимо текстов, и целые уроки, а уроки эти были почтенных размеров.

Времени-то у меня на зубрежку и не стало хватать, так как собственно в классах, где я обыкновенно готовил уроки, времени в моем распоряжении было чересчур мало. Одна ходьба в семинарию и обратно отнимала у меня ежедневно не менее двух часов. Профессора хотя и негодовали несколько на меня за ответы мои своими словами, но совестились при всем классе

быть несправедливыми и ставили хорошие баллы. После, впрочем, они все-таки отомстили мне.

Припоминая тогдашнее блаженное время, я и теперь еще дивлюсь, как я мог справиться с такою страшною обузою, как только не расперло мой череп от всевозможных знаний, которые я втискивал в свой мозг! Ведь, за исключением закона божия, латинского языка да кое-каких обрывков из славянской и русской грамматик, весь гимназический семилетний курс я должен был пройти в один год. От бестолкового зубрения по допотопным учебникам гимназических предметов у меня в голове буквально ничего не осталось. Я хорошо помню, что в то время каждая, так сказать, строка в гимназических руководствах являлась для меня открытием. А при этом еще одновременно предстояло штудировать, хоть и не основательно, богословские науки.

Мало этого: я у сна урывал еще время для переписывания производивших тогда не в одной Вятке фурор: письма Белинского к Гоголю, лекций Фейербаха и знаменитого сочинения Бюхнера: *Kraft und Stoff*<sup>33</sup>. Право же ужас пробирает даже и теперь! Но зато и работал же я! Когда садился я за книгу, кроме нее ничего уже не видел и не слышал. Не раз Шимановский говорил Красовскому: придешь к Савушке (так он звал меня), постоишь за его стулом, иногда и кашлянешь, а он и ухом не поведет; ну и уйдешь во-свояси.

И, действительно, никогда, кажется, так напряженно не работал, как тогда. Моя богатырская натура, еще не надломленная разными недугами, была необыкновенно вынослива; вряд ли я тогда испытывал умственное утомление; в прогулках, сопровождающихся ничего неделанием, я не

---

<sup>33</sup> „Сила и материя" — одно из популярнейших произведений естественно-материалистической школы, пользовавшееся исключительным успехом у русской радикальной молодежи 50—60 гг.

нуждался, так как и во время хождения в семинарию и обратно я продолжал готовиться в университет. Успешной подготовке к нему много помогла регулярность моих занятий; я составил расписание своих занятий не только по часам, но и полчаса принимались даже в расчет. Я работал даже и за едой. Хорошо, напр., помню, что по расписанию время обедов и ужинов отведено было русской истории, и я, действительно, осилил ее всю во время еды.

Воскресенье я, за исключением лишь нескольких часов, употреблял на повторение пройденного за шесть дней. Для повторений по каждому предмету я составлял нечто вроде конспектов, часть которых постоянно таскал в кармане; ими-то и пользовался я как во время хождений в семинарию, так иногда даже и в классах, куда, конечно, было неловко носить учебники. Конспекты же не возбуждали подозрений.

Продолжал брать и книги у Красовского, но только читал их, так сказать, с немецкой выдержкой. Дело в том, что, кроме общего расписания часов для занятий, у меня было составлено особое еще расписание по каждому предмету, т. е. вперед было определено, сообразуясь с университетской программой, сколько из него я должен приготовить в назначенное время. Если мне удавалось, напр., определенный урок осилить в  $1\frac{1}{2}$  час., а по расписанию на него назначено 2 часа, то выгаданные таким образом  $\frac{1}{2}$  часа я и посвящал чтению. Ему же отдавал я часть того времени, которое каждое воскресенье проводил в библиотеке, а другую часть делил между Красовским и новыми его и моими знакомцами.

К ним в дома я почти не ходил, а встречался с ними у Красовского, в особой комнате при библиотеке, куда могли входить только избранные. Эти последние приходили в заветную комнату в определенный час. Кому-нибудь из нас Красовский вручал „Колокол“ Герцена<sup>34</sup> \*, и тотчас же

---

<sup>34</sup> „Колокол“ выходил в Лондоне с 1 июля 1857 г.



начиналось его чтение, за которым, конечно, следовали разговоры; затем мы один по одному переходили в общий кабинет для чтения, где уже каждый просматривал новые журналы и газеты в одиночку, и, наконец, в 4—5 час. вечера расходились все по домам. От одного воспоминания об этих воскресеньях болезненно и сладостно застучало мое больное сердце. Думается, что регулярности, необычайной напряженности в труде и кое-каких моих способностей было бы еще мало, чтобы осилить то, что я осилил в то благодатное, замечательное общим подъемом духа время. Тогда в эти золотые дни и, пожалуй, даже годы, только недолгие, когда даже мелкие сошки, захваченные новым веянием конца 50-х годов, становились чуть не Геркулесами и делали такие дела, о которых бы в другое, тусклое время и помыслить не смели, — мудрено ли, что мне, привыкшему к трудам и умным, и бессмысленным, крепко закаленному для борьбы, удалось такое, повидимому, необычайное дело, как одоление в течение года того, на что полагается 7 лет? Вера в свои силы была необыкновенная, а энергии скопилось во мне тогда так много, что, пожалуй, не мешало бы ее немного и убавить. Кажется, в июне я произвел себе генеральную репетицию и на все вопросы программы мог отвечать удовлетворительно. Но семинарская застенчивость моя была еще слишком велика; мне почему-то стало казаться, что я плохо подготовлен; появилось даже нечто вроде трусости, вовсе не свойственной мне. Тогда-то милейший Шимановский, чтоб положить конец моему довольно тяжелому положению, выкинул оригинальную штуку. В один вечер (кажется в начале июля) посылает он за мной. Прихожу и застаю у него целый арсенал учителей гимназии; знакомлюсь с ними и, ничего не подозревая, присаживаюсь к чайному столу.

За чаем Шимановский сообщает мне, что для моего успокоения он с товарищами решил произвести мне строгий экзамен. Сначала я было опешил от неожиданности, а потом и возрадовался. Да и как не порадоваться? Ведь гораздо

расчетливее было провалиться на домашнем и тайном экзамене, чем со срамом возвратиться вспять из Москвы. Часа четыре, если не больше, педагоги пробирали меня нещадно, — я и сам просил их не 'щадить меня, — и единогласно признали, что я с честью выдержал искус и что будто бы очень немногие гимназисты, получающие право на поступление в университет без экзамена, обладают, такими солидными знаниями, как я. Сравнивая этот экзамен с экзаменом в Москве, я воочию убедился, что первый был далеко построже последнего. Я совершенно успокоился.

И в семинарии экзамен прошел для меня благополучно. Но начальство не утерпело, чтоб не подгадить мне. По годовым и экзаменным отметкам я был поставлен высоко, но в совете профессора, негодовавшие на меня за мои ответы своими словами, вооружились против меня, но их голос не имел бы значения, если бы их не поддержал всесильный инспектор. Он категорически заявил, что мое поведение неблагонадежно и что я не могу быть выпущен в первом разряде.

Против этого veto [запрета] большинство профессоров, отстаивавших меня, не могли возражать, ибо у нас поведение ставилось выше ученья. А ведь единственный мой нелегальный поступок состоял в курении табаку, за которое я давно уже отсидел 2 дня на букете. Но после оказалось, что я был сугубо наказан вовсе не за курение, а за переезд на квартиру из семинарии. Итак, семинария, какою была для меня за все 6 лет, такую же оказалась и при выпуске: она все время была для меня не alma, а dura mater [не благою, а жестокой матерью].

\*Ну, да бог с ней! Я не только теперь, но и в то время не гневался на нее: ведь она не ведала, что творила\*.

Хорошо еще, что начальство не знало о моем намерении поступить в университет, а знай оно об этом, то оно могло бы напакостить мне побольше. При всей его несправедливости оно, однако, выпустило меня первым во втором разряде и таким образом лишило звания студента, но оно могло меня поместить

и в конец второго разряда. Это была его воля, против которой никакие протесты невозможны. Обидно было мне лишиться незаслуженно студенчества, но не очень, так как я после секретного экзамена считал уже себя студентом университета. Кажется, более меня обиделись за несправедливость, причиненную мне, мои товарищи.

Более тяжелое чувство испытал я при получении аттестата; в нем поведение мое названо только добропорядочным, что рекомендовало меня не совсем-то хорошо. Тут самообладание оставило меня, и я сказал инспектору какую-то дерзость. Он позеленел от злости и вздумал припугнуть меня тем, что ты, дескать, из моих рук еще не вышел, и я проучу тебя за дерзость. Поздно, да и руки у вас коротки, ответил я. Я еду в университет. Инспектор и рот разинул.

На этом покончились мои отношения к семинарии и ее инспектору. Пока я был с прощальным визитом у двух лучших профессоров, не разъехавшиеся еще семинаристы (многие уже успели уехать), узнав о моем намерении, порядочной толпою проводили меня почти до города и, повидимому, на прощанье от чистого сердца снабдили меня громадою благих пожеланий.

"Прощай, семинария! Много ты сделала мне зла, но я давным-давно забыл об нем; ты и зло-то делала, думая принести нам добро. Но я на всю жизнь остаюсь благодарным тебе за то, что ты закалила меня, приучила к труду и воспитала, хотя и отрицательным путем, мой характер.

Нужно было торопиться в Москву к экзамену, о времени которого мои знакомцы получили неопределенные сведения; я знал только, что он будет происходить в августе. О прощании с родными и вятскими знакомыми говорить не стоит: тема очень известная. Помню, что страшно тяжело было расставаться, точно чуяло сердце, что дорогих людей не увижу 5 лет\*.

Денег у меня было только рублей 70, на которые я должен и до Москвы доехать и жить целый год. В видах экономии я пристроился к извозчикам, которые везли товар в Нижний, до

которого я дотащился на 14 сутки, и за это удовольствие заплатил 12 или 13 руб. От Нижнего до Москвы ехал я на задке дилижанса, т. е. в каком-то курятнике, приделанном к подушке задней оси. За половину этого курятника (в другой сидел хмурый, молчаливый мужик) содрали с меня 7 руб.

В самом дилижансе помещалось 6 пассажиров, по виду мещан или мелких купцов. Для перемены лошадей дилижанс останавливался на постоянных дворах, где пассажиры и трапезовали довольно роскошно. Я не принимал участия в их трапезах, а довольствовался одним сухоядением, и то крайне скудным. Вероятно, это обратило на меня внимание моих спутников; пошли обычные расспросы, разговоры и пр., и после 2—3 остановок я уже встречался с ними на постоянных дворах, как с давними знакомыми. Один из них, оказавшийся после (месяца через 4) знаменитым жуликом, простер свою внимательность ко мне до того, что предложил мне в своей квартире особую комнату за 4 руб. ассигн. в месяц, т. е. за 1 руб. 15 коп. С радостью я принял предложение и рассыпался в благодарностях. Да и как не радоваться? Москва была для меня темным, дремучим лесом; в ней не было у меня ни одной души знакомой, а тут вдруг объявился и добрый, участливый знакомый и дешевая комната. Да, свет не без добрых людей;

Наконец-то, на 19 день после выезда из Вятки, очутился я в белокаменной, златоглавой Москве и, не заезжая в гостиницу, прямо направился в свою четырехрублевую каморку.

Конечно, нахлынула на меня целая масса новых, самых разнообразных ощущений и чувств, но об них, из боязни далеко увлечься, не буду говорить, хотя от одного воспоминания об них сердце радостно трепещет. Да ты и сам пережил все это и не нуждаешься в моей болтовне

На другой день по приезде отправился я с своими документами в университет. Страх и трепет обуяли меня, когда я вступил на двор *almae matris*. Хотя знакомцы еще в Вятке не раз говорили мне, что в университете не придают особенного

значения семинарским аттестатам, но „добропорядочное поведение" порядочно-таки мучило меня еще дорогой. Но когда я с прошением и документами предстал перед светлыми очами ректора Альфонского, меня взяла такая оторопь, подобную которой я не испытывал во всю жизнь, хотя мне приводилось бывать в таких положениях, когда смерть смотрела мне прямо в глаза.

"Никогда не мог я объяснить этого страха; не был ли уж он припадком какого-нибудь быстрого нервного страдания\*.

Хорош же, должно быть, я был, если Альфонский, это олицетворение флегмы, привскочил и налил мне стакан воды, от нескольких глотков которой я заметно поуспокоился, хотя дрожь еще продолжалась. Далее со мною произошло то, что можно выразить афоризмом: от печального до комического один шаг. Когда я несколько поуспокоился, то, подавая прошение, развернул и свой аттестат, указав в нем на „добропорядочное поведение" и жалобным голосом промолвил: „не обращайтесь ваше пр-во внимания на эту аттестацию; она сделана инспектором по злобе на меня". Только что я кончил эту глупую фразу, как ректор, Анке и третий член правления разразились раскатистым хохотом. Я снова опешил, но уже от недоумения: чему, дескать, они обрадовались.

Затем ректор наложил резолюцию, пожелав мне счастливо кончить экзамен и, улыбаясь, сказал: „надеюсь, что вы будете отличным студентом; дурно аттестованные семинаристы всегда оказывались и в университете, и после него прекрасными людьми".

Из правления я прямо пошел в новый университет, где в этот же день сдал экзамен из каких-то двух предметов. В несколько дней я покончил все экзамены почти блистательно. Прибавлю: „почти" потому, что из французского языка за

неумение писать под диктант лектор Пако<sup>35</sup> вклеил мне дубину, которая не повредила мне, ибо потом (в тот же, впрочем, день) я из греческого языка (которым можно было заменить французский язык) получил 5. Пробирали нас на экзамене, как говорили тогда старые студенты, жестоко; это видно из того, что из 180 с чем-то абитуриентов принято только 37. Но на мой взгляд секретный экзамен в Вятке был построже московского.

Начал я затем тратить свой капитал, который по прибытии в Москву оказался очень мизерным: у меня оставалось всего около пятидесяти руб. Из них прежде всего поспешил внести двадцать пять руб. в университет; затем с помощью хозяина на толкучке купил мундир из гвардейского сукна и с красным воротником, который тут же на толкучке при мне продавец заменил скорее зеленым, чем синим воротником, но до такой степени узким, что его нисколько не видно было из-под воротника моего серого, толстого сукна пальто.

Когда я отдал еще деньги за квартиру, за прописку в квартале университетского билета, то у меня осталось только 17 р. да громадные надежды на авось да как-нибудь. На эти деньги мне предстояло прожить почти целый год. И я по одежке протягивал ножки. За весь год я и пятака не истратил на чай и сахар, да и чаевать-то было не из чего, так как квартиру я нанимал без самовара, прислуги и даже без воды, которую сам каждодневно носил из колодца.

Пища моя состояла сначала из ржаного хлеба с патокой, а когда последняя наскучила, то я заменил ее творогом. Как православный христианин, я с почтением относился к праздникам: каждое воскресенье я отправлялся послушать церковное пение (к которому я всегда был равнодушен) в

---

<sup>35</sup> Ад. Ив. Пако (1800—1800) не мог экзаменовывать Сычугова из французского языка, так как по болезни ушел из университета в 1853 г. Лектором французского языка был тогда Ев. Фед. Шор (род. в 1808 г., ум. ?).

университетскую церковь, где тогда пели чудовские певчие, или в Кремль. После же обедни я отправлялся обедать в так называемую царскую кухню, т. е. на толкучку. Здесь на открытом воздухе под шатром небесным за 5 коп. я съедал обед из двух мясных блюд: горячего и чего-то как будто похожего на мясо — и так плотно наедался, что обходился в эти дни без ужина.

Года 2—3 назад какой-то санитарный врач в „Русских ведомостях“ бульонку, которую я назвал горячим, раскритиковал в пух и прах и о приготовлении ее сообщил такие подробности, что многих барышень, вероятно, от одного чтения его критики не раз стошнило. Да и, вообще, все кушанья, подаваемые в царской кухне, он смешал с грязью. Может быть, последние годы действительно стали кормить скверно, но я, по совести говоря, кухней был очень доволен. Обедал я всегда у одной и той же старушки — Феклы Зотовны (имя-то ее даже не забыл), и она за мое постоянство кормила меня лучше, чем других, и даже отпускала кушанья в долг. Белье я стирал сам прямо на Москве-реке, на берегу которой жил.

С наступлением осени расходы мои должны были немного увеличиться на освещение. Тогда только что какой-то Шандор изобрел лампы керосиновые, называвшиеся шандориновыми. От товарищей узнал я, что освещение шандорином обходится вдвое дешевле, чем сальными свечами, — и я поспешил сделать покупку, хотя и горько мне было заплатить за простенькую лампу, которая теперь стоит не более 50 к., что-то около 3-х руб. Но расход этот покрылся скоро с лихвою.

Поздравляя меня с поступлением в университет, отец в избытке радости послал мне 5 руб. В этом же письме он сообщил, что моя старшая сестра просватана, что по этому случаю долги его значительно возросли и что он едва ли в состоянии будет через год выслать обещанные 60 руб., а потому и предлагает мне перейти из университета в Московскую

духовную академию, где студенты пользуются полным казенным содержанием. К чести отца нужно сказать, что на этом он вовсе не настаивал. Прошло не более 2—3 недель, как я получаю новое письмо от отца.

Екнуло мое сердце, почувяв, что это наверное грамотка невеселая. Еще дома мы решили переписываться как можно реже, не писать поздравительных писем совсем и вообще эту роскошь позволять себе только в важных случаях. Отец справедливо говорил, что 10 коп. (тогда письмо стоило еще не 7, а 10 к.) тратить на бессодержательное письмо не стоит и что если нет писем, то значит все обстоит благополучно. Поэтому-то и дрогнуло мое сердце при получении письма от отца. Действительно, письмо было очень тяжелое; в нем сообщалось, что оба наши дома со всеми многочисленными службами, а равно и некоторая часть движимого имущества сгорела дотла; остался только один овин. Конечно, ничто не было застраховано.

К счастью, пожар случился уже после свадьбы сестры, когда она, забрав свое приданое, уехала с мужем в другое село. Хорошо также вышло и то, что пожар начался с моего большого дома, где жил лесничий, а потому мои родные, жившие во флигеле, успели повытаскать почти половину имущества. Горько было это известие для меня, но ведь горем беду не поправишь. Приходилось серьезно подумать о том, как и чем жить. С гордостью припоминаю, что я не смалодушествовал и что мысль о переходе в академию, — столь выгодном в материальном отношении, — я совсем устранил и порешил бороться с нуждою во что бы то ни стало.

Как-то из Вятки еще я послал в Москву статейку в издававшуюся тогда газету „Наше время“<sup>36</sup>. О содержании ее я

---

<sup>36</sup> „Наше время“—политическая и литературная газета, издавалась в Москве в 1860—1862 гг. П. Ф. Павловым и Б. Н. Чичериным; реакционная газета, субсидируемая министерством внутренних дел.



совсем забыл, но помню хорошо, что она была напечатана без редакционных поправок и, конечно, без упоминания моей фамилии. О статье знал, и то под секретом, один только Красовский, но он, тоже вероятно под секретом, сообщил об авторе губернатору Муравьеву (отцу теперешнего министра<sup>37</sup> и сыну известного Виленского). Гонорара за статью я не получил, да и не помышлял о нем, если не считать гонораром губернаторский завтрак, на котором я присутствовал вместе с Красовским, очень дружным с Муравьевым.

Выходя на борьбу с нуждой, я припомнил о своем дебюте в газете и возымел предерзостную мысль приложить приобретенную мною в семинарии высокопарную витиеватость к газетному делу. Здесь я должен, хоть и со срамом, немного возвратиться вспять. Еще во время пребывания в философии я почему-то вообразил, что сам Аполлон приходится мне сродни, и,— каюсь со стыдом,— потому, вероятно, начал вытягивать из себя вирши, благо подбор и плетение рифм давались мне тогда нетрудно. Бумаги измарал я много, потому что был глуп премного. И боже мой! каких только нелепостей я не изрыгал тогда на бумаге! Писал я и „к. ней“, и к луне, воспевал, сидя в Вятке, красоты юга, бушующее море, звездные упоительные и ароматные ночи, а позднее стал касаться и гражданских мотивов.

Более родственным для себя я считал лирический род с меланхолическим оттенком, не брезговал и дидактикой, ударялся и в комизм и даже в трагизм: одним словом, глупил во всех родах поэзии, или, точнее сказать, рифмоплетства. Был, впрочем, написан мною прозою один крошечный рассказ из крестьянского быта и один из жизни вятского мещанства. Оба рассказа взяты с натуры. И вот я', вооружившись кипой измаранной мною бумаги, направил стопы свои в редакцию

---

<sup>37</sup> Мих. Ник. Муравьев (1840-1900), с 1897 г. - министр иностранных дел.

„Нашего времени". С собой я захватил как-то уцелевшее у меня письмо редакции с извещением, что статья моя будет напечатана. Редактором и издателем „Нашего времени" был тогда Н. Ф. Павлов, довольно известный в свое время литератор и журналист, а еще более известный, как муж поэтессы и переводчицы Каролины, по отцу Яниш.

О Павлове известно еще было, что он любил и умел жить большим барином, что его обеды были не хуже лукулловских и что он жил на широкую ногу, благодаря богатству своей Каролины, которая, носясь в заоблачных мирах, считала недостойным себя делом управление своими богатыми имениями и потому передала его всецело в руки мужа. Сама же газета шла неважно, а в 60-е годы и совсем близилась к упадку. Обо всем этом я узнал уже позднее.

Рекомендую Павлову и представляю ему письмо редакции. Он, позевывая и нехотя, стал предлагать обыденные вопросы, а потом ребром поставил вопрос: что мне надо? Как самый неуклюжий, застенчивый семинарист, я оробел и начал что-то бессвязно бормотать, а в конце концов преподнес плоды своей музыки. С иронией Павлов, перелистав мои тетрадки, проговорил: — Бумаги-то что исписали? Если ваши стихи окажутся не хуже Пушкинских и если вам заплатят, как Смирдин платил Пушкину, то мало, пожалуй, будет и 50000 руб., чтоб расплатиться с вами. Зайдите через неделю.

Являюсь аккуратно. Павлов, должно быть, За завтраком пропустил малую толику, а потому и принял меня чрезвычайно ласково. Помню, что тогда я первый раз в жизни выпил стакан прекрасного кофе (дома изредка подавался кофе, но не настоящий, а цикорный). Много Павлов расспрашивал меня о житье-бытье, любезничал, острил, словом обворожил меня. Затем чисто по-товарищески, без покровительственного тона говорит:

— Вы мне очень понравились: позволите ли мне быть совершенно откровенным?

— Конечно, — я ответил утвердительно. Тогда он с захватывающею искренностью сказал мне:

—• Бросьте стихи, если не совсем, то хотя на пять лет. Таланта поэтического у вас нет; одной гладкости стихов еще мало. Проза лучше, но и ею писать погодите; нужно поучиться, понаблюдать и пожить подольше. Ее я беру, но только дам ей другую форму. Извольте за нее и за прежнюю статью получить 4 руб. 50 коп. А чтобы совет мой крепче удержался в памяти, я напишу в вашей тетради стихи Пушкина. Только не сердитесь.

Отдал Павлов 4 руб. 50 коп. и на прощанье сует мне в руку какую-то ассигнацию. Я с волнением сказал ему:

—• Извините меня, но я подавляю жизнью не желаю; я ищу только работы. Трудиться я готов, насколько сил и умения хватит, но от даровой помощи решительно отказываюсь.

— Вот как, — проговорил он, как большой барин, но сделав, видимо, над собою усилие, продолжал: — какую же работу вам дать? Самую подходящую был бы урок, — и я при моем обширном знакомстве мог бы его доставить, но посмотрите только на свой костюм; в нем нельзя явиться в порядочный дом. У нас ведь по платью встречают. Впрочем, оставьте свой адрес; авось найдется урок в таком доме, где на ум обращают больше внимания, чем на костюм.

А я не мог не согласиться, что у меня костюм был действительно неважный; одни смазные сапоги, попахивавшие дегтем, нервную барыню довели бы, пожалуй, до дурноты. Как ни обидны были для моего самолюбия слова Павлова о моих поэтических потугах, я скоро согласился с правдивостью их и признал себя неспособным к писательству не только стихов, но и прозы.

Только много лет спустя я еще раз попробовал свои силы в литературе, конечно, под псевдонимом, но, несмотря на снисходительность критики, сам сознал, что из меня никогда не выйдет даже третьестепенный писатель. Правда, охота-то была

смертная, но участь вышла горькая. И так про свой дебют на литературном поприще я могу выразиться словами Кречинского: „сорвалось“.

Едва не забыл сказать о записанных в моей тетради стихах Пушкина. Вот они:

Пиитику прошед,  
Крылатого Пегаса наш Кутейкин оседлал.  
Он мнил взлететь на верх горы Парнаса,  
Но быстрый конь на колокольню отомчал<sup>38</sup>.

Великое спасибо Николаю Филипповичу, что он так ловко вышиб поэтическую дурь из моей головы. В этой истории обиднее всего было для меня предложение подаяния, но и эту обиду я скоро забыл, приняв во внимание, что Павлов поступил так, как поступают большие баре, в среде которых он вращался. Знакомство мое с ним на этом и кончилось.

\* Здесь кстати сказать об остроумии Павлова. Не раз я слышал такой рассказ об нем. Когда мы в день Дрезденского побоища шли большою толпою по Тверской, навстречу, идущему не с нами, а по тротуару, Павлову попалась старушка и спросила его: кого хоронят студенты? — Науку, — ответил находчивый Павлов\*.

Зарботок в 4 руб. 50 коп. мало поправил мои тощие финансы и тем более, что я добрую половину ухлопал под Сухаревой на покупку самых необходимых учебников по медицине. С первых же лекций я убедился, что будь я хоть семи пядей во лбу, а все-таки ограничиваться одним слушанием лекций без повторения их дома невозможно!. Тогда-то я и положил начало своей библиотеке, хотя отлично сознавал, что она отнимает у меня последние крохи от хлеба насущного.

Чтоб поддерживать обычное для меня жизнерадостное настроение, я, шутя, утешал себя каламбуром, что духовный

---

<sup>38</sup> У Пушкина таких стихов нет.

хлеб при нужде может заменить хлеб обыкновенный. Однако шутки шутками, а мысль о хлебе насущном настойчиво преследовала меня. Как бы ни была велика вера в себя и решимость терпеть и бороться до последнего истощения сил, однако их было мало для того, чтобы быть настоящим студентом. Обычные способы, вроде объявления о желании получить урок или какую-либо другую работу, были испробованы, но без толку.

Тогда озарила меня блестящая мысль пустить в ход труд физический, если не нашлось приложения для труда интеллигентного. В университет и обратно каждый день я проходил по набережной Москвы-реки и неоднократно любовался, как ломовые крючники с барок перетаскивали кули овса, крупы и муки в расположенные по набережной лабазы (между Воспитательным домом и Москворецким мостом). Давно уже я сознал, что всякий труд, лишь бы он был честен, не унижает человека, и потому, отложив в сторону всякие амбиции, я в одно утро, проходя по набережной, спустился на барку и предложил одному, видимо, страшно уставшему крючнику отдохнуть, пока я за него несколько кулей стащу в лабаз.

Предложение мое ошеломило крючника и его товарищей; пришлось мне выслушать даже несколько обидно-сальных острот, однако дело кончилось тем, что для пробы навалили на мою спину куль овса пудов в 5—6. Я, играючи и нисколько не сгибаясь под тяжестью, стащил его на гору в лабаз. Действительно, тяжесть эта показалась мне очень легкой. Возвратясь на барку, я попросил навалить на меня куль потяжеловеснее. Потасил я девятипудовый куль крупы и опять не почувствовал особой тяжести. Вместо острот мне стали оказывать уже любезное внимание.

Между тем, уже и наверху, т. е. по лабазам, быстро пробежал слух, что барин, дескать, так легко таскает кули, что заткнет за пояс и крючников. Хорошо не помню, но полагаю,

что едва ли я успел стащить 4—5 кулей, как один благообразный и добродушный купец спросил меня:

— Ты что же, побаловаться хочешь или всуерьез?

Я отвечаю, что рад работе и что мне приятно зарабатывать малую толику хоть каждый день, но только я не могу работать, как крючники, с утра до вечера, так как с 9 до 2 час. есть у меня другая служба. Тут я что-то наврал насчет ее, но и виду не показал, что я студент. Это сделать было тем легче, что синий воротник моего виц-мундира был так узок, что его нисколько не видно было из-под воротника пальто. Светло же серое пальто как нельзя более было удобно для работы, ибо мучные кули не оставляли на нем заметных следов.

Несколько недель продолжалась моя работа; уже река подернулась льдом, а я все-таки еще таскал кули, так как, за теснотою лабазов, купцы не спешили с выгрузкою барж. Получал я по 2 и по 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> коп. с куля и в день зарабатывал до 50 коп., а если работал в два приема, то и до 70 коп. Перезнакомился я со всеми лабазниками, а с благообразным старцем вошел даже и в приятство. Знали они меня под именем Ивана, кажется, Петровича, и у крючников я стал тоже своим человеком.

Кули значительно поправили мои финансы: я не только безбедно жил, пока был заработок, но скопил даже капиталец на прожитие в течение 2—3 месяцев. А тут еще подоспела для меня новая и великая радость.

Пожар, истребивший наши дома, разжалобил даже бесчувственную духовную консисторию; она выдала отцу удостоверение, что он не может содержать меня в университете. Свидетельство это я представил ректору, и он признал его достаточным для освобождения меня от взноса 25 руб. за 2-ю половину учебного года. К моему счастью, тогда не были еще опубликованы жестокие правила для студентов, послужившие

одною из причин студенческой истории осенью 61 года, а потому и освобождение от платы совершалось легко.

Одним словом, я благоденствовал, а под влиянием этого благоденствия немного увеличил и расходы на питание. В царскую кухню я ходил обедать не по праздникам только, но нередко и в будни, да и проедать стал побольше, особенно в дни усиленной физической работы. Игра с кулями сильно повышала аппетит, да и пищи требовала более питательной. Мне уже недостаточно было патоки или творогу с хлебом, а неволью как-то тянуло в царскую кухню.

К. весне 61 г. мои текущие и резервные капиталы почти начисто истощились зимою, и в начале весны работа не наклеивалась. Попадалась, правда, да и то случайно, мелкая работишка и все у тех же добрых лабазников. Приводилось то счета сверять, то книги по разным записям проверять и пр., но и такая работа встречалась редко: заработаешь, бывало, 20—30 коп., да неделю и ждешь новой работишки.

А тут еще пришлось горьким опытом убедиться, что беда не приходит одна. На моих крепчайших смазных сапогах появились на самых видных местах почтенных размеров вентиляторы; не только толстейшие подошвы, но даже подковки на каблуках о московские мостовые почти начисто истерлись, а самые сапоги уже нисколько не отвечали своему назначению. Дешево купленный на толкучке виц-мундир обнаружил крупные изъяны, для сокращения которых я прилагал массу труда, чернил (для закрашивания) и художественного творчества. Невыразимые оказались едва ли в лучшем положении. Только пальто, сшитое из гвардейского солдатского сукна, продолжало еще служить верою и правдою.

Пришлось произвести сортировку и расценку всего моего движимого имущества. Подушка с наволоками, ситцевое, как теперь точно вижу, очень искусно из разных лоскутков составленное милыми сестрами одеяло, простыни, рубахи, За исключением двух перемен, подштанники признаны мною

совершенно излишнюю роскошью, а потому и проданы на толкучке, конечно, за бесценок. Той же участи подвергся и дедов громадный чемодан, ибо, за продажей содержимого, он оказался также ненужным, хотя, впрочем, он и служил мне матрацом. По случаю наступления длинных дней лампа также была признана лишней. Имущества, кажется, немало; только денег пришлось получить за него что-то уж очень мало, около 7 или 8 рублей.

Этими деньгами можно было только немного отдалить, но не устранить финансовый кризис. Немало я задумался тогда, искал разные выходы из него, но толку не было. Случай, который не раз выручал и прежде меня из беды, пришел на выручку и теперь. Чтобы быть понятным, я должен сделать прыжок назад. Кажется, я забыл выше сказать, что несколько недель был я студентом филологом, а сделался я им по просьбе проф. Меньшикова, удивившегося моим, якобы, хорошим познаниям в греческом языке.

Не по вкусу пришлась мне филология, и я в октябре уже перекочевал на медицинский факультет. Значит, явился я в медицинские аудитории уже в то время, когда товарищи перезнакомились между собою, а я их и в лицо еще не знал. Меня же они скоро узнали и запомнили, как после говорил мне Н. И. Лукьянов.

Мое переселение на медицину приблизительно совпало с моею работою на Москве-реке. Как-то раз прихожу я на лекцию Гивартовского [по химии] и усаживаюсь, по обычаю, на самой задней, т. е. верхней, скамье амфитеатра. И только что я уселся, как заметил пристально устремленные на меня взгляды некоторых товарищей и взгляды самые добродушные, но, очевидно, не случайные. Обыкновенно, дело шло так: один товарищ, посмотрев на меня, что-то шептал другому, который, круто оборотившись в мою сторону, в упор оглядывал меня, потом что-то шептал третьему товарищу; следовало новое поворачивание головы и оглядывание меня и т. д.



Я всегда был страшно застенчив, да таковым остался и посейчас; поэтому понятно, как меня смущали и конфузили эти пристальные и производимые не сразу, а поочередно взгляды. Сначала я объяснял их бедностью и неуклюжестью моего костюма, затем начал осматривать его, с целью убедиться, нет ли на нем какого-либо неприличного изъяна, но ничего не нашел. Да и во взглядах светилась не насмешка, а сочувствие ко мне, какая-то особенная доброта. Несмотря на это, оглядывание меня не менее как десятком товарищей до такой степени смутило, что я хотел уже уйти из аудитории, но приход Гивартовского [Г. А.] остановил меня.

После лекции некоторые товарищи, между прочим, Лукьянов, начинали заговаривать со мной, но я, под влиянием продолжавшегося еще смущения, отнесся к их любезности, как неотесанный дурак, и на все их вопросы или отвечал словами: да, нет, или же совсем отмалчивался. Скоро, впрочем, в анатомическом театре и лаборатории я перезнакомился со многими товарищами, но, по своей дикости, в близкие отношения не вступал. Много раз замечал я со стороны некоторых из них поползновение узнать кое-что о моей жизни, о моих средствах, но я отмалчивался или отвечал неопределенно. Так поступал я и после, когда с некоторыми товарищами я сблизился настолько, что изредка заходил к ним на квартиры.

Много времени спустя я узнал причину, побудившую товарищей так пристально посматривать на меня. Один из них как-то проходил по набережной в то время, когда я таскал кули, и, вероятно, немало подивился, что студент занимается нестуденческим делом. Когда я явился на лекцию, то естественно обратил на себя внимание свидетеля моих трудов, который о своем открытии сообщил приятелям, а там уже и пошла обыкновенная история. Товарищи скоро увидели, что я свою персону ревниво охраняю от любопытствующих вопросов, перестали касаться этого предмета, и между нами установились хорошие отношения. Один только товарищ Кичеев, прекрасный

и симпатичный господин, от времени до времени порывался ворваться, так сказать, в мою частную жизнь, и хотя он встречал с моей стороны любезный отпор, но не прекращал своих попыток.

Кстати здесь скажу, что Кичеев на нашем курсе был кассиром. Тогда, т. е. до погрома 61 г., существовали чисто студенческие кассы, управляемые выборными от каждого курса кассирами. Это были прекрасные и высоко-полезные для студентов учреждения с порядочными капиталами, которые составлялись из добровольных лепт самих же студентов. Выдачи из кассы нуждающимся производились так деликатно и благородно, что никто из них не чувствовал ни зависимости, ни унижения. Я тоже иногда вносил Кичееву свои гроши и, значит, имел право при нужде пользоваться услугами кассы, но на это, как ни тяжело иногда жилось, не хватало моей решимости.

Трудно сказать, что именно мешало мне обратиться в кассу за пособием, на которое я, кажется, имел несомненное право. Безобразная ли гордость, бурсацкая ли нелюдимость и застенчивость, дикость ли и своеобразие моего нрава играли тут роль, право не знаю. \* Вероятно, все эти некрасивые свойства моей природы соединились тогда, да, кажется, так и остались на всю жизнь. По крайней мере, и теперь, т. е. 40 лет спустя, я становлюсь крайне щекотливым, когда замечаю, что друзья мои начинают прилагать заботы о моей ничтожной особе. Видно, горбатого только могила исправит \*.

Весною 61 г., когда наступил для меня полнейший финансовый кризис, когда продать уже было нечего, когда, по случаю поздней весны, барки еще не пришли, а всегда рано выраставшие в ржаных полях песты, на которые я возлагал радужные надежды, еще не появились, когда поэтому пришлось жить не только впроголодь, но и буквально дня по 2—3 голодать, тогда-то на выручку мне явился, не раз и прежде спасавший меня случай. Добрые товарищи, заметив, что меня сильно подтянуло и что мое обычное жизнерадостное

настроение сменилось настроением мрачным, часто спрашивали меня: Здоров ли я.

Вот в это-то тяжелое время я раз, выйдя из университета, встретился с Кичеевым, который, к удивлению моему, пошел по одному направлению со мной, хотя его квартира находилась совсем в другом конце города. Дорогою он так убедительно и горячо говорил на тему о моей нужде, которую хотя я так тщательно скрываю, но о которой как он, так и некоторые товарищи догадываются, так ясно доказал, что мое нежелание пользоваться деньгами кассы не только несправедливо, но и обидно для студентов, что я растаял и как-то невольно поведал кое-что о себе. Узнал я тогда же от него, что многие товарищи знают о моей работе на барках и относятся к ней не только с уважением, но и с благоговением, а это-то больше всего и обязывает их поддерживать меня в трудное время жизни.

Столько доброты и искренности было в словах милейшего Кичеева, что у меня от избытка чувств слезы показались на глазах, да и сам он не мог удержаться от них. В приятной беседе мы незаметно прошли верст около 5. Крепко Кичеев на прощание пожал мне руку и вручил 20 руб., которые я без сопротивления взял. В последующее время я более, чем в 20 раз, вероятно, возвратил свой долг нуждающимся студентам, но, несмотря на это, я и теперь еще считаю себя должником. Думается мне, что, помогая тем другим студентам, я не проявил и половины той искренней доброты, которую выказал мне тогда Кичеев. Если он жив еще, я от души желаю ему долгих и счастливых лет. Я потерял его совсем из виду; помнится, впрочем, что он много лет назад участвовал в редакции „Будильника“<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> В литературных справочниках указан редактор „Будильника“ Ник. Петр. Кичеев, окончивший Московский университет; но он родился в 1847 г. (ум. в 1880 г.) и вряд ли мог быть в 1861 г. студентом.

20 руб. выручили меня из беды, похожей уже тогда на петлю, и надолго обеспечили дальнейшее мое житье-бытье. Конечно, я не упускал ни малейшей возможности заработать деньжонок, только заработки-то мои были неважны. Главным же из них было таскание опять кулей, но оно, благодаря большому наплыву рабочих, продолжалось недолго. Небольшие деньги зарабатывал я еще перепиской, да помнится, что других источников дохода у меня тогда и не было.

Большую часть лета я жил впроголодь, а в конце его в течение нескольких недель не имел даже своего угла, а коротал ночи то в окрестностях Москвы, то в Кремлевском саду. Вскоре затем наступил тяжелой памяти октябрь, чреватый памятными, конечно, и тебе событиями<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Речь идет о студенческих волнениях в Москве, вызванных провокационным поведением правительства вообще и высших министерских чиновников ведомства просвещения в частности по отношению к студентам Петербургского ун-та, где в сентябре 1861 г. произошли т. и. студенческие беспорядки с арестом и увольнением студентов. Московские студенты выступили на поддержку своих петербургских товарищей. Когда студенты, около 400 человек, собрались 12 октября 1861 г. к дому генерал-губернатора (ныне дом Моссовета) на Тверской ул., чтобы подать Тучкову очень умеренное заявление на имя министра просвещения,—на студентов набросились бывшие в засаде пешие и конные полицейские и жандармы, путившие в дело нагайки и холодное оружие. Кроме того полицейские провокаторы, по свидетельству даже реакционных и враждебных студентам современников, пустили в собравшуюся толпу темного и невежественного простонародья слух о том, будто студенты бунтуют потому, что недовольны отменой крепостной зависимости крестьян и требуют восстановления рабства. Толпа тоже набросилась на студентов. Произошло т. н. „Дрезденское побоище“ (по названию гостиницы „Дрезден“ на одном из углов против дома генерал-губернатора), в котором очень многие студенты были избиты,“ изувечены и изранены, и несколько сот студентов были арестованы. После побоища был устроен суд над студентами, и многие из них были уволены из университета. Подробности этой истории с приложением документов, студенческих сатирических песен о „Дрезденской победе“ Тучкова и об отношении к делу царя, воззваний студентов, с указанием литературы предмета можно найти в „Архиве Раевских“, под ред. В. Л. Модзалевского, т.

Волею судеб я с несколькими копейками в кармане, с узелком подмышкой и в костюме почти золоторотца оставил на целые три года, университет и очутился за пределами Москвы, на распутии, с мучительным вопросом: куда итти и где приклонить мою забубённую головушку? В большом ходу в то время были студенческие кружки и землячества. Я, когда был еще филологом, получил приглашение вступить в тульское землячество, но так как приглашение шло только от двоих, большинство же туляков не желало чужаков, то я и отклонил его. О вятском землячестве не могло быть и речи, так как кроме меня было только двое вятчей и то из старших курсов. Был довольно большой кружок разноплеменных, составившийся преимущественно из уроженцев окраин (не всех, конечно) и дальних губерний. В него-то и поступил я.

Вот уже подлинно была смесь племен, наречий, званий, состояний и пр.! На первых же порах не по душе пришелся мне этот разнокалиберный кружок, хотя он в числе членов насчитывал немало ярко красных политиков и реформаторов, что, повидимому, должно было очаровать бывшего семинариста, склонного к увлечениям и мечтавшего перевернуть для блага человечества весь мир вверх ногами. Скоро выяснилось, что из кружка я не вынесу ничего путного, что серьезные и хорошие убеждения в нем ценятся невысоко, а вместо них царит красивая, но пустозвонная и бессодержательная фраза, и что, наконец, сами ораторы ораторствуют не затем, чтоб "выяснить какой-либо научный или общественный вопрос, а затем, чтоб насладиться собственным красноречием и порисоваться пред наивными товарищами. Кажется, моего терпения хватило на 2—3 вечера, а потом я скромно ретировался.

---

V, Пет., 1915 г.; см. еще „Воспоминания Б. Н. Чичерина—Московский университет“, М. 1929 г.

В это же приблизительно время я случайно попал в польско-русский кружок, в котором, впрочем, русские едва ли составляли и  $\frac{1}{4}$ . Дебатировались здесь политические, национальные, а более общественные и литературные вопросы. Кружков польских с ярко национальной окраской было несколько, но наш кружок отличался особенно примирительным направлением; поляки—искренно или нет, я не знаю,—держали себя относительно нас терпимо, о пропаганде пока не заикались и вообще вели себя превосходно.

Головой выше всех нас стоял в этом кружке студент Кольшко<sup>41</sup>. Это был человек замечательного ума, железной энергии, с громадной эрудицией, обладавший недюжинным даром слова и вдобавок пленительною красотою. Я не выносил покровительственного тона, не воздавал никому поклонений, но для Кольшко готов был бы сделать исключение, если б это было нужно, до такой степени он располагал в свою пользу. И теперь я не постигаю, как не постигал и тогда, что могло крепко сблизить нас и особенно расположить его ко мне, жалкому необтесанному семинаристу.

Что я любил и уважал Кольшко, это понятно для всякого, хотя немного знакомого с его выдающимися достоинствами; но за что он горячо полюбил меня, это непостижимо. А что он любил меня и любил бескорыстно, в этом я не сомневаюсь. \* Приходило мне на мысль, что он хитрил со мною, рассчитывая на меня, как на пропагандиста польской идеи между русскими (а хитрили так многие поляки), но нелепость такой мысли была очевидна \*. Он знал мои взгляды на польский вопрос; я не раз в кружке говорил, что разделы Польши были крайне несправедливы и много омрачили славу Екатерины, но их нужно

---

<sup>41</sup> Среди подписей под заявлениями студентов по поводу события 12 октября (см. примечание на стр. 274) есть также фамилия студента Бол. Кольшко, бывшего во время восстания 1863 г. в отряде Сиг. Сераковского и казненного 28 мая 1863 года.

признать бесповоротно совершившимися фактами; думать же о восстановлении Польши в границах 1772 г. просто безумно, тем более что в отторгнутых тогда областях польский, собственно, элемент составляет теперь ничтожный процент.

Некоторые возражали мне, но Кольшко вполне соглашался со мною и убедительно проводил мысль, что между славянскими племенами должна быть не рознь, а дружба, что особенно необходимо для противовеса немцам. Политическое учение его было разумно умеренное; тут мы сходились почти во всем; разногласия бывали у нас только по вопросам общественным и частью литературным. Кольшко, очевидно, любил беседовать со мною и ради бесед решался на подвиги: он дважды был у меня на квартире, которую с его квартирою разделяло пространство верст в 8—9. Месяцев семь я был хорошо знаком с ним, часто с ним виделся, целые часы беседовал, но ни разу не видал с его стороны даже намека на пропаганду или желание завербовать меня.

Осенью 61 г. мы встречались и в университете и в саду<sup>42</sup> часто, но тогда было не до долгих бесед: он был крупным вожаком студентов, но не в польском одностороннем направлении; у меня также было свое дело. В октябре я быстро оставил Москву и потом потерял Кольшко из виду. Когда через три года я вернулся, то не нашел в университете ни Кольшко и никого из членов кружка. Каково же было мое изумление, когда я через несколько лет узнал, что Кольшко был в 62 году начальником банды, попал в плен и был повешен Муравьевым! Чудеса!!!

Прежде чем надолго расстаться с университетом, мне захотелось вспомнить о моем добрейшем квартирном хозяине Петре Абрамовиче и его благоверной супруге Марье

---

<sup>42</sup> В университетском саду происходили собрания радикального студенчества по поводу осенних событий 1861 года.

Дмитриевне, а равно и конуре, в которой я жил. Квартира их и моя находилась на Малом Арбатце, под Симоновым монастырем и около пороховых заводов. \*Ты, конечно, не бывал в этой местности, но чтоб получить понятие о пробеге, который я каждодневно делал, спроси любого москвича, и тебе укажут Симонов монастырь, славящийся высочайшей колокольней. Взглянув на него, ты убедишься, что я пробегал дистанцию огромного размера. И действительно \* от Арбатца до университета будет добрых 7, а пожалуй и 8 верст; скорым шагом я проходил это пространство лишь в 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа.

Своих хозяев я видал только ранним утром и поздним вечером; где они проводили целые дни, для меня до поры до времени оставалось тайной, да к тому же я никогда не интересовался чужими, частными делами. Но и во время коротких и случайных встреч и разговоров они приобрели такое большое с моей стороны доверие, что я на первых же порах все свои капиталы (руб. 16), за исключением лишь расходной мелочи, отдал на хранение хозяйке, опасаясь московских ловких жуликов. А ловкость их я уже испытал во время моего глазенья на царский выход в собор: у меня вытащили кошелек с несколькими копейками, хотя я, кажется, постоянно держался за карман. Несколько поражала меня костюмировка моих хозяев, а также частые смены их обстановки: переходы от довольства к скудости и обратно происходили почти чуть не ежемесячно. Большею частию, отправляясь из квартиры, Петр Абрамович был одет настоящим, безукоризненным франтом; жена же его закутывалась в лохмотья и похожа была тогда на нищую.

Перед святками хозяин был именинник. Много собралось гостей, прилично, даже франтовато одетых, но несколько изумивших меня каким-то неслыханным мною жаргоном; говорили они, кажется, и по-русски, а тем не менее я и половины их разговоров не понял. Угощение было зело велие; все, исключая совсем непьющих, порядочно подгуляли. Когда



все гости разошлись, хозяин, бывший на седьмом взводе, зашел в мою каморку и начал объясняться в любви ко мне.

Затем распахнулась его добрая, откровенная душа, развязался язык, и он без всякой просьбы с моей стороны поведал мне интересную о своем житье-бытье повесть, краткое извлечение из которой будет, полагаю, небезынтересно. Хозяева принадлежали к мошеннической шайке, насчитывавшей, помнится, около 40 членов. Ежегодно шайка платила полиции дани 8 000 руб. за покровительство и безнаказанность. Железных дорог тогда почти не было, и помещики въезжали в московские заставы в своих экипажах. Для краткости профессию шайки я изображу в виде наброска с картины.

По составленному ранее расписанию члены шайки ранним утром отправлялись к заставам партиями, по 2—3 чел. в каждой. Обыкновенно партию составляли щегольски одетый мужчина и одна или две обтрепанные женщины. Каждая партия в изобилии была снабжена всевозможными ювелирными изделиями, частью действительно золотыми, главным же образом медными, но прекрасно вызолоченными. Равно и камни были поддельные и настоящие. Франт-мужчина никогда не ходил рядом с оборванной женщиной, а держался от нее на далекой дистанции.

Подъезжает к Москве барыня; за заставой, где обыкновенно нелюдно, встречает барыню обтрепанная женщина, украдкой из-под полы показывает блестящую вещицу и делает разные знаки. Экипаж останавливается, женщина, оглядываясь, осторожно подбегает к нему и предлагает целую коллекцию драгоценностей, от которых у барыни глаза разбегаются. Положим, она облюбовала браслет, стоящий, по ее мнению, не менее 100 руб., а продающийся за 70 руб.; начинается торг, — и браслет медный, которому красная цена 3 руб., покупается за 50 руб. Обстоятельно убедиться в доброкачественности браслета некогда, да и опасно.

Заплатив деньги, барыня в восторге въезжает в заставу, но ее тотчас же постигает горькое разочарование. К ней уже не украдкой, а нахрапом подсакивает франт, сообщает, что его обокрали, называет безошибочно украденные вещи и прибавляет, что он издали даже видел воровку, передавшую кое-какие вещи именно ей — барыне. Она запирается, клянется, но франт коротко заявляет: пожалуйста в полицию, а бутарь [полицейский], в ожидании мзды, уже держит под уздцы лошадей...

Слово „полиция“ приводит барыню в ужас; о чудовищных, чисто разбойнических подвигах ее тогда шла молва чуть ли не на всю Россию. Я много раз слышал, что даже храбрые и не за собой никаких проступков люди при вызове в квартал творили молитву и шептали псалом: помяни, господи, Давида и всю кротость его. Мудрено ли, что на барыню, да еще провинциалку, напал ужас при зове в полицию. Она с готовностью возвращает купленную вещь, лишь бы избавиться от срама, но франт вежливо и с твердостью заявляет, что барыня должна уплатить не за браслет только, но и за все украденные вещи, и тут же объявляет приблизительно их стоимость, которая переваливает иногда за 1000 рубликов.

Начинается торг, барыня просит, плачет; франт говорит о своей жалостливости и других добродетелях, понижает объявленную цену постепенно, со вздохами и сожалениями о понесенных им убытках, и, наконец, торг кончается. Франт получает условленную сумму, а если у барыни не хватает денег, то он из уважения к ней вместо них получает кольца, браслеты, но только уже не медные, а настоящие золотые и, элегантно снимая цилиндр, вежливо раскланивается с барыней, хотя и обобранной, но довольной тем, что она миновала рук полиции. — Ну, а как велик денной заработок партии? — спросил я хозяина.

— Всяко, — ответил П. Л., — иногда и в неделю не достанешь ни гроша, а иногда и в день перепадет 500—600 руб. Другие

партии больше зарабатывают, а я больно жалостлив, да и бога помню. По-настоящему, по-торговому не надо бы грозить полицией. Ведь хорошо уже и то, что за трехрублевую вещь получишь рублей 50, да торговля-то у нас непостоянна, а полиции хоть роди, да 8 тыс. отдай. Опять же и то надо сказать, что нет большого греха 2—3 сотни получить с барыни лишних. Мы эдак с бар только свое получаем; ведь ихние деньги из нашей крови делаются. Дома-то барынь уму-разуму не учат, ну вот мы и надумались поучить их: они и платят нам, во-1-х, за свою дурость, а, во-2-х, за жадность.

— Ну, с мужчинами-то торгуете ли?

— Прежде бывало, — сказал П. А., — а теперь бросили. Года два назад один из наших хотел было поживиться, да и попался. Он напал на переодетого офицера из тайной полиции. Беда тогда была страшная: офицер этого храбреца передал частному [приставу] Пяткину [В. В.], а он и закатил ему штук 500 горячих, так что бедняга с месяц провалялся в постели. Да и наша компания поплатилась целою тысячею рублей. Пяткин говорил, что эти деньги пойдут за бесчестие офицеру, а куда они пошли — бог ведает.

Ко мне хозяева были замечательно добры; из денег, отданных мною на хранение, не пропала ни одна копейка; при безденежье моем они не только ждали плату, но и предлагали мне займы. В начале лета постиг их погром. Как-то вернувшись домой, я уже не застал их: они были посажены в тюрьму, а за что—не помню. Бабушка (так звал тещу И. Л.) с внучкой 10 л., дочерью их, на другой день уезжала в деревню. Переночевав, и я с своим имуществом подмышкой отправился искать себе уголок. Года через четыре я встретил хозяйку в Москве и узнал, что она овдовела и поторговывает на толкучке. Не раз я потом навещал ее. А когда' уже был врачом, то, к счастью, мне удалось устроить ее дочь на акушерские курсы и тем хоть немного расплатиться за их доброту и любовь ко мне. Здесь ставлю

большую точку и на время кончаю свои воспоминания. \* А быть может и еще что-либо припомню \*<sup>43</sup>.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### В ДЕРЕВНЕ

Письмо В. Ф. Томасу

Москва, 14 сентября 1868 г.

Мой любезнейший камрад Владимир Филиппович! Недавно только я получил Ваше письмо от Сергея Васильевича, но за разными делами не мог тотчас же ответить.

Нынешнее лето я провел подлейшим образом. По приезде из Петербурга задумал было я готовиться к докторскому экзамену, в три недели одолел физиологию и фармакологию. Не даром мне обошлась эта победа. Гортанью я потерял до двух стаканов, да кроме того несколько дней похаркивал кровью. Вижу, дело плохо. Являюсь к Алексею Ивановичу<sup>44</sup> за положительным ответом относительно того, позволят ли мне заседания в 2 или 3 сдать теоретические экзамены (Алексей Иванович прежде находил это возможным). Алексей Иванович вместо положительного ответа отвечал ни то, ни се. Я понял, что

---

<sup>43</sup> В виде связных воспоминаний автор больше ничего не сообщал своему другу, но в целом ряде писем, при которых посылались автобиографические очерки, С. И. Сычугов сообщил много интересного о своей деятельности в деревне в роли вольного крестьянского врача. Об этом рассказал он также в очерке „Год вольной деревенской практики“. Все это приведено дальше в существенных извлечениях в виде главы четвертой настоящего издания.

<sup>44</sup> Ал-й Ив. Полунин» (1820—1888) — декан медицинского факультета Московского университета.

труд мой может пропасть даром, и покончил на время с докторским экзаменом.

Едва только начало поправляться мое здоровье, едва только начал увеличиваться вес моего тела, как я получил из Петербурга письмо, которым извещают о назначении меня в Забайкальскую область в крепость Кударинскую, Дрогнуло мое сердце при этом известии. Как шалый прожил так неделю. С полным индифферентизмом относился я к окружающему, мысленно прощался я со своими друзьями и знакомыми без надежды когда-нибудь их видеть. Я не думал о возможности когда-нибудь вернуться в Москву, потому что если бы и было это возможно, то все-таки возвращаться было незачем. Живя с дикарями, я бы и сам одичал.

Но время и прежний закал взяли свое. Видя невозможность изменить свою злополучную долю на лучшую, я начал вдумываться в свою будущую обстановку. Прежде всего нужно было решить вопрос: чем мне быть в Кударинской крепости? Все говорит против занятия медициной, и я не без малой борьбы решил, что медиком быть не стоит. Район, который был вверен моему попечению, состоял из 300 человек бурят, которые, конечно, никогда бы не обратились ко мне за советом; заниматься медициной из любви к искусству, — без всякого приложения к жизни, — я считал делом недостойным порядочного человека. Чем же быть, если не медиком?

После долгих дум, после советов с более меня практичными людьми я решил, что для меня и для общества будет недурно, если я буду каким-либо заводчиком. Каким именно, в Москве решать этот вопрос было бы безрассудно, и я отложил решение его до той поры, когда более или менее ознакомлюсь с местными условиями. Будущий заводчик, наконец, после долгих головоломаний помирился со своим будущим. Я серьезно начал готовить себя к будущей профессии: продрал математику и начал уже заниматься прикладной механикой и технологией.

Забыл сказать, что я ездил два раза в Питер хлопотать о переводе на другое место, но получал положительные отказы. 1-го сентября вдруг в университете я получаю предписание военно-медицинского департамента о переводе меня из Забайкалья в Херсон. Кому я этим обязан, право хорошо не знаю. Излишне говорить, как подействовало на меня подобное известие. Я снова ожил, расцвел.

Жалею, что мне не удалось повидаться с Вами, добрый коллега! Впрочем, может быть скоро и увидимся. Я поеду в Херсон числа 23 сентября; к этому времени, кажется, и Вы собираетесь в Москву.

Н. И. Лукьянов кланяется Вам. Он думает поступить в Саратовское земство. Левенштама давно не видал.

До свидания, добрейший коллега!

Ваш Сычугов<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Рукою Томаса на письме: получил 16 сентября 1868 года из Москвы. На конверте: В г. Данков, Рязанской губ. Его высокоблагородию Владимиру Филипповичу Томас. Штемпель: 14 сентября 1868. После этого письма в собрании бумаг С. И. Сычугова в архиве В. И. Семевского, перерыв до 1891 г. Почему-то письма Сычугова с 1891 г. перенумерованы рукою В. Ф. Томаса от 1-го, но, конечно, это не может служить доказательством того, что за время от 1868 до 1891 года Сычугов не писал своему другу. На этот период приходится земская врачебная деятельность С. И. Сычугова, которую он считал для народа бесполезной, хотя имеются свидетельства его чрезвычайно усердного и преданного служения интересам трудового крестьянства. После 18-летней службы земству (только первые 2—3 года после университета С. И. провел на службе по военно-медицинскому ведомству — в Херсонском дисциплинарном батальоне) Сычугов поселился в деревне и занялся частной врачебной практикой среди крестьян, взимая с больных по 5 — 10 коп., включая плату за лекарства. Эту сторону своей деятельности Сычугов описал в статьях: „Год вольной деревенской практики" и „О вольной врачебной практике в деревне". Первая из этих статей приводится здесь в наиболее существенных извлечениях; вторая представляет собою ее расширенное повторение. Статья эта в свое время наделала много шума в печати, вызвала отклики в газетах и журналах, общих и специальных, и письма молодых врачей к Сычугову лично.

## *Год вольной деревенской практики*

Настоящие мои заметки, как заметки врача, почти 1½ года живущего в деревне вольною практикою и взявшегося за это дело не под давлением нужды и безработицы, а вполне добровольно и обдуманно, будут, быть может, иметь некоторый интерес...

Решившись променять покойное и хорошо оплачиваемое место на вольную практику в деревенской глуши, я хотя и крепко верил в успех затеваемого мною дела, но были моменты, когда под влиянием разных обстоятельств вера моя несколько и колебалась... Почти во всех письмах [молодых врачей к Сычугову] высказывается желание узнать о ходе моего дела, а в некоторых — прямо ставятся мне разные вопросы. Посильным ответом на них и являются настоящие заметки. Нелегко мне публиковать их, так как волей-неволей придется много говорить о себе, но я утешаю себя соображением, что, авось, человека, отказавшегося от благ мира сего, не заподозрят в желании присоваться или пристроиться к какому-либо пирогу...

С 1 июня 1889 г. по 1 июня настоящего [1890] года мною зарегистрировано 7240 больных... В моей амбулатории нет не только помощника-фельдшера, но даже и служителя, и потому я в своем лице должен совмещать обязанности врача, аптекаря и прислуги для аптеки, а иногда и для больных...

Перехожу теперь к крайне щекотливому пункту моих заметок — к вопросу о гонораре. Ввиду того интереса, с которым некоторые товарищи и студенты-медики старших курсов относятся к моему опыту вольной практики, вопрос этот имеет немаловажное значение, так как он сводится на другой вопрос — о возможности безбедного существования вольного врача в деревне.

Годовой валовой мой доход простирается до 581 руб. 70 коп.; в составлении этой суммы участвовали 5038 лиц

следующими взносами; 2256 (31%) лиц заплатили за мои труды и лекарства по 5 коп.; 1465 (20,2%) больных заплатили по 10 коп.; 631 (8,7%)—по 15 коп.; 320 (4,4%) — по 20 коп.; 187 чел. (2,5%) — платили от 20 до 40 коп. Далее, с 66 лиц получено 95 руб. Наконец, 2202 чел. (30%) пользовались как моим трудом, так и медикаментами бесплатно.

Относительно некоторых из этих цифр не мешает сделать некоторые пояснения. Больных первой и второй категории, т. е. плативших по 5 и 10 коп., было на самом деле больше, чем показано выше. Если, напр., больной посетил амбулаторию дважды с одной и тою же болезнью и заплатил в первый раз 5, а во второй 10 к., то он при составлении этих записок вносился в разряд плательщиков 15 коп. Я уже выше говорил, что повторных больных не регистрировал, а только (на месте первой записки) отмечал полученный с них гонорар. Сумма (95 р.), означенная в последней рубрике, составила из двух источников: приблизительно  $\frac{3}{4}$  ее получено с лиц привилегированных (духовенства, купцов, кабатчиков), а остальная часть с больных, так сказать, полустационарных, которых за отчетное время доходило человек до 60, а пожалуй, и до 70 (точную запись их я не мог найти). Так я называю больных, которые по неделе и более живут частью, на квартирах, частью в моем доме (в ожидальной) и которые каждодневно 2 раза являются в мою приемную. Большей частью это были лица, страдающие болезнями глаз, женских половых органов, паразитами и пр. и нуждающиеся или в легкой оперативной помощи, или в лечении электричеством, массажем или вообще требующие более или менее продолжительного врачебного наблюдения. Гонорар, получаемый с таких больных, принял характер как бы таксы. Напр., женщины, у которых нужно произвести выскабливание маточной шейки, скарификации, прижигание, тампонацию и пр., платят за неделю от 20 до 40 к.; лечение индуктивным током оплачивается 20—25 коп. в неделю; лечение же постоянным током стоит на 5 к.



дороже. Глазные больные платят от 15 до 50 к. в неделю. В этой группе такие большие колебания в цене зависят от того, приходится, или нет, употреблять такие дорогие снадобья, как эзерин, пилокарпин. Понятно, что в числе этих больных есть и больные, пользующиеся даром. Кроме денег в течение года я получил рублей приблизительно на 35—40 разных продуктов деревенского хозяйства. Таким образом, весь мой доход будет простираться до 620 руб.

На первых порах своей практики я пробовал было предоставить оценку моего труда самим больным, но скоро пришлось убедиться в непрактичности этого порядка и изменить его уже ради одной экономии времени, так как по нескольку раз от одного и того же лица приводилось выслушивать целую массу вопросов, касающихся величины гонорара. Большей частью больные предлагали за пособие гораздо больше, чем по моим расчетам следовало бы с них получить. Замечательно, что крестьяне среднего достатка желали обыкновенно вознаградить меня уж очень щедро, а некоторые заведомо богатые и особенно кулаки старались дать как можно меньше. Да и сами больные с первых же дней моей практики просили меня самого оценивать свой труд: мы, ведь, не знаем цену твоих вещей, — говорили обыкновенно они.

Спрашивается, каким же критерием приходится руководиться, чтобы получать с одного больного 20 к., с другого 5 к., а третьему оказать пособие даром. Бесплатно лечатся, как уже сказано выше, вдовы, сироты; далее, конечно, нищие, пострадавшие от градобития, пожара и, наконец, вообще бедные, в экономической несостоятельности которых человеку, знакомому с крестьянским бытом, нетрудно убедиться из их ответов на поставленные как бы мимоходом вопросы. Нередко, впрочем, при всем желании оказать бедным больным бесплатное пособие приводится слышать от них протест. „Ты, дескать, жалованье не получаешь, слобы покупаешь на свои деньги, — как же тебе лечить даром всех бедных, их ведь

много". Величина гонорара с лиц, могущих его платить, зависит от нескольких условий, на первом плане здесь стоит цена лекарств...

На мою оценку больные не жалуются. За целый год я встретил не более 2-3 больных, которые спрашивали меня: не будет ли уступочки, да и говорили это они, вероятно, по привычке, так как были довольно богатые торгаши. Зато не одну сотню раз больные предлагали мне гораздо большую плату против назначенной мною. Приводилось мне также слышать и добродушные остроты насчет дешевизны гонорара, в таком роде, напр., что стоит, дескать, в праздник меньше одной косушкой вина выпить, то на оставшиеся от этого деньги у С. И. можно и себя и бабу свою выпользовать в случае заболевания...

Перехожу теперь к расходам по амбулатории. Медикаментов за год израсходовано приблизительно на 250 руб., кроме того спирт, сахар, бумага обошлись рублей в 40. Чтобы точнее определить чистый мой заработок, нужно ввести в расход 35 руб. за помещение амбулатории (занимающей половину моего дома, а эта  $\frac{1}{2}$  стоит 350 руб., — поэтому 35 руб. составляют 10% погашения на затраченный капитал) и 7 руб. на отопление ее. Если еще прибавить 5% погашения на капитал, затраченный на инструменты, стоящие рублей 300, то сумма чистого моего заработка будет простираться до 275 руб., а исключая процент на погашение — до 325 руб.

Этой суммы в нашей местности не только достаточно, чтобы жить без нужды и даже с некоторым комфортом, понимая его в смысле простоты, удобства и гигиеничности, но от нее еще остается несколько десятков рублей, которые (вместе с небольшой суммой, получаемой из медицинской кассы) дают мне возможность в достаточном количестве выписывать журналы и газеты и пополнять мою медицинскую библиотеку.

Как это ни странно покажется, но я положительно утверждаю, что живу теперь ничуть не хуже, чем прежде, когда я получал и проживал почти без остатка слишком 2000 руб.

Правда, я не занимаю теперь, как прежде, квартиры в 6-7 комнат, а довольствуюсь одной, но зато эта последняя светла, суха, просторна, в ней с раннего утра и до ночи нет преграды для солнца. Нет у меня теперь мягких ковров, тяжелых драпри, но зато нет и удобных резервуаров для пыли и разных микробов. Не держу я также двух прислуг, а служу себе сам, но зато теперь в моем доме (исключая, впрочем, ожидальной и столярной) безукоризненно чисто: от пыли не першит в горле, от угара не болит голова, дым не ест глаза. А, ведь, подобными прелестями прислуга нередко угощает своих хозяев<sup>46</sup>.

Я не говорю уже о том удовольствии, которое испытывает человек, когда он не нуждается в чужих услугах, когда он свою мышечную силу расходует на труд производительный, а не на игру с гирями и другие забавы. О преимуществах деревенского стола, не говоря уже о его относительной дешевизне, не стоит разглагольствовать; достаточно вспомнить только о производимых в Москве санитарных осмотрах булочных, мясных и других заведений, где готовятся пищевые продукты. Едва ли также нужно говорить о том, что одежда в деревне (русский костюм) в несколько раз обходится дешевле, чем в городе.

Считите же, какую массу денег поглощают в городе Квартира с отоплением, прислуга с ее содержанием и так называемыми безгрешными доходами на счет хозяев, одежда, дороговизна съестных припасов, — и тогда увидите, что возможность хорошо жить в деревне на 300 руб. не миф и что для этого вовсе не нужно быть аскетом. А сколько еще в городе приходится бросать денег на извозчиков, на, покупку

---

<sup>46</sup> В примечании к отрывку из этой статьи, перепечатанном в журн. „Врач“, отмечено, что автор не выясняет, может ли жить в описанных им условиях врач, имеющий семью и детей, нуждающихся в учении, и может ли врач сам мыть полы, стирать и ухаживать за больными. С. И. Сычугов ко времени переезда в деревню потерял жену и детей, умерших от болезней.

совершенно ненужных вещей, на посещение убийственно скучных клубов и пр. и пр.

Сколько, наконец, тратится денег на положительно вредные расходы, вроде, напр., подачек на чай, нравственно уродующих тех несчастных, которые, благодаря нашим барским замашкам, волею судеб поставлены в необходимость принимать эту милостыню. Как-то жутко становится при одном воспоминании о том времени, когда получались и проживались тысячи и при этом как-то не приходило в голову, что при добывании этих тысячных окладов лились горькие слезы бедняков...

Едва я не забыл упомянуть об одном странном факте. Прошлым летом один крестьянин той волости, в пределах которой я живу, сообщил мне, что „мы, дескать, между собой толкуем, не лучше ли будет тебе получать с нас годовой оклад?" Не желая стеснять себя никакими обязательствами, я отклонил это предложение, как и предложения члена [земской] управы.

В среднем выводе лечение каждого больного, считая здесь лекарства, квартиру с отоплением и плату за труды, обошлось в  $8\frac{1}{2}$  коп. Если же из суммы годового дохода выделить гонорар, полученный с привилегированных лиц, то плата за лечение с каждого больного крестьянина будет равняться лишь  $7\frac{1}{2}$  коп., собственно же отпуск лекарства стоил несколько менее 4 коп. Кстати не мешает напомнить, что здесь в расчет приняты только больные, записанные в журнал, т. е. 7240 ч., тогда как их на самом деле было больше.

Да не подумают товарищи, что я, преследуя дешевизну лечения, выписываю только дешевые лекарства и отпускаю их очень уж скупо. Моя аптека обставлена ничуть не хуже многих земских участковых аптек; в ней есть такие ценные, напр., препараты, как осмиева кислота, эзерин, пилокарпин и пр.; да и вообще я выписываю все медикаменты, в целебное действие которых верю. Отпуск же лекарств производится мною так же

(т. е. в том же количестве), как и во времена моей земской службы...

Как отнеслось к моему переселению в деревню городское общество, я хорошо не знаю. Мнения об этом, судя по доходившим до меня слухам, были очень разнообразны. Одни из горожан, узнавши о пожертвовании мною в нашу медицинскую кассу 1000 руб., считали меня обладателем десятков тысяч, которому на старости понадобился деревенский покой. Не сообразили только они, что пожертвования на хорошее дело производятся иногда из последних крох и что работа с утра до ночи не называется покоем. Другие — люди наживы—оставление мною теплого места признали делом безрассудным.

Были будто бы и такие личности, которые, считая служение идеалу пустою затеею, в моем поступке видели какую-то заднюю мысль: „не спроста, дескать, променял кусок жирного пирога на корку хлеба". Конечно, истинно образованные люди в моем переселении не нашли ничего заслуживающего порицания.

Что же касается до крестьян, то они на первых порах были положительно сбиты с толку. Знали они, что я, служа в Орловском же уезде, получал 1800 руб., при готовых квартире и отоплении, знали они также, что, состоя санитарным врачом Владимирского губ. земства, я получал еще больший куш и жил там по-барски, так как некоторые из них по пути в Москву ежегодно заезжали повидаться со своим бывшим доктором.

Когда я поселился в деревне, одни из крестьян предположили, что я вынужден был оставить барское житье за какую-нибудь провинность; другие же, зная, что на земской службе капиталов не наживешь, сочинили легенду о выигрыше мною большого куша. Но скоро первое предположение было разбито дошедшим до населения известием, что при выходе моем в отставку земство выдало мне в награду 1000 руб.,— Значит, провинности за мною не было. Зато другое известие о

пожертвовании 1000 руб. в нашу кассу, отказ от даровых медикаментов, постройка хорошего для деревни дома на некоторое время укрепили крестьян в мысли, что я богач. Но и это предположение рухнуло, когда я перебрался в свой дом и стал жить один без всякой прислуги. „Богач не станет-де сам мыть и мести полы, топить печки и пр., да к тому же еще бывший барин“.

Для разьяснения своих недоумений любопытство заставляло крестьян часто обращаться с расспросами ко мне же, и как бывали забавны ухищрения и подходы, при посредстве которых они пытались уяснить себе настоящую причину моего переселения в деревню. Отделаться от них ссылкой на болезнь было нельзя; по их словам, теперешняя моя работа требовала больше здоровья, чем какая бы то ни было служба. Со временем недоумения почти кончились: только для тех крестьян, которые познали уже прелести „господина Купона“, мое вольное житье-бытье осталось несколько загадочным. Зато более простодушная и нравственно неиспорченная масса решила, что я поступил правильно.

Какими путями надежнее приобрести доверие крестьян? Повторять такие истины, что основными условиями для приобретения доверия населения, как в вольной, так и в невольной практике, служат знание дела и честное отношение к высоким обязанностям врача, было бы по меньшей мере неудобно: слишком уж очевидны эти истины. Чтобы не оставить вопрос без ответа, я упомяну лишь пока о двух, повидимому, мелочных , условиях, которые однако могут повлиять на расположение к нам больных. По моим наблюдениям у нас недостаточно строго проводится в жизнь старая истина, что врач существует для населения, а не наоборот. В силу этого положения нам, деревенским врачам, не мешало бы побольше приспособляться к привычкам крестьян...

В конце концов мне остается еще выяснить одно недоразумение. Некоторые органы печати в таком обыденном

факте, как замена теплого места менее теплою деревенскою практикой, усмотрели подвижничество. С понятием о подвиге соединяется понятие о самопожертвовании, самоотречении, — ничего подобного мне приписать нельзя. Я хорошую жизнь заменил только еще лучшею: я приобрел равновесие сил, уяснил для себя цель жизни, нашел возможность снова служить начинавшим тускнеть от житейской грязи идеалам юности, возвратил себе колебавшуюся было веру в истину, добро и людей, убедился, что не даром копчу небо: словом, достиг возможного на земле счастья, как я его понимаю.

Где же тут подвижничество? Если я пришел к убеждению, что старый афоризм: „не в деньгах счастье" — справедлив, по крайней мере относительно меня, и в наше падкое на наживу время, то в этом не великая еще заслуга. '

Из писем к В. Ф. Томасу<sup>47</sup>

[Август 1891 г.]

Больные нещадно осаждают меня; точно они хотят наказать меня за поездку в Москву. Воскресных же и праздничных дней я уж стал бояться: очень уж жутко приходится. Вчера, например, в преображенъев день валовой мой доход достиг небывалой еще цифры — 16 руб. 36 коп. В 89-м г., когда я вел запись больным, в этот день было 138 больных, а денег получено 9 руб. с копейками. Так как плата за совет осталась *in status quo* [в прежнем положении], то в нынешний преображенъев день я принял, значит, более 200 человек.

Прием начался в 4 часа и кончился около 4-х, но он мог бы продолжаться и до полночи, если бы я не ошалел. Дело дошло до того, что к концу приема я стал уже заговариваться — ну и кончил. Весь вечер провалялся в каком-то отупении, а сегодня, несмотря на вчерашнее 12-часовое стояние, садиться во

---

<sup>47</sup> Все дальнейшие выдержки из писем С. И. Сычугова к его другу печатаются с подлинников из упомянутого выше архива В. И. Семевского. Опущены места, либо повторяющие сообщения других писем, либо не имеющие общественного интереса.

время приема мне не приходится, — я опять порхаю мотыльком. Куда только девались разные неизлечимые мои болезни? Если б не седина в бороде, то, пожалуй, хоть в ловеласы поступить было бы впору.

[20/II 1892 г.]

Больные валом валят; едва успеваю управляться с работою. И заработок мой настолько повысился, что кроме лепты голодным я из него мог уделить крупную для меня сумму на гармошку<sup>48</sup>. Уставать начал! Поэтому с особенным удовольствием жду весны, когда распутица поубавит прилив больных.

26/III 1892 г.,  
с. Верховино

Не отвечал я тотчас же на твое письмо потому, что было эти дни не до писем. В благовещенье в Верховине бывает громадный базар, значит и моя лавочка должна работать усиленно. Ну, и досталось же мне! Прием базарных больных я начал еще 24 числа. С 3 час. полудни без перерыва осматривал их до 9 час., а 25-го с 5 час. утра до 3. Далее принимать не мог, ибо ошалел. Сколько было больных — не знаю, но думаю, что более 300, судя по деньгам. Заработал я за это время более 28 руб. (значит чистой прибыли получил около 10 руб.). Какова практика! Сам Гриша<sup>49</sup> в некоторые дни, например когда бывает болен, не зарабатывает такую уйму денег.

К счастью, таких поистине тяжких дней в год бывает только два: благовещенье и преображенье. Будь они почаще — не хватило бы сил самого Геркулеса. Несмотря на страшное утомление, которое чувствую еще и сегодня, я испытывал и

---

<sup>48</sup> В январе 1892 г. С. И. писал другу, что если бы не игра на гармошке, тоска заела бы его; это повторяется много раз и позднее.

<sup>49</sup> Знаменитый терапевт Гр. Андр. Захарьин (1829 — 1895), профессор Московского университета, имевший огромную частную практику и получавший крупные гонорары



очень отрадное чувство. Мне во время приема больных приходится быть постоянно на ногах, так как я, волею судеб, должен совмещать в своей персоне обязанности не только врача, но и аптекаря, т. е. не только исследовать больных и давать им советы, но и отпускать лекарства. И представь себе, что от такого многочасового стояния у меня на этот раз нисколько не затекли ноги. Bravo! сердце и почки под старость мою пришли в норму.

Спасибо за совет не утомляться. Я вполне сознаю всю его благоразумность, но выполнить-то не могу. Ну, как отказать в приеме больному, прибывшему издалека и иногда еще на наемной кляче? А ведь, ко мне почти ежедневно являются больные за 40, 50, 80 и более верст. Всякая усталость пройдет, конечно на время, когда только посмотришь на лицо страдальца да послушаешь его рассказы о нужде. Будь что будет. Буду работать, пока есть силы, а когда свалюсь, тогда буду жить на 300 руб., которые я имею право получать из нашей кассы. Ведь я внес в нее вместо обязательных 200 руб. 1500 руб.

20 сент. [1892]

С прошлого года я в праздник рождества надумал вместо семиток и трешников раздавать славильщикам-школярам книжки. В прошлое рождество я роздал около 150 книжонок. Вся эта музыка стоит мне рублей 15—20, а удовольствия я получаю более чем на миллион рублей. Ты представь только себе следующую картину: 150 пар ясных, добрых глаз смотрят на тебя чуть не с благоговением; лица их сияют счастьем, — и ты чувствуешь, что счастье это, так сказать, изливает твоя персона. Такого возвышенного, чистого удовольствия, как мне пришлось испытать прошлым рождеством, я еще никогда не испытывал. Это-то недорогое и доступное моему карману удовольствие я думаю повторить и в нынешнем году...

Еще одно сказанье, мой дорогой друг! 10 месяцев я пробавляюсь паршивым „Светом”<sup>50</sup>, а в моем уме не только не светлеет, а даже как будто темнеет. Каждый день „Свет” сообщает, что то там, то здесь совершается то закладка, то освящение храма. В каждом же номере ты найдешь сообщение об нескольких генеральских юбилеях. А если прибавить к этому поздравительные телеграммы, то более полномера и готово. „Свет” отбил у крестьян — моих читателей — охоту к политике: все, дескать, закладки, да освящения; уж лучше книгу почитать. А ведь, в первые недели января читателей „Света” было довольно, теперь же осталось двое.

Сам же без политической газеты начинаю тосковать. Устрой-ка опять меня подписчиком „Русских ведомостей” с 1 декабря. Не хватает даже терпения подождать до нового года. Денег свободных у меня теперь нет; подписные же деньги на фонарь должны, когда их получу, итти на иллюстрированные журналы для библиотеки. Попроси редакцию подождать деньги до лета. Я, ведь, исправный плательщик. А если умру до расплаты, то убытку редакции не будет. Ведь, я не менее 25 лет читал „Русские ведомости”. Пospеши устроить, а то боюсь одуреть от „Света”.

7/XI 1892 г.

С. Верховино, Орловского у., Вятской г.

Скоро ты можешь во „Враче” прочесть мое письмо, в котором я делаю вылазку против министерства народного просвещения. Жаль только, что, как пишет Манасеин, по цензурным условиям придется мое писание много урезать и перекроить, что моя вылазка, вероятно, будет известна не одной врачебной публике. Манасеин обещал мое письмо передать в

---

<sup>50</sup> Самая дешевая тогда политическая газета реакционного направления, получавшая субсидии от правительства за восхваление самодержавия, православия и национального шовинизма.

редакцию „Недели". Не славы, не известности ищущая; мне хотелось только выставить на позор наши бюрократические порядки. Ты при письме увидишь, что моя просьба была настолько основательна, что никак нельзя было рассчитывать на фиаско. Ты жил в деревне и знаешь, насколько необходимы для крестьян сведения о подаче первой помощи в несчастных случаях. И вдруг попечитель не разрешает вести об этом беседы, и не разрешает только потому, что они не предусмотрены положением 1874 г.<sup>51</sup>. Думаю я написать статейку: „О положении врачей в России". Узнай-ка, примут ли ее „Русские ведомости". Статьи предполагается довольно большая<sup>52</sup>, в ней

---

<sup>51</sup> В № „Врача" от 29 октября 1892 г., стр. 1126, помещено за подписью С. И. Сычугова „Письмо в редакцию", в котором он рассказывает изложенную здесь историю. Отметив, что вследствие неправильного ухода за больными крестьяне теряют десятки тысяч рабочих дней в одном только уезде, С. И. заявляет, что захотел „пособить" крестьянскому горю. "Составил он подробную программу бесед о подаче первой медицинской помощи, которые имел в виду ввести для учеников старших классов деревенской школы и для взрослых крестьян. Лично просил губернатора, который обещал помочь ему и действительно поддержал ходатайство Сычугова перед попечителем округа (Н. Г. Потаповым), Последний завел канцелярскую канитель, а потом отказал в разрешении чтений под предлогом, указанным в письме к Томасу. Сообщая об этом во „Враче"" С. И. просил своих товарищей по врачебной деятельности выпускать в свет популярные книжки на медицинские темы по дешевой цене, чтобы конкурировать с дешевой поповской литературой, распространяемой среди крестьян.

<sup>52</sup> В юбилейном словаре сотрудников „Русских ведомостей" (по случаю 50-летия газеты; М. 1913 г.) нет упоминания о такой статье Сычугова; не найдено такой статьи и в комплектах газеты за 1892 и 1893 гг. В некрологе врача Вл. Арк. Столбовского („Врач", 1892 № 25 от 18 июня, стр. 644) С. И. Сычугов коснулся той же темы в следующих словах: „При жизни мы находимся в приниженном состоянии; любой пшют и тот готов с высоты своей глупости обращаться с врачом свысока, но зато после смерти самый маленький в общественной иерархии врач пользуется подчас такими горячими симпатиями местного населения, которым может позавидовать и высоко стоящий сановник".

я думаю потолковать о ненормальном отношении к врачам государства, общества и общей прессы.

21/XII 1892 г.,  
с. Верховино

Нынешний год что-то мне не везет. В сентябре и октябре у нас были такие непролазно-грязные дороги, что больным было трудно добираться до меня, и число их, а значит и заработок, убавились. За эти месяцы я заработал хотя больше, чем в первые два года, но меньше, чем в прошлом году. Только что установился санный путь, — и больные валом повалили; каждодневный валовой доход мой стал простираться до 3 руб., а по воскресеньям и до 6—7 руб. И вдруг все это сразу оборвалось. Ночью на 13 ноября у меня было 4 приступа никогда еще не испытанной мною грудной жабы. Один из приступов был так жесток, что я, обливаясь холодным потом, не мог уже прощупывать пульс и уже ощущал сладость перехода из бытия в небытие.

7 /IV 1893 г.

Дорогой мой друг Владимир Филиппович! Прости меня: я замешкался с ответом на твое письмо. Да и не мудрено было замешкаться, — работы буквально по горло. Конечно, работа моя вольная, но она часто оказывается тяжелее подневольной. Внешнего начальства у меня, правда, нет; но зато внутреннее начальство — сознание своего долга перед ближними — чересчур уж строго, не урезонируется оно никакими софизмами, а твердит только одно: „работай, работай, пока не упадешь от бессилия, а когда никуда и ни на что не будешь годен, — тогда уходи"!.

И вот я, не смея ослушаться приказа своего грозного начальника, верчусь от зари до зари с немощными крестьянами и к концу приема истощаюсь до того, что с трудом могу понимать даже газеты. Общества, понимая его в хорошем смысле, у нас нет; в гости не хожу и к себе гостей не принимаю

— да и с книгами-то больше вожусь тоже с патологическими. Не удивляйся поэтому, что я, по природе вовсе не склонный к словесным излияниям, пишу к тебе иногда как институтка.

28/VI [18931

Сердце мое заплясало; ноги отеки, выделение мочи уменьшилось; да к этому привязался еще сильнейший бронхит с кровохарканием. А больные, как на зло, так и прут. Дело дошло до того, что после приема 2—3 больных я должен был минут на 5 ложиться в постель, чтоб отдышаться. (Не брани меня за это; мне, право, было бы хуже, если бы больные, прибывшие за десятки верст, уезжали с пустыми руками. Да и стоит ли жить ради своей только утробы!)

20/V [1893]

Думается мне, что жизнь хотя порядком и поломала нас, но не искалечила совсем, что мы не плюем на того бога, которому поклонялись в юности, и пр. и пр. Мы с тобой товарищи не потому только, что в одни годы учились и кончили курс, а, главным образом, потому, что остались верны своим юношеским идеалам и не разменяли их ради наживы и других благ на мелочи.

17/XI 93 г.

Верховино

Месяцев 5—6 назад явился ко мне за советом старик с видом странника. Если и было что замечательного в этом старике, то это пронизывающие, так сказать, насквозь глаза. Хотя больных я не записываю, но почему-то спросил я старика о месте жительства. „Из нетовой земли“, был ответ, ну, думаю себе, прощальга какой-нибудь<sup>53</sup>...

Недели две назад является опять этот пророк ко мне...

---

<sup>53</sup> Странник пророчил, что Сычугов за свою службу народу будет взыскан богом и получит небесную награду; Сычугов с досадой прогнал пророка.

О болтовне старика, как о курьезе, я рассказал кое-кому из родных. Пошла тогда в ход стоустая молва; разные кумушки произвели дознание, из которого выяснилось, что странника кроме меня никто не видел. А отсюда, при склонности публики к чудесному, не далеко до вывода, что странник не кто иной, как посланник божий. Вот оно куда пошло: с самим богом пришлось завязать сношение. Давно уже крестьяне говорят, что я живу не так, как другие, а по-божески. Теперь, пожалуй, заживо в святые произведут, а когда умру, так, чего доброго, будут ждать появления моих мощей. Смотри же, не забудь тогда поклониться мощам святого Савватия. Ох, темнота, темнота российская!

В конце лета я обрел манускрипт, копию которого тебе посылаю. Когда был подкинут он и кем — решительно не догадываюсь... В подлиннике была всего одна точка и ни одной запятой. В сущности это безграмотное послание оставило во мне приятное впечатление<sup>54</sup>...

Не правда ли, хорош адрес! Видимо, он вылился без всякого постороннего наития из теплой души мужика. Было бы еще приятнее, если бы не было приложения. Сбор, наверное, сделан не богатыми мужиками. Ты, брат, не вздумай этот адрес,

---

<sup>54</sup> Вот это послание в выдержках: „Саватею Иванычу. Рази мы не видим, как ты убиваешша об нас при мне ты сам хворый смотрел хворова и ляпнулся на пол хоша бы деньги брал што дают тебе дают руп, а ты здачи"... Далее автор письма рассказывает, как он возил свою бабу по разным местам и к гомеопатам, истратил 5 рублей без всякой пользы для больной, и как Сычугов „справил бабу" за 12 копеек. „При биде мужик последнюю животину оттазд, дак рази можно брать... То-то вишь едак ни живуть, а все норовят рубаху снять". Девять рублей 50 копеек, приложенные при бумаге, собраны четырьмя крестьянами, как видно из дальнейшего содержания этого документа. „Много бы набрали по своим деревням, да ни равно узнаешь, а топере ишши руки ноги не оставили"... В самом конце выражено пожелание, чтобы Сычугов „хоша на параходе" отдохнул „нидельку". „Коли не возмеш тольки в польцу ни давай она все сожрет отдай лушши бедному".

как курьез, передать в какое-либо юмористическое издание, которое, пожалуй, тиснет его для потехи сытых, скушающих людей.

27/ХП 93 г.

Твое письмо доставило мне великую радость еще и потому, что ты остался доволен моею статьею<sup>55</sup>. Доволен ею и я, хотя ее и урезали в редакции почти на четверть. Голословное обвинение Ергольского, кажется, разбито, и честь моя и моего маленького дела восстановлены. Я думаю так потому, что по поводу своей последней статьи я получил уже 7 очень сочувственных писем от неизвестных мне лиц. Получил, я также радостное письмо и от редакции „Сев. вестника". Она извещает меня, что причитающийся мне гонорар — 67 руб. 20 коп., согласно моему желанию, разделен на две части, из которых одна послана в пользу студентов Московского университета, а другая — Медицинской академии. Значит, благодаря моему скромному труду, несколько голодных студюзов будут сыты хоть неделю. Да и рассчиталась редакция хорошо: по 50 руб. за лист...

Ты знаешь не хуже меня, что темнота крестьян составляет главный тормоз для проведения санитарных улучшений. С этой-то темнотою я и борюсь — по мере своих слабых сил. Ты знаешь, что  $\frac{1}{12}$  своего заработка я трачу на раздачу книг школярам<sup>56</sup>. В последнее время я нашел, что не в

---

<sup>55</sup> Речь идет о статье Сычугова в „Северном вестнике" за 1893 г., № 11, где она напечатана как ответ на статью врача Ергольского („Сев. вестник", 1892 г., № 10) по поводу очерка С. И. в журнале „Земский врач (см. выше, стр. 285).

<sup>56</sup> В «Письме, в редакцию» в журнале „Врач" . "№ 41 от 29 октября 1892 г. С. И. Сычугов сообщал, что просил вятского губернатора разрешить ему дарить местным школьникам вместо денег хорошие книжки. Губернатор разрешил, но попечитель округа (Н. Г. Потапов заявил, что можно дарить только те книги, которые получили одобрение мин-ва нар. просвещения (того, которое всеми мерами препятствовало доступу в школу детям крестьян, рабочих и

пример лучше бы было открыть бесплатную народную библиотеку; ею могли бы пользоваться не одни ученики, а все желающие грамотные.

24/1 94 г.

И над моею будущею библиотекою посажен контролер — местный священник. Впрочем, от этого нисколько не уязвляется мое самолюбие, так как мне известны были еще прежде хлопот о разрешении устройства библиотеки правила 1890 г. 15 мая. По этим же правилам обязательно требуется назначение духовного лица для наблюдения за народными библиотеками. Поэтому, если бы сам Победоносцев<sup>57</sup> задумал открыть библиотеку для народа, то и он попал бы под контроль какого-либо попа.

[Февраль 1894 г.]

Крестьяне как-то уж пронюхали о моей библиотеке и осаждают меня вопросами: скоро ли, да как, да можно ли и пр.

24/XI [1894]

Я получил два пудовые тюка книг из комитета грамотности. Теперь моя библиотека цветет, я могу давать по 2, а дальним крестьянам и по 3 книги на дом. Абонентов уже более 150. Книг много выслано прекрасных, мои абоненты не нахвалятся ими. Большинство абонентов читают дома вслух, и на их чтения, не говоря о семейных, собираются и соседи. Если каждого чтеца слушают хоть пять человек только, то, ведь, значит, мою библиотекою пользуются около 800 лиц.

Ты, вероятно, думаешь, под силу ли мне возиться с библиотекою, когда и с больными дела по горло. Под силу, мой

---

вообще „кухаркиным" детям). Но среди одобренных мин-вом книг Сычугов не находил подходящих для его цели.

<sup>57</sup> Знаменитый мракобес, государственным деятелем при Александре III и Николае II Конст. Петр. Победоносцев (1827—1907), глава духовного ведомства и один из виднейших представителей реакционной политики царского правительства.



верный друг. Я придумал такой метод ведения библиотечного дела, что средним числом не трачу в день и 20 мин. времени на выдачу и записывание книг. Конечно, бывают дни, когда больных немного и когда по 1—2 часа я беседую с своими абонентами о прочитанном ими и вообще о разных суетах, но такие дни не часты. А как хороши они! Сердце радуется, когда видишь себя в роли хоть плохонького сеятеля и воочию убеждаешься, что семена падают хоть и не на разработанную, но зато плодородную почву<sup>58</sup>. Жить тогда хочется.

30/III 95. Верховино

Ты хотя и подтруниваешь над моим увлечением библиотекою, а я все-таки поболтаю немного об ней. Она стала для меня настоящею утехой. Утомишься бывало во время приема больных до изнеможения, но стоит только поболтать с моими подписчиками с  $\frac{1}{2}$  часа, — и усталость как рукой снимет. Всех подписчиков у меня уже 246. Цифра внушительная, сравнительно с другими деревенскими библиотеками! Но что меня особенно радует, так это то, что на моих, так сказать, глазах просыпается у абонентов мысль, постепенно усиливается стремление к знанию, свету и пр. К этому году я выписываю 4 периодических издания, конечно, дешевые, которые и читаются охотно. Вечерние беседы (это название придумано крестьянами), на которых происходит чтение, становятся все многолюднее.

28/VIII 95 г. с. Верховино

Дорогой и милый мой друг Владимир Филиппович. Не брани меня, родной мой! Твои несомненно разумные советы исполняются как-то сами собой, без деятельного участия с моей стороны. После 4-недельного почти заключения сестра отворила

---

<sup>58</sup> В других письмах Сычугов говорит о гонениях на него со стороны попов и жандармов за эти беседы с читателями-крестьянами.

мою темницу 7 августа<sup>59</sup>. А 5-го и 6-го (в эти дни я прежде зарабатывал до 30 руб.) обо мне на всех перекрестках пущена была молва, что я уехал в Вятку лечиться. Само собою разумеется, что и на доме моем и на воротах висели замки.

А пророс [кстати], не послал ли ты моей сестре инструкции, как запирать меня? Оказалось, что за время болезни запирались, как ты желал, не только дом, но и ворота. Несмотря, однако, на эти предосторожности, во время ярмарки, т. е. 5 и 6-го, находились смельчаки, которые через огороды пробирались-таки к моим окнам, но сестра и тут оберегала меня: она завесила окна какими-то старыми драпировками, которые укрывали меня от любопытных глаз, а мне не мешали видеть, что творится за окнами.

Уже во время моего заключения молва разнесла далеко весть о моей тяжкой, якобы, болезни, так как за 4 недели перебивала, вероятно, не одна сотня больных из разных сел и деревень. В преображеньев день эта весть разнеслась еще дальше. Поэтому с 7-го августа и по настоящее время жить мне стало вольготно: 5, 7, много 10 больных в день, исключая одного воскресенья, когда пришлось принять человек 40 с лишком. Ну, теперь слова два о здоровьи. Оно несомненно поправляется...

12 I 96 г.

Мне многогрешному за преданность делу народного образования, прекрасное ведение библиотеки и еще за что-то пожалована серебр. медаль<sup>60</sup>. Ну, можешь представить себе мое изумление. Право же, когда я читал об этой новости, то

---

<sup>59</sup> Чтобы уменьшить наплыв больных и дать отдых измученному Сычугову, сестра его вешала на наружную дверь его избы замок; больные вскоре проведали эту хитрость и стучались в окно, прося принять их.

<sup>60</sup> Медаль была прислана Сычугову от Комитета грамотности.

подумывал, что не появилась ли уж у меня галлюцинация зрения.

Когда я вошел в норму, тотчас же припомнился мой покойный дед, о. Савватий. Когда он почувствовал приближение смерти, выписал меня из училища и за час до смерти, коснеющим языком и захлебываясь слезами, произнес вечно памятные для меня слова: 40 лет я был попом и не заклеил свою грудь никакою побрякушкою; живи и ты так, никого не обижай, но и сам в обиду не давайся, не подлизывайся к начальству и т. д. (В 70 еще году я отказался от прав госуд. службы, а значит, и от клейм на груди.)

Этот эпизод из моего детства тотчас по получении известия о медали пришел мне на память. Первое впечатление от медали было некрасивое. Если я, думалось мне, делаю что-либо путное для народного образования, то зачем же награда-то; я делаю это по требованию моего нравственного чувства и за свое относительно ничтожное дело получаю массу удовольствия и отрады. А эта штука для одинокого, немощного старика дороже всяких медалей и звезд. Но впечатление это быстро прошло и заменилось радостным чувством.

Мне пришла мысль — медаль, когда она получится, вделать в книжный шкаф. Вероятно, я получу от комитета какую-нибудь бумагу, в которой будет прописано, за что я удостоен такой почетной награды. И эту бумагу я вставлю в рамку и повешу на шкаф, да разумеют языцы, что учреждение библиотеки дело не богопротивное и что гнусные мысли о вреде чтения книг небожественных не поощряются правительственными учреждениями. И знаешь ли, что я теперь жду не дождусь медали, которая к тому же, ведь, заклеит лишь мой шкаф, грудь же моя останется свободною от клейм.

[Сентябрь 1897]

Ты еще не забыл о моем дневнике, а у меня он уже давно испарился из головы. Если ты настаиваешь, я, конечно, буду продолжать его. Прошу только тебя сообщить, на чем я

остановился. Помнится, что я писал уже тебе отчасти о мытарствах, которые я переносил во время училищной жизни, но где я остановился, решительно не помню. Читал ли ты № 221 „Русск. ведомостей“? Если, по случаю съезда, ты не прочел этот №, то прочти повнимательнее корреспонденцию из Казани о съезде миссионеров и полюбуйся, как эти, якобы, христиане собираются приводить в православие раскольников<sup>61</sup>. Проповедуется, брат, почти введение инквизиции! И эта проповедь велась почти одновременно с московским международным съездом<sup>62</sup>. Впрочем, я напрасно волнуюсь: так уж устроено, что кроме Ормузда существует и Ариман, кроме света и тьма...

29/ХІІ 97 г.

Ты принимал живое участие в устройстве в Верховине народных чтений. С радостью сообщаю, что они, наконец, разрешены. Было уже у нас пять чтений, которые произвели сильное и, кажется, очень приятное впечатление на наш медвежий угол. Зала, в которой происходят чтения, может вместить около 200 слушателей, но их наберется до 300. От страшной духоты лампы едва горят, а потому и изображения на экране выходят тусклы, но публика и этим довольна. Бывает так тесно, что не только яблоку некуда упасть...

23/ ІІ 1898 г.  
Верховино

---

<sup>61</sup> В № 221 „Русских ведом.“ от 12 августа 1807 г. есть корреспонденция из Казани о заседавшем там всероссийском съезде миссионеров! На съезде присутствовало 200 священников и учителей духовных школ; в числе мер против распространения раскола и сектантства предлагалось отбирать у сектантов детей, конфисковать имущество и т. п.

<sup>62</sup> В 1897 г. в Москве заседал международный медицинский съезд.

Хороший, пригожий, прелестный дружище Владимир Филиппович!

Мое сердце запрыгало от радости, когда я из последних твоих писем узнал, что наконец-то ты успокоился и подбодрился. Не правда ли, что не боги горшки обжигают! Прежние твои наводящие уныние и тоску письма заставили меня о многом-таки поразмыслить. Чем в самом деле могло быть вызвано у тебя непомерное смирение и преувеличенное сознание своей, якобы, научной несостоятельности в сравнении с молодыми коллегами? Думал, думал я, да и пришел под конец к тому заключению, что та капля гордой британской крови, которую ты унаследовал, куда-то спряталась и перестала циркулировать по твоим жилам и что ты заправским манером обрусел.

А ведь известно, что мы, русские (по крайней мере, лучшие из нас), вследствие исторических условий, а может быть и расовых, ценим себя очень дешево и выставляем на вид только свои слабости, совершенно игнорируя свои достоинства. Эта скромность особенно присуща нам — шестидесятникам, а ею и пользуются, часто бесцеремонно, наши коллеги 8-десятники и 9-десятники. А стоит лишь попристальнее присмотреться к ним, — и тогда увидишь, что большинство из них великие мастера только на красивые и хлесткие фразы. Мне приводилось не раз бывать с ними на консультациях, — и я вынес не особенно выгодное впечатление. (Конечно, я говорю не о всех, а о большинстве.)

Я и теперь без улыбки не могу вспомнить об одной консультации с молодым коллегой последней формации. Когда, после осмотра больного, мы удалились для совещания в особую комнату, Мой коллега поразил меня обилием имен разных, по преимуществу иностранных, ученых. С полчаса он приводил только их мнения вроде, напр.. того, что такой-то моншер так-то думает, а Herr Schwanz остроумно опровергает его мнение, а мой хер старается, хотя и неудачно, сгладить противоречия во

мнениях. Быть может, разные херы и Scliwanz'ы действительно высказывали эти мнения, а, быть может, молодой коллега хотел блеснуть своею ученостию пред старым невеждою-врачом, который, дескать, сидя в берлоге, давно забыл всякие науки.

Терпение мое, наконец, истощилось, и я вынужден был вывести коллегу на чистоту скромным вопросом: а ваше-то какое мнение о болезни, а главное о самом больном? Оказалось, что на деле-то и спасовал наш коллега; ни самоновейшие теории, ни громкие имена не помогли ему, — и он покорно согласился с мнением отсталого, якобы, старика.

Нет, мой друг, я твердо убежден, что врачи-шестидесятники не слабее 8- и 9-десятников, а у постели больного, пожалуй, будут получше. Припомни-ка, в какое благодатное время мы с тобою учились! И наши учителя, и мы сами не могли не поддаться тогдашнему духу времени; тогда, наперекор теперешнему дряблному времени, самые слабые из нас были захвачены потоком царившей бодрости и энергии. Сколько ярких звезд блестело тогда на медицинском небосклоне! Есть, конечно, и теперь звезды первой величины, но их стало мало, да и звезды эти выработали свой свет в шестидесятые годы. Молодые же звездочки пока еще слабо мерцают. Однако довольно! Боюсь, чтоб не сесть на пегаса...

А работать с больными приводится не менее 9—12 час. в сутки, а иногда и 15. Так долго работаю потому, что после приема 2—3 больных обязательно отдыхаю, т. е. молчу 2—3 минуты. Больше всего убивает меня разговор, а его-то я считаю настолько существенным, что скорее закрою свою лавочку, чем сокращу время для разговоров. Если больные едут ко мне за 100—150 верст, то не потому, чтоб я обладал бы какими-либо особыми знаниями, а потому, что, зная их быт, я не пропускаю ни одной мелочи, вредно влияющей на здоровье. При лечении, напр., горловых и легочных болезней я обязательно говорю, как нужно мести пол, как взбрызгивать его, что можно пряхть:

волокно или куделю и пр. Из этого ты видишь уже, что поговорить есть о чем. А при болезнях желудка разговоров в 10 раз бывает, больше, т. к. для каждого больного нужно составить меню. Я уже не говорю о том, что одно и то же я повторяю 3—5 раз. Зато каждодневно и пою я на разные голоса: с утра действует обыкновенно мой баритон, переходящий к полудню basso profondo [низкий бас], затем распеваю драматическою фистулою, а к вечеру раздается уже только трагический шопот...

Ну, что же мне делать, дружище. Работать кое-как, чтоб отвязаться от больных, я не могу. Уж лучше не жить, чем прозябать. Не переменить ли профессию? Кстати державы не могут никак выбрать генерал-губернатора Крита<sup>63</sup>. Вот я и думаю заявить свою кандидатуру, только с условием, чтоб мне в товарищи был назначен В. Н. Екимецкий для внешних и внутренних сношений и вообще для разговоров. При своей пенсии он удовольствуется, если ему будут каждодневно подносить по бутылке Кипрского вина. По-турецки я знаю слово: иок, а греческих слов могу припомнить десятка 2—3. Пожалуй, я согласен и пополнить свои лингвистические познания. А для критян-то я как буду удобен. Жалованья более 200 р. в год мне не надо.

Отцы и мужья могут спать спокойно, так как я до девиц и чужих жен никогда не был падок, а теперь и подавно. А ведь, если на Крит посадят высокое лицо, то, во-1-х, оно может перепятнать не мало девиц, а, во-2-х, оно не удовольствуется 200 руб., а потребует с разоренных в лоск жителей тысяч 50, а пожалуй, и больше.

[Весна 1898]

---

<sup>63</sup> Крит или Кандия — остров в восточной части Средиземного моря; с 1645 г. им владели турки. В XIX в. греческое население несколько раз восставало против власти султана; восстание 1896—1898 гг. вызвало вмешательство европейских держав, которые дали Криту независимость под покровительством держав; после балканской войны 1912—1913 гг. присоединен к Греции

Я начинаю сожалеть, зачем выписал на нынешний год „Русск. ведомости“; без них было бы покойнее. А то теперь во сне даже видятся мне реки крови, миллионы изуродованных трупов, страшные дула пушек, щетины штыков, а на первом плане — жирный пирог (т. е. Балканский полуостров), который рвут оскалившимися, как у голодных волков, зубами представители цивилизованной Европы и рвут во имя прогресса, человечности, братства, свободы народов, а кстати уже и ради благоденствия мира.

18/ III [1898]

Согласен с тобою вполне, что „Русск. ведом.“ стали поскучнее, но я нисколько их не обвиняю. Против рожна прать не приходится. Все-таки, несмотря на тиски, в которых они обретаются, и на жестокость постигшей их кары, они остались честным органом прессы.

16 ноября [1898]

Невеселые вести ты сообщил мне относительно положения редакции „Р. ведомостей“<sup>64</sup>. Ужели не наступит конец теперешнему невыносимому положению; ужели нет никакой надежды на перемену его к лучшему? А ведь, публика, кажется, очень сочувственно относится к газете; я сужу об этом по массе печатаемых в ней объявлений. Впрочем, голос публики может остаться гласом вопиющего в пустыне.

15/1 99 г.

Обещаю тебе сидеть под замком, пока хватит сил и терпения. Ох, уж это сидение. Как оно тяжело! Одно уже

---

<sup>64</sup> Газета была чрезвычайно умеренного либерального направления, скромно проповедывала правовые начала, т. е. ограничение самодержавно-полицейского произвола; но и за это преследовалась царским правительством; получила за первые полвека своего существования около ста штрафов, конфискаций, временных закрытий и т. п. кар.



сознание, что живешь байбаком, бесполезным коптителем неба, понижает цену жизни до минимума. Сегодня протянули по моим комнатам веревки, — и я, авось, падать и ушибаться больше не буду. Не хотел, ведь, я писать о своих болячках, а наболтал три страницы. Что у кого болит, тот о том и говорит. Ух, устал. До завтра.

17. Рано порадовался еще я. Не отдохнул я и 10 минут, как приходит старуха и говорит, что со слезами просят принять их учитель и учительница, прибывшие издалека и спешащие завтра к уроку. Отказать не хватило храбрости и тем более, что учителей я лечу даром. Осматривал я их с роздыхом; болезни оказались замысловатые, и я проработал больше часа и страшно устал, так что и ужин пошел по боку. Ночью температура 39,3. 16 числа ослабел так, что почти не сходил с кровати.

К слабости присоединилась мысль о том, как жить дальше? 17 числа, т. е. сегодня, опять могу, хоть и недолго, сидеть. Вчера, наконец, явилась у меня мысль о пенсии. Друзья давно уже настаивают на этом, но стыдно. Правда, я вместо 200 руб., дающих право на пенсию, внес в кассу 1500 руб., и на шею товарищам поэтому не сяду. А все-таки стыдно. Потом мучит мысль о полной бесполезности жизни безработного байбака. Эх! лучше бы поскорее смерть!

[Январь 1899]

Драгоценнейший мой дружище, Владимир Филиппович!

Прекрасная мысль пришла тебе в голову насчет упорядочения нашей переписки. Я весьма рад переписываться с тобою почаще, тем более... Ну, будь что будет, а пока буду пописывать, если только не помешает физическая невозможность, что уже со мною наднях и было: душа рвется к письменному столу, а тело совсем отяжелело. Я отлично знаю, что худое для меня — не хорошо отзывается и на тебе. Но делать нечего, терпи! Я и прежде, если врал, то большею частью ради шутки, теперь же и шуточное вранье как-то претит: наступает, или точнее наступило время серьезных дум,

больших, оставшихся, несмотря на мои старания, нерешенными, так сказать, мировых вопросов (речь идет о моем, конечно, мире).

Да, начал я подводить итоги прожитой жизни, но и в этом великом деле опять-таки мешают мои болезни. Требуется светлая, ясная голова для этого забористого дела, а какая же ясная голова может быть у человека, мозг которого более или менее отравляется угольной кислотой. Поздно я принялся за анализ собственной персоны, да, кажется, и напрасно. Ведь, если и найдутся устранимые изъяны, то и устранять-то их, если б далее хватило на это энергии, уже не к чему и некогда. Да, друг, надо сознаться, что время для нравственного пересоздания упущено, для него нужен долгий период. Впрочем, я еще не решил, есть ли нужда пересоздавать себя и стоит ли? Как бы из кулька не попасть в рогожку. А главное — некогда. Разрушение организма идет очень быстро...

18 января

Ну, прощай, а лучше до свидания! Когда меня не будет, тебя известят. Не пиши, пожалуйста, некролога; слава и при жизни не прельщала меня. Да и поучительного в моей жизни не много. Дневник я писал для тебя только. Удастся ли мне его кончить, не знаю. Но если и буду писать, то кратко. Многие из лиц, встречавшихся в жизни, еще живы. Дай-то бог мне лично передать тебе на память свою автобиографию.

1/ III[1899]

На старости лет пришла мне в голову мысль сделаться акробатом. Не смейся! Я не шучу и уже акробатствую. Как и подлинные акробаты, я хожу по веревкам. Воздай хвалу моей находчивости и моему искусству. Есть, впрочем, и разница между мною и настоящими акробатами: они ногами ступают по веревкам, я же цепляюсь за них руками, когда перемещаю с места на место свои тела. И с той поры, как были устроены приспособления из веревок, я перестал падать и ушибаться...

О нашей интеллигенции, с которой можно было бы отвести душу, поговорю после. Теперь пока скажу, что интеллигентов по сердцу у меня 1—2, да и те живут далеко и потому редко бывают. Провинциальное болото с его картежом, сплетнями, пересудами и пр. скоро засасывает хорошую даже молодежь.

I/III 99 г.

Недели 4 назад я писал Манасеину<sup>65</sup> и просил его дать мне некоторые указания насчет пенсии. Уже и тогда с страшной болью в сердце я должен был признать себя инвалидом, хотя по временам просвечивала еще надежда зарабатывать хлеб своим трудом. Манасеин положил конец моим надеждам: он устроил дело так, что мне уже в счет пенсии выслали 100 руб.

И так, Владимир, я инвалид!!! О, как тяжело не только произносить это слово, но и подумать-то о нем, а ничего не поделаешь! Сам вижу, что я уже не работник. Где уж тут работать, когда всякое почти мышечное движение вызывает одышку, а эта последняя усиливает слабость и пустоту в голове. Чтоб не быть большою по крайней мере тягостью для кассы, я решил просить о низшем окладе пенсии, т. е. 200 руб. в год, что для меня вполне достаточно даже с наймом прислуги. Если я проскриплю еще долго, что я буду делать? Горе и тоска предстоят мне впереди. Не правда ли, что смерть лучше?

---

<sup>65</sup> Вяч. Алекс. Манасеин (1841—1901)—врач, профессор Медико-хирургической академии; редактировал „Врач“, лучший дореволюционный медицинский журнал (1880—1918 гг.). После, смерти Манасеина Сычугов писал: „Смерть родного, горячо любимого брата едва ли поразила бы меня больше, чем смерть этого врача — Катона. Лично я не был с ним знаком и никогда не видал его. Около 15 лет, существовала между нами — смело говорю — дружеская переписка" („Врач“, 1901, № 13, стр. 425). Манасеин был председателем „Вспомогательной медицинской кассы“.

О моей работоспособности теперь ты можешь судить по тому, что я не менее 25—30 раз поднимался с кровати, чтоб намарать это письмо.

28/VI 99 г.

К горю моему скоро придется лишиться и последней моей утехи — народной библиотеки, абоненты которой доставляют мне каждое воскресенье невыразимое блаженство и отчасти сглаживают горечь шестидневной бездеятельности. Ведь, в самом деле, видеть, как свет помаленьку проникает в темные души, как мельчают, а у иных и совсем исчезают дикие предрассудки и суеверия, как расширяется умственный горизонт моих книжников, — и в то же время сознавать, что в этом деле есть и моя, хотя ничтожная капелька меду, — да что может быть выше этого блаженства?<sup>66</sup>

И этого блаженства лишают меня треклятые болезни. К вечеру каждого воскресенья, особенно когда число книжников переваливает за 30—40, тогда я положительно изнемогаю; а кашель и одышка усиливаются дня на 2—3. Да к тому же и прежней прелести не стало в воскресеньях, так как говорить мне много очень тяжело и приводится только слушать разговоры книжников и ограничиваться коротенькими замечаниями. А бывало, целые часы поешь соловьем; удержу не было. Осенью, если доживу, передаю библиотеку вместе с мебелью, иконою, медалью и фондом в 1000 р. земству; сам же по уши погрязну в кейфе и апатии.

15 — 16/VIII [1899]

---

<sup>66</sup> Знавший в это время Сычугова В. Александровский пишет о нем в своих воспоминаниях: „Он идейно работал среди народа и как врач, и как мудрый практический вождь народной жизни. Народ его любил, уважал и слушал. Не нравилась иногда его коллегам его идейная работа среди народа, как врача, работавшего за совесть во всеоружии науки, но некоторые даже старались подражать ему“.

Решил я, наконец, расстаться с дорогим моим детищем – библиотекою и еще в июле написал об этом в земскую управу<sup>67</sup> Для переговоров недавно приезжали ко мне председатель ее и один из губернских гласных. В несколько минут переговоры об условиях передачи библиотеки кончились. В сентябре я окончательно передам около 1600 книг, брошюр, составляющих теперь народную мою библиотеку, а для пополнения ее в будущем передаю еще 1000 р. с тем, чтоб они составляли неприкосновенный капитал; на поддержание же библиотеки предоставляю тратить, только проценты. Земству же я жертвую и свою медицинскую библиотеку, состоящую из 500 томов. Эта последняя должна служить, так сказать, ядром земской врачебной библиотеки. Медицинские книги, конечно, могут быть взяты земством только после моей смерти. Хотя я их теперь мало и редко читаю, а все-таки расстаться с ними, пока еще я жив, было бы чересчур тяжело. Книги эти всегда были моими верными друзьями...

Читаю много, но преимущественно исторические журналы – любимое чтение не имеющих дела стариков; по медицине пробавляюсь почти одним «Врачем», а в газетах читаю только передовицы и телеграммы, да еще известия из Франции. Эта страна и события, происходящие в ней, заполнили меня; она стала для меня как бы родной сестрой, а Дрейфус, Лабори, Золя и пр. – близкими родными<sup>68</sup> Руки дрожат и сердце усиленно бьется, когда читаешь телеграммы из Ренна

---

<sup>67</sup> В заключительных строках этого письма Сычугов заявлял: «Пусть мой малый дар принесет хотя некоторую пользу небольшой части того народа, на счет которого я получил образование, и, таким образом послужит хотя ничтожной уплатой моего ему долга».

<sup>68</sup> Дрейфус — французский офицер, еврей, против которого реакционеры создали процесс по ложному обвинению его в продаже Германии военных тайн французского генерального штаба. Лабори — адвокат, защитник Дрейфуса. Эм. Золя (1840—1902) — знаменитый французский писатель, выступивший на защиту. Дрейфуса в печати в интересах борьбы с

7/1X1899

В декабре 1878 года я был у Захарьина [Г. А], который к лечению Виноградова (Н. А., профессор по внутр. болезням в Казани] прибавил силезскис воды и строжайший покой тела и души. Он запретил мне даже читать газеты, так как тогда, по случаю русско-турецкой войны, могли встречаться известия, которые должны волновать мою русскую кровь. Вероятно, я в свое время рассказывал тебе об этом посещении Гришутки.

Действительно это было для меня приснопамятным посещением. Началось оно довольно грубым отказом принять меня потому, что я явился в платный день, а с меня, как товарища, он денег не хотел брать, хотя я, согласно объявлению, и выложил 25 руб. Далее оно сопровождалось лежанием, по совету Гришутки, в соседней с кабинетом его комнате, на кушетке и чаепитием. И закончилось мое посещение тем, что Гриша потерял 175 р., так как по случаю усталости он отказал в приеме шести больным, да с меня не взял ни гроша. А устать он действительно мог, потому что на осмотр меня, советы и разные разговоры потратилось времени ровно 4 часа. В его кабинет вошел я в 3 часа, вышел из него под руку с Гришей ровно в 7 часов.

14/X 99 г.

Закадышный мой друг, Владимир Филиппович.

Наднях увезли из моей хаты мою дорогую, мою голубушку — библиотеку. Принята она была земством еще в сентябре, но оставалась в моем доме, пока отделявалось для нее помещение в училище, учительница которого будет и заведывать. Я никак не ожидал, чтоб факт перевозки библиотеки произвел на меня такое тяжелое, такое убийственное впечатление: точно дорогого для сердца покойника унесли от

---

реакционными католическими попами и шовинистами. Суд над Дрейфусом происходил в гор. Ренн.

меня. Перед тобою душа моя нараспашку, и потому я не стыжусь сказать, что я горько и долго не только плакал, но буквально рыдал. Мне, ведь, сдерживать себя нет нужды, так как я живу один и свидетелей моих рыданий не было никого. Даже когда уже прошел острый период боли и глаза просохли, на душе все-таки осталась ужасная тягота. Ведь, пока детище мое было со мною, каждое воскресенье я видел и слышал не мало людей и даже с осторожностью поговаривал. Теперь же, если не считать мою бесценную сестру, которая 2—3 раза в день навестит меня на несколько минут, то я целые месяцы не буду видеть лица человеческого. Дом мой стоит на задворках, вдали от дорог. Еще летом мимо его проходили на реку; теперь же за исключением волков (которых у нас ныне масса) никто не пройдет, не проедет. Не правда ли, что я теперь очень похож на субъекта, находящегося в одиночном заключении? К счастью, в моем распоряжении находится много книг самого разнообразного содержания, а то хандра и тоска в лоск уложили бы меня...

[Ноябрь 1899]

На что тебе знать годы, когда я кончил училище и семинарию? Уж не хитришь ли ты передо мной, не замышляешь ли собрать материал для моего некролога? Брось, брат, эти глупости. В университете я числился 8 лет, значит семинарию кончил в 60 году. Доволен ли? О легенде напишу на особом листе, который ты должен сжечь, а не читать кому бы то ни было. Не помню, спрашивал ли я тебя о новом министре Сипягине, которого Москва должна знать. Так как я теперь ничего не делаю, а только книжки читаю, то меня особенно интересует, как, по догадкам, министр будет относиться к либеральной печати. При Толстом толстела только реакционная пресса, либеральная чахла; при Дурново либеральная печать чувствовала себя очень дурно; при Горемыкине она — бедная —

горе мыкала. Вот я и боюсь, чтоб при Сипягине<sup>69</sup> голос ее совсем бы не осип. Каламбур, а особенно начало его, вышел не очень удачен, но не забывай, что это экспромпт, что он в полном вооружении, как Афина Паллада из головы Юпитера, вышел из моей башки во время писания этой странички. Я поместил его, как доказательство, что у меня нет еще уныния и пессимизма и что я все еще оптимист. Дух-то бодр, да плоть-то немощна... Н. И. Лукьянова я любил всем сердцем, не менее, чем тебя, и, действительно, в откровенные минуты говорил ему о метаморфозах, которые пришлось пережить мне. Не понимаю только, как он решился рассказать о них\*тебе, так как ему я передавал свои похождения под секретом. Одно из двух: или он тебя очень любил, или же мое требование забыл. Ну, слушай же! Участие мое в бурлацкой артели не легенда, а чистая быль. Я во время студенчества три года был должен жить вне Москвы<sup>70</sup> и

---

<sup>69</sup> Д. А. Толстой (1823—1889)—министр нар. просв, и одновременно обер-прокурор синода (глава духовного ведомства) при Александре II; назначен был после каракозовского выстрела (4/IV 1866 г.) министром именно для возможно большего ограничения числа и круга учащихся, для недопущения в школу детей непривилегированных слоев населения, для сокращения грамотности вообще; уволенный от должности в 1880 г. (при М. Т. Лорис-Меликове, в эпоху диктатуры сердца), вернулся к власти при Александре -III (в 1882 г.) в роли министра внутр. дел для удушения земства и главным образом независимой прессы: был свирепым реакционером. И. Н. Дурново (1830—1903) — его достойный преемник по м-ву внутр. дел. П. Л. Горемыкин (1839—1918)—министр внутр. дел после Дурново (с 1895 г.), много раз возглавлявший правительство и призывавшийся "к власти всегда, когда нужно было усилить реакционную политику царизма; один из последних премьеров при Николае II. Д. С. Сипягин (1853—1902) сменил Горемыкина по мин-ву внутр. дел (в 1899 г.) — тупой реакционер, упорный гонитель самоуправления и независимой печати; убит студентом С. В. Балмашевым.

<sup>70</sup> См. выше, стр. 272, о студенческих волнениях 1861 г.; Сычугов, повидимому, был выслан из Москвы за участие в них.



ради хлеба насущного скитаться по матушке России. За это время я был еще в плотничьей артели, был прикащиком, а под конец скитаний даже занимался факторством, т. е. покупкою и продажей домов и пр.

Вынужденный оставить Москву и университет с несколькими копейками денег и в жалком рубище, хотя с синим воротником и светлыми пуговицами, я поневоле должен был отдаться физическому труду. Сначала работал поденно и понедельно, пока пристроился к артели.

Вот и все, что я могу сказать тебе о моих скитаниях. Больше и неспрашивай — не скажу. О моих скитаниях знали только шесть человек, из которых пятеро уже умерли. Я не думал и тебе о них говорить, да последнее твое письмо развязало мне язык.

Я даже своему отцу, которого крепко любил, рассказал об этих похождениях только в 88-м году, за два месяца до его смерти. Старик не плакал, а рыдал, слушал меня. Каково же мне было рассказывать! Ведь, каждый воскресший в памяти эпизод растревлял мои давнишние и уже зажившие раны, а их было не мало. Не растревляй их и ты и больше не спрашивай.

Но чтоб поболтать с тобой еще, прибавлю, что эти скитания были для меня вторым университетом, едва ли не более полезным, чем Московский. Тяжко, часто едва выносимо было учиться в нем, но я выдержал.

Про меня многие говорили, что я опростился под влиянием Толстого. Это вздор. Мое мирозерцание, мои нравственные убеждения выработались еще тогда, когда философскими вопросами Толстой и не занимался, а именно; в 61, 62 и 63 годах. Если мои убеждения во многом согласны с учением Толстого, то это объясняется тем, что его и меня учила жизнь, хотя и не на один манер: он до сути жизни добирался своим всеобъемлющим гением, а я своим горбом и своими страданиями. Но довольно! Тяжело мне стало, хотя я и избегаю

вспоминать о страданиях, а думаю только о светлой стороне моих скитаний.

Почему-то сейчас припомнилась бурлацкая дубинушка. Я знал более 100 куплетов ее и своим зычным басом покрывал бывало голоса артели. Теперь почти всю ее забыл; каким-то чудом уцелели следующие куплеты:

У попа, у Моисея,  
Попадья была...  
Эх, дубинушка, ухнем!..

Хороши ли куплеты? Знай, что были еще позабористее. Все это, конечно, сально, но известно, ведь, тебе, что в деревнях матерщина и теперь еще шибко процветает и употребляется иногда даже, как самая нежная ласка.

И я с своей стороны внес вклад в дубинушку, импровизировав несколько куплетов более приличных и, так сказать, идейных. Большинство артели полюбило их и пело с одушевлением, но были и такие товарищи, которые говорили:

— Хороши-то, хороши твои песни, Савватей, и за сердце хватают, да о матери мало вспоминают, а нам, дескать, не поминать мать все равно, что есть хлеб без соли.

Жив ли кто еще из моих товарищей-горемык!

Смотри же — сожги этот лоскуток и о моих скитаниях и не заикайся. Еще повторяю: больше ничего не скажу ни в письмах, ни в предполагаемом дневнике.

Твой Сав.  
28-31/1900

Вчера я был глубоко возмущен нелепейшей инсинуацией „Московских ведомостей" по поводу корреспонденции из Финляндии в „Русские ведомости". Усмотреть в этих корреспонденциях поощрение сепаратизму может, по моему мнению, или психически больной, или отуманивший себя фанатизмом, или же наглый, не стесняющийся правилами порядочности доносчик, желающий пакостить во что бы то ни стало людям противного лагеря. Пожалуй Грингмут, никем и

ничем не стесняемый в своих доносах, начнет еще обвинять редакцию „Русских ведомостей" в поощрении финляндцев последовать примеру буров и взяться за оружие против России. Кстати у финляндцев стремления к свободе не заглохли, да и естественные условия для отражения сильных армий у них налицо: есть и скалистые горы, и холмы. Все это и смешно, и нелепо, но для Грингмута, ведь, возможно. Ну, тогда редакции не миновать верноподданнической присяги!<sup>71</sup>

Больно было мне, что Грингмут — человек, кажется, не глупый — договорился до такого абсурда, — и невеселые мысли зародились в моей голове относительно печатного слова. Мысли эти в карикатурной форме отразились на моих ночных грезах. Мне приснилась такая картина: человек 10, из которых некоторые знакомы мне по группе, виденной у Соболевского, идут по мостовой, связанные друг с другом веревочкой, концы которой держали шедшие впереди 2 будочника. Сзади группы такие же 2 архаровца вели под руки упиравшегося Вас. Михайловича [Соболевского]. Он узнал меня и хотел остановиться, но стража не позволила. Немного в стороне и позади процессии с горькой думой на челе шествовал и ты. Я окликнул тебя и на вопрос, что сие значит, услышал от тебя:

---

<sup>71</sup> По поводу статей „Русских ведомостей", робко протестовавших против удушения царизмом независимости Финляндии или чрезмерного угнетения поляков, евреев и других, т. наз. „инородцев", против насилия над печатью, — один из самых реакционных органов оплачиваемой царской охранкой прессы — „Московские ведомости", редактировавшиеся черносотенцем В. А. Грингмутом, много раз обвиняли „Русские ведомости" в измене отечеству и престолу и требовали от профессорской либеральной газеты вторичной присяги на верность монархическим началам. В настоящем случае речь идет о корреспонденции „Русских ведомостей" в № 17 от 17 января по поводу открытия финляндского сейма; в № 20 этой газеты от 20 января перепечатана в извлечении статья „Московских ведомостей" по поводу указанной корреспонденции с полемическими разъяснениями „Русских ведомостей"

„Редакцию тащат к присяге, а я иду в качестве врача. Видишь ли перед присягой Грингмут будет выблевывать свои обличительные kwasно-патриотические помои и обращать редакцию „Русских ведомостей" в свою веру, так, пожалуй, кому-нибудь сделается дурно". Сон кончился.

Поклонись до сырой земли Ф. Ф. Нелидову, В. М. Соб[олевскому] и П. Ф. Фил[атову]...

19 — 21 февраля [1900]

Я, брат, перестал читать телеграммы из Лондона и Претории, а также и военные обзоры. Эти известия сильно волнуют меня и положительно дурно отзываются на моем сердце. Например, когда Буллер [англ. генерал], удалившийся за Тугелу [река в южной Африке], заявил, что он чрез неделю возьмет Ледисмит, я с болезненным сердцебиением развертывал каждый № газеты, ибо я знал, что положительные англичане на ветер слов не бросают. А по истечении недели меня, как кошмар, давит мысль, что герои-буры все-таки будут задавлены массою англичан<sup>72</sup>. Осталась у меня одна только надежда, что опьянение их пройдет и здравый, положительный их смысл вступит в свои права.

А сильно же опьянел Джон-Буль [кличка англичан], если зря бросает громадные миллионы, которые нужны ему для

---

<sup>72</sup> Речь идет об англо-бурской войне 1899—1902 гг., когда англичане напали на свободные южно-африканские республики Оранжевую и Трансвааль, чтобы присоединить их к южно-африканским владениям к Великобритании ради эксплуатации природных богатств (золото и алмазы) этих республик. После упорного сопротивления буров англичане раздавили крошечные республики и присоединили их к Великобритании под видом доминиона (самоуправляющаяся колония, имеющая свое министерство, но вынужденная сообразоваться с империалистической политикой державы-покровительницы). В предшествующих письмах Сычугов заявлял Томасу, что возненавидел англичан и рад военным успехам буров, которые первое время сильно били своих угнетателей.

прокормления умирающих с голоду 25 миллионов индусов. Эх, не стало великого старика<sup>73</sup>, при нем, право, таких безобразий не произошло бы; он сумел бы отрезвить все-таки умных и свободолобивых соотечественников. Больно становится за друзей мира, Гаагскую конференцию<sup>74</sup> и за человечество! Вот и полюбуйся теперь на прогресс и цивилизацию. Прогресс, несомненно, резко проявится, но... пока в милитаризме. Горько, жутко!..

28 — 29 февраля [1900]

Друже, не пиши мне о бурах; одно воспоминание о них дурно отзывается на моем изболевшем сердце. Я не читаю известий о войне, но наднях случайно пробежал телеграмму, описывающую плен Кронье [бурский генерал], и сердцу моему стало так гадко, что пришлось впрыснуть  $\frac{1}{3}$  гр. морфия. Англия слопаёт буров, а дипломатия облизнется. Она, быть может, не отнимет политическую свободу, но введет экономическое рабство. С.-А. Штаты тоже ради доллара хотят слопать Филиппины!<sup>75</sup> И все эти пакости творятся из-за денег! Как я

---

<sup>73</sup> В. Гладстон (1809—1898)—английский государственный деятель, руководитель либеральной партии английской буржуазии; в качестве главы правительства решительно боролся против стремившихся к независимости подчиненных Англии народов.

<sup>74</sup> Гаагская конференция (первая), созванная в, 1899 г. по инициативе русского царского правительства для лицемерной демонстрации его, якобы, мирных стремлений.

<sup>75</sup> Филиппины—группа островов, составляющих северную часть Малайского архипелага в Тихом океане, находившиеся под владычеством Испании. Население Филиппин много раз восставало против своих угнетателей; в 1898 г. Северо-американские соед. штаты под видом помощи филиппинцам и при помощи последних победили испанцев, а вслед затем объявили Филиппины своей колонией; однако Америке пришлось еще несколько лет усмирять

счастлив, что давно их возненавидел! У меня их нет (кроме самых необходимых для жизни), но на душе мирно, ясно и светло. А это чего-нибудь да стоит!

Читаешь ли, друже, возмутительное дело о проворовавшихся чинах морского ведомства<sup>76</sup>. В числе воров фигурируют люди с высшим образованием, разные инженеры, инженеры-механики, химики. Как легко и мирно уживаются в одних и тех же людях бескорыстная наука и самый корыстнейший грабег государства! Опять я глажу себя по головке за то, что никогда не любил денег и всегда старался урезать свои потребности до минимума.

10— 12/VI [1900]

Желаю поделиться с тобою одной чрезвычайно курьезною новостью. Впрочем, я имею основания думать, что эта новость тебе, быть может, уже известна. Я говорю о распоряжении слепейшего синода, касающегося Л. Н. Толстого. Вражда синода и вдохновителя его и оракула Победоносцева к Толстому и его этике и философии давно известна. Если б Толстой не был гигантом, слова которого во всем образованном мире считаются чуть ли не откровением, то его давно бы и без лишних церемоний за ставили замолчать и сыграть роль Макара, телят негоняющего.

Но явные гонения против такого гения по меньшей мере неудобны даже в Российском государстве. И вот, чтоб излить как-нибудь свою бессильную злобу, духовное начальство взяло

---

восстания своих бывших союзников, пока (в 1901 г.) ей удалось подчинить Филиппины своей власти; восстания филиппинцев для завоевания независимости продолжают и в настоящие время (1931 г.).

<sup>76</sup> В феврале и марте 1900 г. газеты печатали отчеты о происходившем тогда суде над крупнейшими чиновниками военно-морского ведомства, обвинявшимися в злоупотреблениях при поставке минерального топлива и других материалов для черноморского флота.

на себя роль комара, беспокоящего своим пищанием, а иногда и легким укусом величественного льва. Оно сначала изгнало из школ книги для детского чтения, составленные Толстым во время занятий его в Яснополянской школе и бывшие во всех школах почти настольными книгами в течение 30 с лишком лет. Затем синод запретил в своих школах чтение самых невинных и в то же время прекрасных мелких сочинений Толстого, свободно циркулирующих и в земских школах, и в народе.

Далее, в самое последнее время ученый комитет министерства народного затемнения, — извини, хотел сказать: просвещения, — выкинул из каталога книг для народных библиотек XII часть сочинений Толстого, — и это некрасивое деяние совершилось не без влияния синода, который не постыдился бы устроить аутодафе и для всех произведений Толстого, да руки оказались коротки. Но и исключение только XII части причинило, по крайней мере, мне великое и глубокое горе. Ведь, эта часть состоит как раз из произведений, назначенных для народа; начинается она сказками, а кончается «Властью тьмы»

Кто, подобно мне, наблюдал, с какою жадностью и дети и старики набрасывались на толстовские сказки, кто видел прекрасное и даже морализирующее влияние их на читателей, тот не может не испытывать горя, глядя на изъятие их из библиотек. К счастью, власть синода не распространяется на обыкновенные книжные склады и лавки, которые бойко торгуют мелкими толстовскими изданиями, которые из XII частей наделали десятки книжек, сделавшихся доступными, благодаря дешевизне, для бедного деревенского читателя. Ведь, отдельные сказки стоят 1—2 и не более 5 коп. каждая.

Однако я увлекся и заболтался, а пора к делу. Наконец, синод, чувствуя свое бессилие напакостить Толстому, пока он жив, не придумал ничего лучшего, как излить свою бессильную злобу на Льва мертвого. С этою целию то он предписал всем архиереям, а эти последние предписали всем иереям своих

епархий не совершать по просьбам публики ни литии, ни панихид по Толстом, когда он умрет и когда к попам, в силу установившейся моды, или, пожалуй, обычая, будут особенно часто почитатели его обращаться с просьбами о совершении того или другого поминовения.

Правда, оставшееся хоть в небольшом количестве чувство стыда побудило духовных предписывающих лиц прикрыть свой срам фиговым листиком с ярлыком: конфиденциально<sup>77</sup>. Но я полагаю, что если бы синод осчастливил своими предписаниями только одних архиереев, лишив их права поделиться своим счастьем с подчиненными им иереями, то и тогда злоба его не осталась бы в секрете. Теперь же, когда конфиденциальное предписание находится и руках более чем 40000 попов, о конфиденциальности смешно и думать<sup>78</sup>.

Наша печать, конечно, будет поневоле молчать, но ужели не найдутся лица, которые хотя в общих чертах познакомили бы с умными взглядами и нравами наших духовных просветителей и путеводителей в райские чертоги? Ведь, борзописец-корреспондент иностранной газеты должен притти в восторг от сюжета интересного *an und fur Sich* [сам по себе], да и могущего легко дать несколько красеньких бумажек [десятирублевки].

Сам Лев из-за будущих панихид по нем, конечно, не возьмет пера в руки, — это недостойно его. Но я полагаю, что он вдоволь и весело похочет над усилиями шавок напугать слона. Почитатели же его, а их имя легион, от души пожелают ему пережить всех членов синода, сотворивших позорное для

---

<sup>77</sup> Вскоре после этого (20 февраля 1901 г.) синод принял постановление об отлучении Толстого от церкви (опубликовано 25 февраля).

<sup>78</sup> Сравнить с такими же записями в дневнике В. Г. Короленка за 1901 г. (т. IV, Харьков, 1928, стр. 186 сл.), основанными на сообщении из Вятки.



России дело. Ее бедную и без того за границей обвиняют в нетерпимости, изуверстве и пр. Мне стыдно за синод, в нем заседают хорошие в сущности люди, вся беда которых состоит в том, что они узко понимают учение Христа и не хотят свои страсти контролировать разумом.

Что за комедия на трагической подкладке разыгрывается в Китае, — сам чорт не поймет, а люди гибнут, да кажется и еще много их погибнет<sup>79</sup>. Поучительно, что немцы и англичане на свою голову научили китайцев военным хитростям и снабдили их оружием, а нам русским сбоку припека. На меня известия военные действуют ныне чересчур мучительно. Кажется, я писал тебе, что о войне в Южной Африке я совсем перестал читать, хотя о ходе дел и узнавал иногда из передовиц. Жаль от души было буров, но следить за их геройством особой нужды не было, ибо было очевидно, что жадная Англия рано или поздно поглотит их.

Теперь не то! Я отлично чувствую, что чтение телеграмм о китайских делах болезненно заставляет сжиматься сердце и производит в нем крайне неприятные ощущения, а не читать их не могу. Это выше моих сил. Заваривается какая-то невкусная каша, и один аллах ведает, как ее хлебать придется Европе и особенно России. Да и китайцев-то тоже жаль; ведь, торговцы, миссионеры и разные гешефтмахеры здорово-таки им насолили. Не без основания они давно уже европейских quasi [якобы]-

---

<sup>79</sup> Имеется в виду восстание в Китае против европейских капиталистических держав (Англия, Франция, Россия, Германия и др.), начавших в конце XIX века раздел Китая. Для подавления этого восстания европейские империалисты, к которым присоединилась Япония, послали в Китай войска, занявшие в августе 1900 года столицу его — Пекин. При усмирении восстания, которым руководила партия „Большого кулака" (боксеры), офицеры карательной экспедиции грабили китайские дворцы, общественные молельни (кумирни) и вывезли из Китая очень много ценных редкостей. Население расстреливалось при этом тысячами.

культуртрегеров злобно величают чертями и дьяволами. Ну, да довольно о политике!..

[Октябрь 1900]

Я не могу точно определить, сколько я выбрасываю на ветер денег, ибо ты о стоимости морфия выразился как-то неясно, но думаю, что во всяком случае непроизводительный расход мой не превышает 15 коп. в месяц. Я чувствую, что ты засмеешься, прочитав эти строки, и промолвишь про себя: стоит ли о таких глупостях и говорить. Я и сам сознаю, что это глупо, но от глупости этой отстать не могу. Со времени переселения в Верховино, когда я успел внимательно присмотреться к трудности добывания крестьянами денег, всякая непроизводительная трата пятака казалась мне делом нехорошим. и это вовсе не скупость: я не коплю денег, на дело, которое считаю нужным, охотно и даже с удовольствием даю рубли и десяток рублей, но непроизводительно затратить пятак мне уж чересчур жаль.

[Ноябрь 1900]

И я праздновал юбилей Н. К. Михайловского, только не 15, а 28 ноября по прочтении в „Русск. ведом.“ об нем статьи в № 318, и праздновал своеобразно. Обыкновенно я в течение дня при чтении часто перехожу от одного предмета к другому. У меня у койки висит даже расписание, из которого видно, в какие часы и что я должен читать. Празднуя же юбилей, я изменил своему обычаю и целый день читал Михайловского, которого страсть как люблю читать и перечитывать. Читал я тогда его „Литературу и жизнь“ и дочитался до его рассказа о Вас. Степ. Курочкине, знаменитом редакторе „Искры“ и переводчике Беранже<sup>80</sup>. По ассоциации идей припомнилась мне приложенная

---

<sup>80</sup> Ник. Конст. Михайловский (1842—1904) — известный народнический публицист и социолог, в 90-х годах склонявшийся к либерализму, печатался также, и в „Русских ведомостях“. В 1900 г. праздновался 40-летний юбилей его литературной деятельности. Новейшая работа о нем: Б. И. Горев—„Н. К.

при этом письме песня, которую я решил воспроизвести для тебя<sup>81</sup>. От нее пахнет, правда, клубничкой, но ведь, не правда ли, что песенка очень не дурна: французская игривость и веселость так и бьют ключей. А перевод — просто прелесть. Можно, конечно, читать ее друзьям и знакомым; только я не советовал бы читать ее молодым старичкам, у которых от клубничного запаха слюнки текут и глаза маслятятся. Впрочем, делай, как знаешь... Не ручаюсь, что с буквальной точностью я передал песню. Дело в том, что она вместе с изданиями Герцена, письмом Белинского к Гоголю и т. п. проникла в нашу семинарию еще в конце 50-х годов. Произведения эти осторожно читались, еще осторожнее некоторыми переписывались; я же усвоил их на особый лад. Обладая в юности колоссальной, так сказать, собачьей памятью, я все запрещенное зазубривал, ибо это было менее опасно, чем переписка и хранение, а равно и потому, что заучивание требовало от меня менее времени, чем переписывание. Так я поступал и во время студенчества.

---

Михайловский", М. 1931 г. Вас. Степ. Курочкин (1831-1875) - талантливый революционно-разночинный поэт и переводчик, участник „Свистка" (при „Современнике"), руководитель знаменитого сатирического журнала „Искра" в годы его расцвета (с основания, в 1859 г., до 1865 г.); участвовал в тайных революционных организациях 60-х годов; обвинялся в прикосновенности к кружку Д. В. Каракозова, стрелявшего в Александра II 4 апреля 1866 г.; один из главных переводчиков знаменитого французского поэта-песенника П. Беранже, который благодаря Курочкину стал особенно популярен в радикальных кругах русской молодежи 60-х гг. Собрание стихотворений Курочкина под ред. А. В. Ефремина выходит в изд. „Academia". О Курочкине см. еще очерк Г. Лелевича в его книге „Поэзия революционных разночинцев", М. 1931 г.

<sup>81</sup> Приводимого Сычуговым стихотворения нет ни в русских изданиях Беранже, ни в сочинениях Курочкина; по сообщению Н. О. Лернера, оно не принадлежит Беранже. Проникнутое тем, что Сычугов назвал клубничкой, оно неудобно для печати.

И благо мне было! Несмотря на тонкое чутье, голубые человеки [жандармы], взламывающие иногда при обысках печные своды, не решались сломать мой черепной свод и поискать под ним запрещенные плоды литературы. Замечательно, что заученное в юности хранилось в памяти чрезвычайно долго, но не все. От прозы спустя лет 25—30 оставались отрывки; стихи же некоторые и сейчас, кажется, помню, хотя от прежней памяти едва ли осталось  $\frac{1}{100}$  доли.

[Январь 1901]

Буры приводят меня в восторг своим свободолобием и геройством. Иногда думается, что Англия пойдет на уступки, но думы эти быстро стушевываются при одном воспоминании об упрямстве и самолюбии гордого Альбиона. Несмотря ни на что, он поставит на своем.

4-6 марта [1901]

Давно уже — еще во времена получения мною больших капиталов — я благоразумную расчетливость считал добродетелью, а швыряние денег направо и налево — делом некрасивым. Однако это не мешало мне изредка прорываться: я бросал иногда порядочные деньги на удовольствия, вовсе не стоившие их и ни с какой точки зрения не необходимые. Со времени последнего моего заболевания к расчетливости присоединился какой-то стыд, который сильно глодал, да иногда и теперь еще гложет меня. Чтоб не распространяться много, я поясню это ощущение примером: положим, что мне брюшком захотелось поразнообразить свой стол прибавкою к нему сардинок. Дело, кажется, можно разрешить очень просто — послать в лавку 30 к. и получить целую коробку сардин. Но тут-то и является на сцену стыд: он начинает упрекать меня в чревоугодии, напоминает, что на 30 к. голодный человек 5 дней будет сыт, что, пожирая сардины, я — валяющийся на койке байбак — отнимаю у настоящего работника, на счет которого я и образование-то свое получил, в некотором смысле хлеб

насущенный и т. д. Много пришлось бы мне писать, если бы я вздумал перечислить все, что нашептывает стыд...

[Май 1901]

Я не потерял веры в прогресс и в лучшую будущность России, но уж совсем не чаял дожить хоть до малейшего поворота к лучшему. И теперь я радехонек, что дожил до той поры, когда в душную, туманную, серенькую среду, окутывавшую нас, проник теплый и светлый луч; он пока еще едва заметен, но смутная надежда подсказывает, что яркость и живительность его усилятся, и тьма, окружающая нас, хоть в некотором отношении порассеется. Этим лучом представляются мне царский рескрипт и следовавшие за ним циркуляр и распоряжения Ванновского<sup>82</sup>. Таким языком давно уже не говорили с нами.

Теперь самое задушевное мое желание — это, чтоб Ванновский был здоров по меньшей мере года 3—5. Я убежден, что классицизм в его безобразном у нас проявлении будет, наконец, устранен, а с этим вместе устранится не мало и других нежелательных явлений, Я имею основание приписывать толстовскому классицизму довольно видное значение в

---

<sup>82</sup> П. С. Ванновский (1822—1904) — военный министр при Александре III. В 1898 г. оставил военное министерство; в 1899 г. назначен был во главе комиссии для расследования причин т. н. студенческих беспорядков и указывал в интересах борьбы с революционным движением на необходимость ослабления реакционного гнета, под которым находилась русская высшая школа в предшествующие годы. После убийства в начале 1901 г. реакционнейшего мин-ра нар. просв. Н. П. Боголепова назначен был министром В-ий, заявления которого внушили либеральному обществу надежды на реформу учебного дела; надежды эти усилились после некоторого облегчения положения студентов, подвергшихся при Боголепове разным карам. Дело свелось к одним словам: В-ий не только не провел никаких реформ, но даже усилил реакционные меры своих предшественников.

переживаемой нами реакционной сутолоке<sup>83</sup>. Я согласен с тобой, что немного странно видеть в роли хорошего реформатора военного человека, и притом реформатора в деле просвещения. По нам пора привыкнуть к этой странности. Вспомним Милютин<sup>84</sup>, который во все 20 лет управления министерством был всегда сторонником здоровых либеральных начал и которого в начале 70-х годов Суворин<sup>85</sup> в своем первом знаменитом календаре назвал „истинным министром народного просвещения в России". Слова эти я хорошо помню. Затем о Ванновском — как военном министре — я не раз слышал очень хорошие отзывы. Слышал я также, что он, насколько было возможно, сдерживал и умерял реакционные попытки своих коллег. Кстати: напиши, в чем состояла роль Ванновского в 99-м г. после! студенческих волнений и что изображал и изображает

---

<sup>83</sup> Реакционный министр нар. просв. Д. А. Толстой усилил в 70-х годах XIX в. изучение классических языков и литератур (латинские и греческие) в средней школе с целью, во-первых, сократить изучение естественных наук, считавшихся опасными в революционном отношении, а во-вторых, для того, чтобы отвлечь юношество от русской действительности, толкавшей его на путь революционной борьбы, с царизмом.

<sup>84</sup> Военный министр при Александре II Дм. Ал. Милютин (1816—1912), чрезвычайно умеренный либерализм которого выгодно выделялся среди мрачного изуверства большинства министров, руководивших одновременно с ним политикой царского правительства: особенно сочувственно воспринимались либеральным обществом мероприятия Милютина, направленные к распространению грамотности в России,— предоставление льгот молодым людям при поступлении в военную службу в зависимости от степени их образования; с этой мерой Д. А. Толстой боролся больше других царских министров.

<sup>85</sup> Ал-й Серг. Суворин (1834—1912) — либеральный публицист 60-х и 70-х гг., повернувший вправо в конце 70-х гг., вскоре после перехода в его руки „Нового времени", продажной газеты правительственной и общественной реакции; в письме говорится о „Русском календаре" Суворина.

собою новый товарищ его [И. В.] Мещанинов?<sup>86</sup> От слов рескрипта и циркуляра о сердечном отношении к учащимся я пришел в такой восторг, что выкинул какое-то необыкновенное антраша и, подобно Чичикову, так хлопнул себя по ляжке, забыв об ее крайней исхудалости, что руке стало больно. Конечно, одна ласточка не делает еще весны. Сердце ноет, когда вспомнишь, что делается у нас в других сферах. После восторга, испытанного мною, стало мне как-то особенно жутко узнать о проекте нового quasi земского положения в тех губерниях, где еще не введено земское самоуправление...

13 июля [1901]

Мои предположения, чаяния и пожелания очень, невидимому, скромны. Я не мечтаю о реформах, требующих созидательной, творческой мысли (реформа школы — особая статья). Не до творчества уж нам! На мой взгляд для относительного благополучия России пока было бы достаточно соскоблить, так сказать, разнообразные наслоения, накопившиеся за последние десятки лет на государственном теле, уничтожить реакционные новеллы, исказившие почти до неузнаваемости реформы 60-х годов, и при этой чистке нужно только сообразоваться с требованиями жизни, которая, несмотря ни на что, все-таки ставила свои задачи и потихоньку да полегоньку шла вперед хоть и неверными, колеблющимися шагами.

[Январь 1902]

Сейчас прочел возмутительную телеграмму из Претории от 11 декабря. В ней сообщается, что буры составляют особые отряды, которые вместе с англичанами начали бить своих же земляков-буров. Один отряд таких изменников уже отличился,

---

<sup>86</sup> И. В. Мещанинов — сенатор, до назначения в министерство народного просвещения был начальником главного тюремного управления; в 1899 г. был помощником Ванновского по расследованию дела о студенческих волнениях.

захватив бурский лагерь; формируется еще 2 таких отряда. И это делается ради скорого окончания войны. Преостроумный мотив! Война, действительно, теперь должна скоро окончиться. Настоящие, хорошие буры будут теперь иметь уже не 10 англичан против одного бура, а 12 или 13, из которых два или три свои же буры. Предполагая, что потери в битвах будут одинаковы, англичане станут терять  $\frac{1}{3}$ , а буры —  $\frac{2}{3}$  выбывших из строя. При таких условиях скоро, конечно, погибнут все способные к войне буры.

Вот уж не ожидал я подобной гнусности от буров! Изменники, дезертиры и проч. сволочь бывают в каждой войске, но я никак не ожидал, чтоб так много таких негодяев нашлось между бурами. Не утешаются ли изменники тем, что и после потери зависимости, когда они сделаются английскими подданными, они все-таки будут пользоваться несравненно более свободными и разумными учреждениями, чем, напр., подданные некоторых великих европейских держав?<sup>87</sup>;

1 февраля [1902]

Друг мой закадычный, Владимир Филиппович!

Я читал, что на Пироговском съезде<sup>88</sup> решено где-либо в голодающих местностях открыть врачебно-продовольственные пункты. Ты, конечно, лучше знаешь, как организовано это дело, кто участники, кто принимает пожертвования и пр. После Пироговского съезда в Казани были уже устроены подобные пункты и орудовали они прекрасно. Если и в Москве дело по устройству пунктов уже наладилось, то потрудись внести и от меня лепту — 7 руб. Остальные 8 р. получи в уплату моего

---

<sup>87</sup> Намек на Россию.

<sup>88</sup> Съезды врачей в память русского хирурга Н. И. Пирогова, имевшие революционизирующее влияние на общественную жизнь России при Николае II.



долга, да напиши, сколько еще я остаюсь должен. Если же почему-либо пункты не организовались, в таком случае пристрой мои 7 руб., куда найдешь более удобным, но только в пользу голодных. Да не обозначай моей фамилии.

Кисну, но самочувствие пока сносно. Скоро буду писать, а теперь надо деньги отправлять. Прощай, мой дорогой. Мой привет, а кому — сам знаешь. Целует и обнимает тебя весь твой Савватий<sup>89</sup>.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

Подлинная рукопись Записок С. И. Сычугова, письма его к В. Ф. Томасу и другие материалы к его биографии хранятся в библиотеке Коммунистической академии в Москве — в архиве В. И. Семевского, по описи № А 239.

Произведения С. И. Сычугова автобиографического содержания: 1. „Нечто вроде автобиографии“, „Голос минувшего“ 1916, №№ 1—3, 5—8; 2. „Год вольной деревенской практики“, „Земский врач“ 1890 г., №№ 48 и 49; перепечатано во „Враче“ 1890 г., № 51—52; 3. „О вольной врачебной практике в деревне“, „Северный вестник“ 1893 г., № 11, стр. 1—22; 4. Некролог врача Вл. Арк. Столбовского — „Врач“ 1892, № 25; 5. Письмо в редакцию „Врача“ 1892 г., № 44; 6. То же - „Врач“ 1896 г., № 6, стр. 163; 7. По поводу смерти В. Л. Манасеина — „Врач“ 1901 г., № 13.

Статьи С. И. Сычугова по вопросам земской медицины до 1888 г. перечислены у Л. Ф. Змеева~ „Русские врачи-писатели“, Пет. 1889 г., вып. 5, стр. 9 (доп.); здесь имеются некоторые пропуски, которые можно восстановить при обозрении упоминаемых у Змеева журналов. После смерти

---

<sup>89</sup> Писано за пять дней до смерти Сычугова (умер 6 февраля 1902 года).

Сычугова изданы его брошюры: „Об азиатской холере“, Владимир 1905, „О холере“-Вятка 1903, 1909 и 1910, Владимир 1905 и Москва 1905.

Литература о С. И. Сычугове: Ф. Ф. Нелидов – «Вольный крестьянский врач С. И. Сычугов», М. 1905, стр. 38, с портретом; Н. А. Каргополов – «Памяти С. И. Сычугова», «Рус. врач» 1902, № 15, и отд. Оттиск, Пет. 1902; некролог С. И. Сычугова – «Рус. Ведом.» 1902, № 49 от 18/II, перепечатан во «Враче» 1902, № 10; см. еще – «Рус врач» 1903, № 1, стр. 34; В. Александровский – «Полвека среди духовенства» «Гол. Минувшего» 1917, № 11 – 12, стр. 282 сл., «О вольной практике врачей в деревне», «Сев. вестник» 1892, № 10, стр. 27 сл., о Воспоминаниях Сычугова см. М. Борисов, «Становление революционного демократа», «Художественная литература», 1932, № 22 – 23.

## Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ .....	4
ВВОДНАЯ ГЛАВА .....	10
ПО ПОВОДУ АВТОБИОГРАФИИ .....	10
ГЛАВА ПЕРВАЯ.....	18
В ДОРЕФОРМЕННОЙ БУРСЕ .....	18
1. Наши педагоги .....	98
2. Ученики .....	100
3. (Умственное развитие бурсаков) .....	102
4. Развлечение бурсаков .....	106
5. Религии и умственные запросы бурсы .....	112
6. Порочность бурсаков.....	113
7. Внешняя обстановка бурсы.....	116
8. Наказания .....	121
9. Итоги .....	123
ГЛАВА ВТОРАЯ.....	128
В СЕМИНАРИ .....	128
1. Семинарские науки.....	129
2. Учащие .....	131
3. Библиотека .....	136
4. Учащиеся .....	141
5. Развлечения .....	159
6. Наказания .....	161
7. Выдающиеся случаи из моей семинарской жизни. ....	163
8. Религиозное настроение семинаристов .....	165
9. Сказание о моей особе.....	167
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.....	179
В УНИВЕРСИТЕТЕ .....	179
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ .....	220
В ДЕРЕВНЕ .....	220
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ.....	273

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ООО «Лобань»,  
г. Киров, ул. Московская, 52, т. (8332) 69-50-15  
Заказ 485.. VIII-2014 г.